

ISSN 0132-0637

Октябрь

9 1996

9 1996
Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1996

СЕНТЯБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга вторая	3
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Непогибшая жизнь. Рассказы	68
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. По ту и эту сторону... Стихи	86
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. Окончание	89
Валерий ЧЕРЕШНЯ. Пять стихотворений	132

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Н. И. АЗАРОВА. Два голоса. Из переписки Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. Вступление Б. М. Шумовой	134
--	-----

Из «Записок» И. М. Ивакина. Вступление, публикация
и примечания Т. Г. Никифоровой 148

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Михаил ЭПШТЕЙН.
Постатеизм, или Бедная религия 158

Марк ГОРЧАКОВ.
Дачные забавы 166

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Жды два равно 180

Вавилонская библиотека

Олег ПАВЛОВ. Бессмертная исповедь. * Дмитрий БАК.
Законы жанра. * Егор СТРЕШНЕВ. Тысячи способов
портить книги. * Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. История из под-
полья. * Валерий ВОЛКОВ. Незабываемое старое. * О. СО-
КОЛОВА. Приемник славы 184

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать
по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 01.08.96. Подписано к печати 22.08.96. Формат 70x108 $\frac{1}{8}$.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 700 экз. Заказ № 779. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Анатолий АНАНЬЕВ

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

ВЕРСИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, ФАКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

КНИГА ВТОРАЯ

К ЧИТАТЕЛЮ!

Хочу сделать некоторые пояснения ко второй книге. Она точно так же разделена на «главы, предваряющие повествование» и «исторические главы». Первый раздел — это не предисловие к собственно историческому изложению, а имеет прямое отношение к истории и отличается от второго раздела, то есть от исторического повествования, только тем, что носит более обобщающий и философский характер, тогда как второй раздел — художественный. Он изобилует драматическими событиями с изображением характеров действующих лиц истории и является собой попытку психологического проникновения и объяснения ключевых событий древней и новейшей истории. В этом и следующем номерах будет полностью опубликован первый раздел второй книги «Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России».

АВТОР

Главы, предваряющие историческое повествование

I

Наверное, человечество сколько помнит себя, столько и задавалось вопросом, отчего люди (я имею в виду народ, простолюдинов), одинаково стремившиеся жить в добре и справедливости, иметь кров, растить детей, возделывать пашню и вообще добывать хлеб насущный «в поте лица своего», как сказано в Священном Писании, отчего люди, ясно представляющие себе цель и смысл бытия и умевшие понять и оценить всякое доброе дело (может быть, кому-то покажется сие примитивным, но разве и сегодня есть что-либо выше этих «примитивных», казалось бы, но, в сущности, основополагающих потребностей для нормальной человеческой жизни?), отчего люди, в совокупности своей одинаково вроде бы воспринимавшие мир и стремившиеся к одному и тому же (с поправками лишь на национальную самобытность) мироустройству и способ-

ные (в силу своего, иронически замечу, «примитивизма») воссоздать желанное благо, за тысячелетия усилий не только ни на шаг не приблизились к осуществлению заветной (золотой) мечты человечества, но, уложив миллионы жизней на алтарь свободы и процветания и пролив реки крови, лишь привели к совершенству систему господства и рабства, окрестив ее светлым и бессмертным именем цивилизация, как если бы и в самом деле совершенствовались не методы господства и подавления, обозначенные в истории эпохами сменявших друг друга социальных формаций (разумеется, при неизменности стержневой сути), а совершенствовались социальные основы общественного, народного бытия? Но разве мир когда-либо пребывал или пребывает теперь в благоденствии? И разве то, что происходило с нашими предками, не повторяется в сотый, тысячный, миллионный раз с нами? Точно так же, как рабы Древнего Египта возводили бессмертные пирамиды для своих властителей (между прочим, взоры человечества сегодня более чем когда-либо обращены к тем временам как к истоку цивилизации), рабы текущих веков продолжают возводить, словно эстафетные символы новой и новейшей державности, дворцы, храмы, небоскребы для нынешних кланово-государственных и финансово-олигархических воротил власти, захвативших или почти уже захвативших в своей хищнической устремленности господство над миром. Ведь не только в так называемых развивающихся странах Латинской Америки, Африки, Азии народы пребывают в нищете и бесправии, страдают от разорительных поборов, голода и болезней, но и в процветающих, казалось бы, государствах западного мира, в государствах так называемой семерки, взявших на себя право Творца и жандармских попечителей над всеми другими людскими сообществами, — даже в этих «образцово-процветающих» государствах с их жестким диктатором, именуемым демократией, далеко и далеко не все так благополучно, как это рекламно подается свободной будто бы (от обязательств перед народом, но не от обязательств перед всемогущим капиталом) западной прессой. Митинги, забастовки, протесты, демонстрации — не ради забавы вспыхивают они как в «процветающих», так и в нищенствующих странах на всех континентах и уж отнюдь не для защиты интересов народа (защиты порядка, как подается официальными источниками) созданы всюду при правящих Дворах — правительственных, президентских, парламентских структурах — войска особого назначения; высокооплачиваемые, откормленные, натренированные для расправы над протестующими толпами и, конечно же, соответственно вооруженные (чем могущественнее государство, тем многочисленнее и свирепее войско) солдаты порядка, словно солдаты Творца, посланные сберечь цивилизацию, они в любую минуту готовы выполнить свой священный вроде бы перед обществом, а в сущности, перед властями предрежащими долг. Спрашивается, что же это за «цивилизация», которую так рьяно приходится защищать от посягательств народа, и не насилие ли это, творимое под расписным шатром демократии, не палочное ли благоденствие, насаждаемое олигархическими новодержавниками, пытающимися в упаковке добра подать на стол обновленного будто бы общественного бытия все те же древнейшие, как мир, хищнические начала? Сегодня как никогда можно заметить, что активно протестуют против навязываемого хищнического порядка не только отдельные личности или людские сообщества, но и целые народы и государства. Загнанные новодержавцами, то есть кланами финансово-промышленных Господ Мира, в тупик и осознавшие наконец, что только самобытность развития может спасти их от разорения и исчезновения, — эти осознавшие свое достоинство нации, народы, государства уже не в состоянии безучастно взирать на творимый с ними и вокруг них беспредел. Их протесты своеобразны и не всегда понятны и приемлемы с точки зрения общенародного права, ибо террор есть террор и никакой борьбой, хотя бы и за национальное выживание, не могут быть оправданы безвинные жертвы; но и против подобных (на уровне народа, государств) возмущений как против нарушителей всемирно установленной «законности» созданы господствующими державами так называемые войска быстрого реагирования; полки, дивизии с ракетами, пушками, автоматами (и двумя десятками контейнеров с гуманитарной помощью, дабы можно было поименовать акцию миротворческой), поддерживаемые с моря и воздуха, направляются к очагам непокорства, чтобы восстановить демократию и якобы поправленные там права человека, тогда как истинная суть их деяний, и это более чем очевидно, заключается в том, чтобы защитить олигархические интересы того самого капитала (дабы было на что возводить небоскребы и создавать не обозначенные на картах финансово-промышлен-

ные империи), который не одно уже столетие и тысячелетие хищнически разграбляет чужие материальные и духовные богатства, произвольно объявляя неподвластные ему территории и континенты сферой своих жизненных интересов, и ненасытность которого как главного детища монстра «цивилизации» не имеет границ. Мир, разделенный на богатых и бедных, уже сам по себе не может быть миром благоденствия, так как неравенство социальное, то есть неравенство в сфере материальных благ непременно несет в себе и неравенство в духовном развитии; барствующий человек имеет, по существу, неограниченную возможность присматриваться и прислушиваться как к себе, своим чувствам, страстям, потребностям, так и к явлениям природы и общественной жизни, открывать в них закономерности и пользоваться ими для своего блага, тогда как у простолюдинов, тем более у рабов, принужденных трудиться на себя и на повелителя, нет времени оторваться от своего труда, разогнуть спину и оглядеться вокруг; возможности барства усиливаются прирастанием барства, что, если реалистично посмотреть на этот процесс, сводит на нет теорию перманентного (стартового для каждого поколения) равенства и придает особую, заметим, именно особую, и донныне, к сожалению, не изжившую себя значимость наследной родовитости (что это, как не теория некоего изначального превосходства одних людей над другими, некий божественно освященный институт высокородности или даже просто породистости?); возможности же простолюдинов, то есть мера или глубина их невежества и нищеты, — это хорошо, когда она не опускается до нуля и удерживается на однажды (и словно бы в действительности на века) запрограммированном уровне. После подобного анатомического разреза да хватит ли у кого-либо духа сказать, что развитие человечества есть восхождение к прогрессу и что только вышеозначенная цивилизация как светлая и желанная форма бытия, к достижению которой и сегодня устремлены все наши усилия, может привести, если уже не привела (существует и такое мнение) к искомому людским сообществом социальному и нравственному согласию? Однако тысячелетия неоспоримо свидетельствуют, что цивилизация, в которой живем и в которую верим как в Творца, руководящего будто бы нашими делами и помыслами (очевидно, руководящего с лентой, ибо в противном случае чаще бы пресекалось зло и чаще замечалось, ценилось и поощрялось всякое доброе начинание), что цивилизация эта, основанная на законах хищничества, может способствовать лишь усвершенствованию способов разбоя и обогащения, а не установлению справедливости, порядка и мира, и апокалипсический заряд, заложенный в ней, если человечество не найдет сил остановиться и оглядеться, заряд сработает со страшной разрушительной силой.

II

Когда люди сегодня произносят слово «цивилизация», они имеют в виду прежде всего достижения науки и культуры, то есть тот технический (что бесспорно) и тот духовный (в чём, впрочем, можно усомниться и поспорить) прогресс, которого человечество вполне могло бы добиться и при любой иной системе мироустройства, когда бы вместо хищнических начал бытия действовали бы каноны добра, справедливости, взаимопонимания, согласия, братства (видимая утопичность такого суждения, однако, не столь уж и утопична, и мир выглядел бы по-другому, если бы изначально предки наши не дали столкнуть себя с пути естественного, гармоничного развития на путь войн, насилий, грабежей, путь, приведший лишь ко всемогущей власти и беспросветной для народов кабале); но — добровольно ли, по принуждению ли — живем мы не в какой-либо, а именно в этой, какую прославляем, цивилизации, щедро наделившей нас самым могущественным своим детищем — государственным устройством жизни. Задуманная как гарант порядка и справедливости (что более смахивает на выдумку, чем на правду), эта форма, или система, общественного бытия, именуемая государственностью, никогда не соответствовала своему первоначальному замыслу; правители всех положений и рангов обычно лишь на словах служили народу, тогда как на деле совершенствовались в методах единовластия и, обретая власть и укрепляясь в ней, превращали благое намерение (если такое действительно было народным?) в гарант бессмертия господства и рабства. Войска, полиция, суды, тюрьмы, налоговая служба (чего стоила, к примеру, Россия на одну только деятельность петровских прибыльщиков!) и прочие сыскные и карательные приказы и ведомства; префектуры, муниципалитеты, мэ-

рии, президентские, правительственные, парламентские структуры, министерства, комитеты, конституционный и прокурорский надзор и опять министерства, ведомства, заполненные бесчисленным чиновным людом,— думаю, ничто сегодня так не угнетает человека, как эта государственная машина насилия и подавления, и ничто так не сковывает его в его возможностях нормально трудиться и жить, как достигший высот совершенства (разумеется, в рамках и на основе хищнических начал) аппарат государственной власти. Прошли как будто времена великих империй и великих монархий, и на смену им явились республиканские правления (процесс этот, правда, еще не завершен, но, как показывает действительность, близится к завершению), но, по существу, на стержне господства и рабства оказалась лишь подмененная одежда, тогда как под обновленным нарядом, если сдернуть его с текущих веков, откроется все та же застарелая плоть хищничества, разбоев и войн; приступив однажды к дележу богатства, славы и власти, люди словно бы открыли для себя ту великую стезю «цивилизации», с которой, несмотря на весь пережитый исторический драматизм, на принесенные жертвы и испытанные страдания, должные вроде бы за века чему-то научить нас, мы и сегодня, как с заколдованного круга, не можем сойти. Тоталитарные, социалистические, коммунистические, демократические режимы, они, словно поветрие, охватывают ныне народы и континенты, люди, как и тысячелетия назад, продолжают метаться в поисках удивительного бы их миропорядка, но сдвинуть предмет можно, только выйдя из него. Возможно — и в этом убеждает печальная действительность — мы являемся либо заложниками, либо рабами нашей «цветущей» (хищнической) цивилизации, которую я бы сравнил с глобальным капканом, некогда цепко захватившим и удерживающим человечество, и сколько бы личности, народы, страны ни изощрялись в желании изменить основополагающие — господство и рабство, рабство и господство — условия жизни, они не смогут, не стряхнув с себя социальные и нравственные путы эпох и не преодолев страх перед понятием Божественной неизменности мира (в данном случае по формуле «пастыри и паства»), хоть сколько-нибудь продвинуться в своих изысканиях; одно дело — возбуждающие надежду посулы, бросаемые в народ, и совсем другое — холодная, жесткая, жестокая и расчетливая действительность, заквашенная на непрерывных схватках за богатство, славу и власть, и — велик ли выбор у простодушного человечества, если различные, казалось бы, в наименованиях системы и режимы власти, испытанные и испытываемые, представляют собой, в сущности, лишь стороны одной и той же медали: диктат личности, чреватый непредсказуемым произволом, и диктат клана личностей, которые, заменив корону на демократические лозунги о восстановлении прав человека, беззастенчиво при этом (и, разумеется, в своих диктаторских интересах) попирают права народов и континентов. Нет, я не собираюсь оспаривать здесь тезис о том, что жизнь никогда не стояла и не стоит на месте, хотя главнейшие религии мира и утверждают обратное; жизнь движется, но так, вернее, таким образом, что в основных своих измерениях — социальном и нравственном — остается либо застывшей, окаменевшей, либо, если и меняется в чем-то, то лишь в худшую сторону; ведь при всех государственных переворотах, происходивших с участием или без участия масс, посулами благ втягиваемых в подобные троннозахватные боины, при всех великих и малых переустройствах жизни, какими бы соображениями ни продиктовывались эти переустройства, во дворцах и храмах являлись лишь новые помазанники, а кабально задавленные обитатели хижин так и оставались пребывать в хижинах, отгороженные от естественных человеческих благ невежеством и нищетой. Такова правда истории и правда современности, если с беспристрастием оценить главное детище восхваляемой нами цивилизации. Но оттого, что мы не знаем (или отвергли, что гораздо достовернее и о чем еще пойдет разговор ниже) иного устройства общественного бытия, кроме как единодержавности во всех ее вариантах, это не означает, что такового никогда не существовало и не могло существовать; предки наши не всегда отвергали то, что было неприемлемо массам, усложняло им жизнь, но чаще то, что не совпадалось с интересами и запросами тронов, то есть с притязаниями и амбициозностью восседавших на них помазанников, и уже одно это (при определении роли государственности) могло бы многое подсказать нам. Однако, к сожалению, мы не только не знаем, но и не хотим знать, какие еще пути, кроме хищнического, открывались перед человечеством на заре его развития и каким бы мог выглядеть мир теперь перед нами, если бы в нем было не разорено, а сохранено все его (хотя бы лишь в духовном проявлении) разнообразие. Ученые-тро-

ноугодники, а их несметное большинство на всех континентах, утверждают, что лишь с обретением государственности народы получили возможность на достойную человека, просвещенную жизнь; но я вновь позволю себе глубоко усомниться в этом, ибо как в современности, так и на всем пространстве минувших веков вряд ли можно найти такую страну — империю или республику да хотя бы княжество или графство — где были бы провозглашены и действовали объективные законы добра и справедливости, и обнаружить таких правителей, чьи интересы не стояли бы над интересами простолудинов, а взгляды не были бы захватнически устремлены на чужие богатства и земли.

III

Государство — это не что иное, как материализованная идея господства: в одном случае — над согражданами, в другом — над миром; две параллельные, ведущие к могуществу, — кровавые параллельные эти, прошедшие через века, держат и сегодня людской мир в напряжении, как если бы у человечества и в самом деле никогда не было и не могло быть иных возможностей в устройстве бытия, как только формы принуждения, насилия, методы коварств, устрашений и казней (разница лишь в орудиях смерти: на кресте, на колу, в петле, под ножом гильотины, от пуля, на электрическом стуле или от модных ныне бескровных вроде бы жандармско-экономических санкций); нам кажется, что террору могут подвергаться только отдельные личности, тогда как из века в век террору подвергались и подвергаются народы, загоняемые в тронугодные тупики, и — о каких полученных человеческим сообществом благах твердят и сегодня историки и философы, берущиеся восхвалять то государственность, как детище (систему непреходящих, божественных ценностей) цивилизации, то цивилизацию (в ее хищнической ипостаси) как порождение абсолютистской власти. Между прочим, вопрос, кто кого породил — государственность ли цивилизацию, цивилизация ли государственность как насущную потребность эпох, — вопрос далеко не риторический и не праздный, ибо от толкования сих понятий, то есть оттого, какому явлению будут отданы приоритет и первородство, зависит не только реалистическое понимание исторического процесса развития человечества, но и возможность на основе этого нового понимания кардинально изменить общий ход текущей и будущей жизни. Тронугодничество, ввевшееся в нас на всех уровнях нашего сознания, наконец должно быть отброшено, как ложь или как преступное правдоподобие, питавшее и продолжающее в новых тонкостях внушения (зомбирования) питать нас; думаю, настало время признать, что естественное состояние жизни — это не то состояние, в каком ныне принуждено пребывать человечество, что честь и достоинство не удел высокородства, как узаконено полагать, но равно присущие каждому от рождения составные жизни и что право на проявление их есть право личностей, наций, народов на самобытность развития. Ведь правда истории не в том, как она преподнесена нам, а в том, как все происходило на самом деле и какие движущие силы (страсти, амбиции, притязания) были задействованы в ходе исторического процесса. Если за основу понятия «цивилизация» брать лишь сумму ценностей, накопленных за века тем или иным народом или людским (при сожительстве наций) сообществом, не прибегая при этом к тенденциозным сравнениям, когда при равных правах на самобытное развитие одно признается и восхваляется, а другое подвергается унижению, насмешкам и уничтожается (что в общем-то происходило и продолжает происходить в мире), то при таком толковании этого понятия оно одинаково приложимо ко всем периодам исторического развития как отдельных наций, народов, так и человечества в целом, начиная с древнейших времен; если же подразумевать под ним лишь достижения (ценности!) нашей нынешней, достигшей головокружительных вершин, как говорят о ней, хищнической цивилизации, то ее первородность исходит не от корней народной жизни, не из арифметического сложения (пусть даже так), накопленного родовым, семейным, общественным опытом бытия, а от корней единодержавной, абсолютистской, доведенной до вседозволенности и непогрешимости Творца власти. Государство и власть — это одно понятие, ибо нет государства, в котором бы царило безвластие, и нет правителей, которые бы не опирались на всеисие государственных служб; подобная система господства и рабства простирается в глубокоую древность, ко временам фараонов и пирамид, и не случайно, видимо, у историков и философов прошлых и текущих эпох утвердилось мнение, что народы, не знавшие государственности и, как следовало бы

полагать, не стремившиеся к ней (она привносилась и навязывалась им, как позднее привносились и навязывались религии, призванные объяснять и смягчать суть государственной кабалы), что народы эти, остановившись в развитии, в силу именно этой причины обрекли себя на пожизненную второразрядность, то есть пожизненное отставание. Я думаю, что дело обстояло не так и не было ни отставания, ни второразрядности, но просто насильственно была прервана та другая, основанная (в отличие от хищнической) на началах справедливости и добронравия цивилизация, для развития и процветания которой не требовалось ни державной власти, ни воссозданной этой державной властью системы господства и рабства, которую мы нарекли великим понятием государственности, а достаточно было только, чтобы ей дали возможность самостоятельно, в согласии со своими духовными и социальными запросами (опять и опять невольное вспоминается Тацит с его характеристиками нравов германских и нравов славянских племен) развиваться и жить. Но, повторюсь, этого не произошло, и вместо процветания всех возможных (естественных) вариантов человеческого бытия верх взяла одна-единственная (хищническая) цивилизация, которую вернее было бы назвать не цивилизацией, а ливрейной служанкой тронов, их опорой и детищем, надежно приносящим (при всех мыслимых и немыслимых переворотках, переменах и смутах) плоды господства и рабства. В конце концов должно же человечество всерьез задуматься над тем, что представляют собой в системе общественного бытия науки, культура, искусство, эти неотъемлемые доминанты сковавшей нас по рукам и ногам «цивилизации», служат ли они интересам народа и насколько, или лишь целям укрепления и расширения власти, как мастерски сооруженные подпорки, должные (для одурачивания простолюдинов) имитировать несущие конструкции общественного бытия, доставил ли блага и оправдал ли ожидания весь тот технический прогресс, достижениями которого ныне так гордится человечество, или, ублажая амбиции властителей, властвующих народов и держав, работал лишь на разрушительные войны, которые, плодя страдания и смерть, прокатывались одна за одной по континентам Земли, отдавая лишь подскребки со своего оружейного стола на житейские нужды мирян? Высказывание это, конечно же, можно оспорить, если не с позиций народных тягот, а с венценосных (пусть даже с дворянско-чиновничьих) высот скользнуть взглядом по океану прожитых веков; но если, отбросив пути официальных риторик и без заискиваний перед сильными мира сего, отовсюду с пьедесталов, иконостасов и тронов взирающих на нас (нет-нет, троны не исчезли, нет, они захвачены и перезахвачены кланами промышленно-банковско-биржевых воротил), — если без этих атрибутов низкопоклонства посмотреть на суть происходившего и происходящего, то все «великое», собранное в понятиях «прогресс» и «цивилизация», не только не покажется великим, но предстанет ужасающей картиной permanently нарастающего кровавого развращения человеческой сути. Дабы осознать себя, свою историю, люди давно уже обращаются к древнейшим цивилизациям, когда-либо существовавшим на Земле, но не странно ли, что обращаются не ко всем, хотя известно, что только при всеохватном и объективном исследовании можно получить истину, подходят к делу выборочно, то есть обращаются лишь к тем (египетской, к примеру, ближневосточной, эллинской, римской), в которых господствовали, с одной стороны, абсолютизм власти, а с другой — поголовное или почти поголовное для простолюдинов рабство. Кто предначертал подобный подход к исследованию самого, может быть, важнейшего для мирового сообщества вопроса и в чем подлинный смысл такого подхода, ни древние, ни современные историки, философы, политики не дают хоть сколько-нибудь убедительного, тем более прямого ответа, ибо, во-первых, им никогда бы не позволили пойти на это, убрав физически и уничтожив духовно (ведь кострами инквизиции, образно говоря, отмечены не только годы мрачного средневековья, и мы не знаем, сколько истинно великих умов и их великих творений безгласно, в веках, было отправлено в небытие), и, во-вторых, приспособленчество всегда было и остается не только в крови простолюдинов, но, может быть, в еще большей степени приживалось у знатных и мыслящих, зачислявшихся затем историей во вселенских пастырей и поводырей. И тут, наверное, волей или неволей придется признать, что теория относительности, столь правдоподобная в приложении к материальному миру, выглядит еще более правдоподобной для мира духовного, из которого являются и каким определяются деяния личностей и народов; знают правду властители, во многом догадывается о ней народ; но властители, как уже говорилось выше, никогда и никому не позволят огласить ее, ибо в таком случае

сейчас же откроется суть того самого вселенского обмана, в каком человечество, веря в сказочность бытия и не удосуживаясь заглянуть в его реальности, пребывает в веках, и обнажится сам источник обмана — власть; да, да, не божественная, не помазанная, не освященная Церковью, но лишь узурпаторски (от хищнических начал) возведенная над простолюдными. Иногда мне кажется, что обращения к прошлым векам не только не имеют ничего общего с научными исследованиями, но предпринимаются лишь для того, чтобы поддержать примерами из древности жесткий и всеохватный обман, будто существующий уклад жизни предначертан нам издревле, свыше и что стержневая суть этого уклада, обозначенная ипостасями господства и рабства, сколько ни тасуй, как ни изменяй, ни перестраивай, всегда будет оставаться главной сутью человеческого бытия; да, мне кажется (а впрочем, все это вполне подтверждено событиями и фактами истории), что люди вообще не заинтересованы в поисках истины, что к прошлым векам обращаются лишь затем, чтобы обогатиться опытом насилия, и подобно старателям, перемывающим горы песка ради горстки золотых песчинок, готовы перелопатить всю историческую древность, чтобы примерами прошлого обосновать и оправдать свой нынешний венценосно-кланово-державный произвол.

IV

Чаще всего, но, можно сказать, охотней и целенаправленной люди обращались к древнеегипетской и ближневосточной цивилизациям, убежденные чуть ли не в том, что именно на этих землях с их теплым, благодатным климатом (думаю, что как раз на основе приведенного тезиса и была в свое время разработана историками так называемая климатическая теория, достаточно долго господствовавшая в официальной историографии и вроде бы вполне логично объяснявшая и оправдывавшая столь очевидное и ныне неравенство в развитии народов и государств) — что именно на этих благодатных землях следует искать начало начал просвещенного бытия человечества, что здесь зародились и достигли высочайшего расцвета науки, литература, искусство и, конечно же, государственность как нечто естественное, само собой будто бы разумеющееся, плоды которой мировое сообщество, пожиная в веках, так до сих пор и не может пожать. Но что же на самом деле представляла собой цивилизация Древнего Египта? Если, отбросив мелочи, то есть не заслоняя ими базовую основу тогдашней жизни, взглянуть на нее, то без труда можно заметить, что исследуемое сообщество людей было столь же четко разделено на господ и рабов, имущих и неимущих, наделивших себя правом власти и бесправных, как разделено и нынешнее; но, поскольку мир не был еще так «просвещен», как сегодня, и в проявлении державности фараонам не надо было ничего утаивать или прикрывать посулами грядущих благ, власть их представляла во всем своем первородстве и могуществе, она была более чем свободна в любых проявлениях, и не nostalgia ли по временам первородства и свободы столь магнитно притягивала в тысячелетиях, как притягивает и ныне венценосных особ и венценосные народы (к сожалению, есть и такие, да и не только народы, но и кланы государств, берущихся руководить миром) к истокам безграничных властных начал? Иначе чем объяснить столь устойчивое пристрастие народов, как принято говорить, хотя если присмотреться к реальности, народы тут ни при чем, ибо не они и не их волей творилась и творится история (и, думаю, аксиоматичный постулат этот вряд ли нуждается в доказательствах), — чем, повторюсь, объяснить столь неиссякаемое пристрастие к исследованию именно этих цивилизаций, известных как цивилизации средиземноморских народов: египтян, иудеев, арабов, греков, римлян? Лучшие ученые во все времена, как и теперь, направлялись на земли этих народов для проведения раскопок, и каждая археологическая находка как некий атрибут святости или нечто действительно составлявшее ценность народной жизни, а еще вернее, народного или всеобщего благоденствия (в конце концов есть же цель у человечества, согласно с которой или в рамках которой должен заключаться наш исторический исследовательский интерес), — каждая находка, способная сказать лишь о размерах господства и рабства, бережно водворяется в музеи европейских и заокеанских столиц как символ незыблемости хищнических начал, положенных «мудрыми» предками в основу общественного бытия личностей, народов, государств, и, наверное, я не очень отклонюсь от истины, если замечу, что не только величественный облик пирамид, но и само слово «фараон», за которым словно бы и теперь все еще возвы-

шается могущественная, безбрежная в своей вседозволенности власть, или выставленные на обозрение предметы и вещи подобного властелина вызывают в нас тот же душевный трепет, а скорее тот же страх, какой испытывали египтяне-рабы перед своими правителями. Нам, в сущности, дают понять, сколь плотен и неизменен мир в стержневой заданности и что протяженность во времени, когда века, эпохи сменяются веками, эпохами, — это лишь плоскостное пространство для исторического движения, а не фактор или стимул для каких-либо коренных — нравственных ли, социальных ли — перемен и преобразований. Древность, если взглянуть на нее в разрезе общественного бытия, почти в целостности дошла до нас во всех своих главнейших социально-духовно-нравственных проявлениях, и тут без преувеличений можно сказать, что текущая наша жизнь, наша «просвещенная» вроде бы во всех отношениях действительность есть не больше не меньше, как прямое зеркальное отражение тех необузданных человеческих страстей — источника бед, страданий, коварства, ошибок и заблуждений, — коими печально прославлена вся наша вековая драматическая история. Думаю, не требуется большого ума, чтобы, по оценкам деяний современных властителей людских судеб, понять, что мир, как никогда, сегодня устремлен к единообразию, а вернее, его насильственно и целенаправленно «устремляют», народы лишаются самобытности, теряют свое лицо, перемешиваются и исчезают как ветви или особи общечеловеческого древа жизни; мы не просто сгоняемся в единую, сулящую мириады благ (хищническую) цивилизацию, но — словно бы в некий давно и прочно уготованный мировой отстойник, в котором, забыв о родстве и корнях и лишившись в силу этой странной и, конечно же, принудительной забывчивости иммунитета самосохранения, превращаемся не иначе как в безликое и безголосое стадо Божьих (тронных) послушников. Эта тенденция — тенденция единого человеческого муравейника, в котором было бы (да «возрадуется» безгласый люд!) все четко распределено, кому пожизненно властвовать, кому умирать в сечах за власть, кому рабски, не разгибая спины, трудиться на нее, — тоже родилась не вчера и не столетие или тысячелетие назад; ее истоки лежат в жажде мирового господства, и если в древности мир еще не был готов к воплощению этой идеи в жизнь, как он готов и близок к этому сегодня, то сие отнюдь не означает, что названная идея эстафетно не передавалась в веках; во все времена власть была едина в своих притязаниях, и то, что хоть раз познавалось и достигалось ею, уже не забывалось в тысячелетиях, и я не уверен, что попаду не в десятку, если скажу, что точно так же, как правители сумели поставить верования и религии на службу своим интересам, они сумели и из исторической науки сделать служанку тронов, дабы не истощался в веках венценосный профессионализм. Ведь история в том виде, как она обобщена и изложена, представляет собой величайший и незаменимый Учебник Власти, ибо, к какой бы эпохе мы ни обратились в этом Священном (можно было бы назвать и так, как Библию) Писании, познания наши не продвинутся ни на шаг дальше царств и царствовавших в них особ и династий, мирозахватных войн, дворцовых переворотов, замешанных на сыноубийствах и отцеубийствах (в конце концов жажда богатства, славы и власти всегда была и остается сродни безумствам), на коварстве, обмане, жестокости и произволе по отношению к массам простолюдинов; да, история в нынешнем ее изложении — это Учебник Власти, к которому и тайно, и явно обращаются монархи всех рангов и положений, и небезызвестный угоднический (предательский, следовало бы добавить, относительно интересов народов) труд Макиавелли, представляющий, в сущности, лишь выжимки из эпохального Учебника Власти, только подтверждает цель, то есть предназначение и профессиональную для тронов значимость всемирно узаконенного варианта древнейшей и новейшей истории. С подобной трактовкой, разумеется, можно соглашаться, можно не соглашаться, но — не от наших амбициозных устремлений зависит общий ход исторических событий, и если человечество всерьез решится хоть что-то изменить (в пользу интересов простолюдинов) в принятом (читай: навязанном) мироустройстве, то оно должно решительно отказаться от сказочного представления бытия и встать на жесткую реалистическую платформу восприятия и познаний. Разве не очевидно, что история написанная — это лишь корыстно подтасованная под правдоподобие ложь, поскольку исследовательский интерес, если он проводится на объективных началах и если люди, осуществляющие его, действительно добиваются истины, не может ограничиваться или, вернее, сосредоточиваться только на тиранских или даже, допустим, не тиранских, а созидательных «подвигах» венценосных особ; есть бытие царей, великих и не великих во-

ителей, разорявших и грабивших чужие народы и страны, и есть бытие простолюдинов, относящееся к венценосному как девяносто девять к одному, и если при таком соотношении величин, а соотношение это неоспоримо, приоритет отдается деяниям царей и воителей, то уже сам факт подобного приоритета ставит под сомнение всю проделанную историками и летописцами титаническую, да, по усилиям именно титаническую, а по итогам — тронугодническую для монархов и бесполезную, это в мягком выражении, для людских масс работу. Интерес к проявлению личности (подобное проявление, кстати, всегда или почти всегда связано с проявлением властных начал), тем более наделенной или, вернее, присвоившей себе право повелевать судьбами народов и государств,— это одно измерение, и совсем другое — интерес к народной жизни, которая обычно складывается из общественных (национальных) потребностей бытия и может проявляться лишь при свободном, самобытном развитии; это азбучная истина, которую ни в каком прямом и откровенном разговоре оспорить нельзя; но ведь то, что нельзя оспорить, можно подтасовать, подменив понятие царской жизни жизнью вообще, а интерес к властвующей личности интересом к личности в самом широком толковании этого понятия, и вот, как бы мы ни удивлялись виртуозности мужей, сочинявших историю, и сколько бы ни произносили добрых или недобрых восклицаний, факт остается фактом, и вместо судеб народов исследователи продолжают (разумеется, не все, а лишь те, что и ныне кормятся на ниве официальной историографии) преподносить драматические и величественные судьбы царствовавших особ, как если бы никогда и ничто не отделяло мир властителей от мира простолюдинов и рабов.

V

Обращение к Древнему Египту, как, впрочем, и к исторической жизнедеятельности других «выдающихся» средиземноморских народов (если, конечно, согласиться с порочно бытующей внерасовой будто бы классификацией, из которой, однако, предателиски торчат выдающие эту классификацию уши), есть не что иное, как обращение к истокам нынешней хищнической цивилизации; путь ее, почти равный пути развития человечества (ведь добронравие и миролюбие изначально и в силу именно этой своей заданности не могли противостоять напору насилия, подавления и кабалы),— путь ее, как и путь человечества, исполненный величественных взлетов и драматических падений, зависел не столько даже от личностей, бравших на себя главенство в сотворении этого вселенского зла, сколько от того, в какой степени удавалось сему злобесному началу поставить на службу тронов, дабы укреплять и усиливать их, нравственный, духовный потенциал людских масс. Потенциал этот, кстати, способен проявляться не только в стремлении к свободе и справедливости, но в еще больших — и по времени, и по силе самовыражения — масштабах в послушании, смиреннии и терпении, как это происходит ныне и происходило в веках и что обращали и продолжают обращать в свою пользу, то прибегая к устрашениям, то к посулам грядущих благ коронованные и рвущиеся к коронации под стягом «демократических преобразований» (тот же кафтан, да только дыркой назад) заедатели людской жизни. Думаю, что вряд ли открою истину, если скажу, что равно как власть, так и ее производное, то есть хищническая цивилизация, не имеют (хотя, возможно, вопрос этот и спорен) национальной принадлежности; но, не имея как будто бы своих национальных корней, тем не менее ни цивилизация как стержень мироустройства, ни власть не пребывают в состоянии «Иванов, не помнящих родства», а, напротив, как ни одно из людских сообществ забываются о своей исторической памяти и не только свято чтут заветные традиции, поскольку отступление от них, от постулата господства и рабства («пастыри и паства» в терминологии мировых религий) всегда чревато гибельной катастрофой, но с неумной энергией пополняют их опытом то минувших (через целенаправленные археологические исследования), то текущих времен. История давно уже периодизирована чередой сменявших друг друга социальных систем (менялась, правда, не суть жизни, а лишь одежда на ее хищническом остове); история власти, история мировой абсолютистской державности, нацеленной на достижение мирового господства отдельными личностями, народами — к сожалению, некоторые народы и донныне не оставили этих своих притязаний — или кланами личностей и государств, точно так же может быть периодизирована сменой своих, царских одежд или, сказать иначе, этапами внешнего, а потому ложного обновления. Я понимаю, что повторение не лучший способ до-

стижения истины, хотя, может быть, в этой кажущейся тавтологии, как и в тавтологии жизни, поставленной на заколдованный (хищнический) круг вращения, как раз и заключена истинная суть; власть, повторяю, ибо того требует повествование, — это государственность; государственность же — это зачатие, рождение и возмужание не просто цивилизации как естественной основы человеческого бытия (и что вроде бы свято для нас в канонном толковании), но — цивилизации хищнической; самопровозгласившись единственной, великой и неповторимой и не оставив в силу этого самопровозглашения никакого для человечества выбора (такова хватка новодержавников), — цивилизация эта, безудержно рекламируемая и прославляемая, развернув над миром древнегреческое (элитно-подновленное) полотнище демократии, сегодня как никогда торжествующе шествует по странам и континентам. Если происходящее ныне рассматривать на фоне всего исторического процесса, то нетрудно заметить, что, как и в прошлом, когда власть, чтобы удержаться, бывала принуждена менять методы и формы насилия, переходя от военных, карательных к духовным и от духовных к военным, карательным (зевровая дорожка, и это на протяжении веков), так и теперь — идет лишь тотальная смена царских, тронных одежд, тогда как общая жизнь людей не только остается неизменной в ипостаси своей нищеты, но с каждым столетием обретает черты все более глубокого, необратимого, добавлю, драматизма. Конечно, нам странно слышать, когда современность напрямую сравнивается с древностью, но разве в плане господства и рабства наше время так уж сильно рознится с временами египетских фараонов? Нет, только слепец или нечестный, мягко говоря, человек — историк, философ или политик — может утверждать подобное; как и тогда, так и теперь: на одной стороне — безмерная концентрация богатства и власти, на другой — концентрация нищеты; и как и тогда, так и теперь — несправедливость эта, это преступное обогащение сопровождаются почти умопомрачительным, если так можно выразиться, расцветом наук, литературы, искусства. Могут сказать, что такова формула жизни, открытая и зафиксированная бытием народов еще в древности (вождь племени и шаман при нем как неотъемлемая духовная подпорка власти), то есть некая высшая (для материалистов — естественная, природная, для идеалистов и людей углубленной религиозности — божественная) заданность, которую, поскольку-де исходит не от человека, изменить нельзя; но при любом пусть даже беглом охвате истории возникает совсем иная, прямо противоположная версия, ибо Творца Вселенной, Творца людской жизни никто и никогда не видел, о НЕМ только говорится, что ОН существует и движет нашими помыслами и делами (надо полагать, и злыми, поскольку, как повествует Библия, именно с ЕГО повеления разрушались города и стирались с лика Земли неугодные — кому? — народы и царства), но зато все или почти все власти-тели, заливавшие кровью простолудинов землю и созидавшие по своему усмотрению (произволу) хищническое мироустройство, — власти-тели эти более чем широко известны и по именам, и по деяниям; и в конце концов можно ли всерьез принимать их оправдательные измышления, будто все совершавшееся ими совершалось с наущения и согласия Творца? Если Господь Бог, не поверив в саму возможность единоплеменности и единородства народов, решительнейшим образом разрушил Вавилонскую башню и рассеял возводившие ее народы по странству Земли, дав каждому свой национальный язык и свои национальные черты характера (он явно был против вселенского человеческого муравейника), то, спрашивается, из каких соображений, если, конечно, признать, что ни один волос не может упасть ни с чьей головы без ЕГО ведома, исходит сей Вселенский Вершитель судеб, когда поднимал, вернее, благословлял царей и полководцев с их воинством на разорение, закабаление и унижение соседних народов? Ведь богоизбранность венценосцев, как и «венценосных» народов, — явление, ничем не доказанное и не подтвержденное, кроме разве что горами тронно-угодных домыслов, именуемых историческими и философскими трудами, коими издревле и донныне духовно подпитывают простолудинов; но, если посмотреть в корень вопроса, человечество имеет здесь дело с явным, хотя и предельно утонченным расизмом, то есть с той самой теорией превосходства рас и личностей, которая, подвергшись резкому и решительному осуждению в кровавом своем проявлении (фашизм, и не только германский), не подвергается, однако, столь же резкому и решительному осуждению в проявлениях хищнических властных начал; и, более того, через определенную, главным образом церковную, риторику продолжает навязываться как некий заданный абсолют добродушному, добронравному и доверчивому (в большинстве своем) человечеству. Мы

живем в каком-то странном и вроде бы непознаваемом вселенском обмане, когда то, что осудительно для всех (для большинства, надо бы уточнить, а если достоверней, для неугодных, правда, неясно, по каким причинам и кому, народов), оказывается в то же время пристойным, исполненным даже некоего будто благородства делом для избранных; не потому ли одни народы, к которым прежде всего следовало бы отнести славянство, приняв обман как некую предначертанную Творцом вселенскую истину и неукоснительно следуя ей, пребывают в кабале, нищете и несправии, тогда как другие, изначально будто помеченные тавром богоизбранности, а по сути исповедующие жесточайший (хищнический) реализм, благоденствуют в этом своем узаконенном для себя «утонченном» расизме, прикрываясь догматами светских и церковных светил. Божественное ли это начало, или нет, о чем, кстати, бессмысленно было бы спорить, если бы не два прочно бытующих в народе суждения о мироустройстве — суждения религиозного и суждения научного, — и если бы в общенародном просветительстве не господствовало в той или иной степени первое, то есть церковное; ведь Бог может ассоциироваться только со справедливостью, а справедливости нет, и уже это должно же говорить нам о чем-то; Христос принял страдания человечества на себя, а люди как страдали, так и страдают в веках, и обещанное Спасителем спасение так и не состоялось; но пришла ли нам хоть раз мысль, что, положив однажды в основу бытия божественную неизменность, мы, в сущности, заперли себя в тупике господства и рабства (пастыри и паства) и что, признай вовремя, что мир творился и творится людьми, то есть произволом личностей, достигающих властных высот, вполне могли бы, противопоставив благонравие злу, достигчь иных, всеобщих благ и сообразоваться в ином, нехищническом мироустройстве. Не я первый кидаю этот упрек человечеству, как если бы оно еще в древние времена, то есть в начале пути, сбросив с себя вселенский обман жизни, могло выйти на стезю добронравия и справедливости; однако попытки открыть людям глаза на правду истории, на вымыслы о божественном происхождении власти и святости ее коронованных служителей (тут разом и страховка от посягательств, и права на вседозволенность и произвол), — попытки эти, либо убивавшиеся в зародыше, либо упрятывавшиеся в гробы молчания (ведь язык могил — это не язык жизни, а логические построения и догадки возможного — не Библия, тронноблагословленно и в золотом нимбе положенная на стол светского и церковного просветительства), только подталкивали венценосных особ, всегда усердно проявлявших заботу об интересах и нуждах власти, ко все новым и еще более коварным ухищрениям, дабы не открылся веками творимый ими обман и не нарушился status quo хищнического мироустройства. Я почти убежден, что и моя попытка пробиться к истине окажется столь же обреченной, как и предыдущие, о которых можно только предположить (по дошедшим до нас скудным и косвенным свидетельствам), что таковые имели место и что в конце концов не все в истории человечества так подернуто мраком, как может представляться с первого взгляда; людское сообщество всегда пребывало в сомнении, хотя и не до такой степени, чтобы выразиться в великих исторических свершениях; возмущение простолюдинов никогда не поднималось до глобального охвата, и если борьба их за коренное переустройство мира на всем пространстве веков терпела лишь поражение за поражением, то оттого, только, что, положив мерилom жизни справедливость, добронравие, миролюбие и зашорившись в этой своей сказочной (гибельной, как подтвердили века) ипостаси, как пребывали, так продолжают и сегодня пребывать все в том же состоянии исторической слепоты перед всесилием хищнических начал. Нас призывают молиться (за некие будто бы свои прегрешения, тогда как на Земле не было и нет больших прегрешений, чем прегрешения власти перед народом), мы зажигаем свечи, опускаемся на колени перед иконами и ждем чуда, а в это время по другую сторону иконостасов и совсем у других алтарей — эстафетных алтарей власти, крашенных и перекрашенных под оберегателей и заступников сырых, бесправных и безгласых людских масс, пребывающих в благостном обмане (и это в век просвещенности!), творится теперь уже новая и новейшая (хищническая) история человечества и определяется наша судьба.

VI

И все же — откуда пошла хищническая цивилизация, так необратимо спеленавшая человечество по рукам и ногам, и, заткнув ему, как младенцу, рот соской — посулами великих и малых грядущих благ — и уложив в люльку бед и

страданий, продолжает навевать золотой, по выражению поэта, в беспробудной нищете, кабале и насилии сон? Да и правомерно ли считать цивилизацией только это наше современное варварство, когда не то чтобы судьбы народов, но вообще перспектива всей на Земле жизни как никогда поставлена в положение заложницы ненасытных и неумных в осуществлении насилия, разрушений и войн властных структур? Путь развития человечества долог и труден, если попытаться представить его во всех конкретных исторических проявлениях; и хотя нет спора, что конкретность важна, но ведь любое событие, к каким бы временам и эпохам ни относилось, не возникало из ничего и не развивалось само собой, обособленно, вне связей текущего с прошлым и будущим, а совершалось в русле и под воздействием определенных закономерностей, составлявших в прошлом, как и теперь, стержень жизни; жизнь движется, а стержень сохраняется в неизменности (возможно, в этом и заключена вся пагубная суть нашего бытия), он только совершенствуется в рамках своей изначальной заданности, и условно ли, не условно ли, но принято считать, что одним из образцов для нынешнего (хищнического) мироустройства явилась «цивилизация» Древнего Египта. Потому-то, наверно, властители всех позднейших времен столь пристально устремляли взоры на эту «цивилизацию», стараясь приложиться к ней как к источнику бессмертия; в деяниях фараонов, сумевших возвести в абсолют как ипостась власти, так и ипостась кабалы (для народа) и бесправия, державники видели пример той самой государственности — господство и рабство, рабство и господство, — которая, совершенствуясь в тысячелетиях, поработительски охватила все или почти все людские сообщества, на каком бы континенте они ни обитали (в этой связи можно было бы сказать, что еще не известно, что страшнее, эпидемия ли чумы, против которой так ли, иначе ли, но найдено средство спасения, или эпидемия политического, экономического и духовного насилия, перед которой девять десятых человечества и поныне остается беззащитным); мир движется по кругу, то есть не только с каждым новым столетием, новой эпохой или эрой «возвращается на круги своя», как принято говорить (и что верно лишь наполовину, как если бы люди обладали однополушарным мышлением), но никогда не сходил и не сможет, пока не сменится взгляд на историю, текущие и грядущие времена, сойти с этого круга. Становление хищнической цивилизации, держащей ныне мир в напряжении и, по существу, поставившей его на колени, происходило далеко и далеко не гладко и не мирным путем; в процессе этом не было ни стихийности, ни естественности, на что обычно ссылаются многие нынешние историки, философы да и церковники, а был только целенаправленный на торжество хищнических начал произвол властителей, и — не в связи ли с этой целенаправленностью народы разделены сегодня (в официальной да и не только в официальной историографии) по степени своего умственного, надо полагать, развития на главенствующие и отстающие, на тех, которые уже на раннем этапе становления общественных отношений и общественного бытия сумели постичь «ценность» государственного уклада жизни, и тех, которые не смогли распознать суть сей «великой ценности» и принуждены были принимать ее насильственно, из чужих рук. Явление повсеместного и поголовного огосударствления народов, загонявшихся тем самым, если судить по эпохальным итогам истории, в единую хищническую кошару «цивилизации» (разумеется, происходило это не сразу, но осуществлялось в течение веков и тысячелетий), как и позднейшие охристианивание и омусульманивание, сопровождавшиеся жесточайшим изничтожением всех существовавших уже и пренебрежительно названных языческими верованиями религий (будто бы религии эти от лукавого, от темных сил, тогда как если посмотреть в корень процесса, изничтожались национальная самобытность, национальные традиции, национально-приемлемое мироустройство, а по большому счету — становление национальных культур, то есть будущих национальных цивилизаций, так, к сожалению, и не успевших раскрыться и теперь уже навсегда или почти навсегда утраченных человечеством), — явление повсеместного и поголовного огосударствления народов не только нельзя воспринимать как восхождение на новую, высшую ступень развития, но и следует решительно и бесповоротно оценить как самую глубочайшую, исполненную бесконечных бед и страданий, то есть перманентно повторяющуюся трагедию человечества. Мир людей, как и мир природы, имел по своей естественной заданности все возможности для всесторонне-разнообразного, гармонического развития; и в соответствии с этими возможностями каждый народ обладал неотъемлемым правом на самобытное обустройство жизни, и, если бы право это неукоснительно соблюдалось (мне

кажется, еще не поздно восстановить его и теперь для достижения всеобщего благоденствия), мы бы имели сегодня не только эту нашу хищническую цивилизацию и не только по ней могли бы судить о целях жизни и предназначении человека в ней, но и по другим, возросшим на началах добронравия, миролюбия, взаимной терпимости, уважения и справедливости, и стояли бы перед выбором, что принять, хищничество ли как основу общественных отношений, постулаты которого принуждены исповедовать и им поклоняться, или господство добронравия, то есть тех иных цивилизаций, какие, мы можем только догадываться, были и могли получить развитие, но оказались задавленными под натиском жестких, неумолимых, властных притязаний. Все мировые войны и нашествия, какие только прокатывались по просторам Земли, начинались с целью захвата, разбоя и поработительства; они инициировались правителями, жаждавшими богатства, славы и власти, словно мало было им, как мало многим и сегодня, уже созданных царств и поработченных народов, они устремлялись с ордами войск к высотам мирового господства, и те людские сообщества, которые в силу своего добронравия и миролюбия не знали государственности, не имели и не хотели иметь ее (по известному, сохранившемуся и донныне неприятию хищнического мироустройства и неумению приспособиться в нем), а строили общественные отношения и уклад жизни по своему самобытному мировосприятию, — эти именно людские сообщества оказывались первыми в кабале, а их не успевшие еще как следует обозначиться и окрепнуть цивилизации превращались в пепелища под напором пеших и конных лавин. Чтобы удостовериться, так ли все складывалось в истории развития человечества, достаточно, думаю, обратиться к Старому и Новому заветам Библии — источнику, который в данном случае должен читаться прежде всего как летописный свод событий, а не как книга священных (божественных) уложений. К сожалению, в Библии, как и во всех других крупнейших исторических исследованиях, нельзя найти прямого и ясного ответа на вопрос, во имя каких конкретных высших целей уничтожались царства, покорялись и закабалялись народы; даже те ответы, которые даются вроде бы научной историографией, смутны и неубедительны, ибо не только уклоняются от истины, но в большинстве случаев сознательно и целенаправленно опираются на заведомо ложные посулы и ложные выводы, тогда как правда истории — вот она, под ногами, наклонись и возьми, но мы упорно из столетия в столетие продолжаем топтаться на ней и не замечать ее. Уже на самой заре человечества возникла, не могла не возникнуть борьба двух диаметрально противоположных начал мироустройства — на постулатах хищничества и постулатах добронравия, — и, как всякая схватка за выживание, в которой кто-то должен пасть, кто-то возвыситься, она велась жестко, бескомпромиссно и беспощадно; уничтожались или обращались в хищничество как в некую обязательную веру не только народы, не знавшие и не имевшие государственных устройств (должен заметить, что я отнюдь не выступаю против государственности вообще, но против хищнических устоев, на которых она создавалась и создается, тогда как могла бы возникнуть на началах добронравия и миролюбия, то есть вырасти из этих притягательных основ жизни и, лишенная стержня господства и рабства, как раз и явилась бы живым воплощением вековых человеческих надежд и мечтаний), но обращались в прах и те царства, которые, не успев достичь нужного могущества, оказывались беззащитными перед более сильным и более хищным (по однородству наклонностей) претендентом на мировой трон, и — нужны ли какие-либо еще доводы, чтобы окончательно удостовериться, что не волей Творца и не произволом стихии, а единственно произволом властителей складывалась и затем писалась история. Великие полководцы, «гении» всех когда-либо гремевших на Земле войн, Господа Мира, прокладывавшие путь человечеству в грядущее, как представляют их официальная и неофициальная историографии (нужно ли перечислять их, когда все они на слуху — от Геракла, Александра Македонского, Иисуса Навина, Цезаря, Аттилы, Карла Великого, Чингисхана, Тамерлана и до Карла XII, Наполеона и Гитлера), — в конце концов не случайно же, что именно им как воителям, как полководцам авангардных сил хищничества, вышедшим (на заре, да, на заре человеческого бытия) на захват и закабаление мира, благодарные потомки, а проще тронопреемники, но только в других нарядах, с другим вооружением и другими методами насилия и поработчения возводят памятники бессмертия и, обожествляя их «подвиги», принуждают народы чтить сих кровавых кумиров и поклоняться им. Конечно, историю можно перевернуть (чем, кстати, и пользуются заправила хищнических державных начал), но ее нельзя переде-

лать; она всегда останется такой, какой была, величественной для властителей (властителей тьмы, можно было бы уточнить) и трагической для народов — трагической прежде всего тем, что истинная суть ее всегда скрывалась, как, впрочем, и скрывается (пожалуй, еще даже тщательней, чем прежде) от людских масс; одни ветви человеческого древа, самовозвеличившись в своем хищничестве, выдаваемом ими за спасительный постулат, столь же успешно продолжают самовозвеличиваться и теперь как некие правопреемники богоизбранности и, обворовывая другие людские сообщества, прикрывают свое злодейство обилием картинно разукрашенных словесных благ (по принципу: будьте бедными, а мы вам всегда поможем); другие, чья историческая заданность несовместима с хищничеством и кому претят самовосхваление, раздоры, войны и грабежи, как подвергались, так и ныне продолжают подвергаться обману и унижениям, и здесь можно было бы сослаться на историческую судьбу славянства, особенно восточноевропейского. Мир не знает славянских нашествий, как, впрочем, не знает нашествий, которые бы исходили от народов, не имевших государственности (но, повторюсь, отнюдь не оттого, что стояли на нижней ступени развития, как трактуют этот факт прошлые и нынешние историки); но именно славянство, особенно восточноевропейское, охарактеризовано во всей западной историографии самым агрессивным и жестоким народом; это явный и недвусмысленный вымысел, и появление его, конечно же, сопряжено с определенной заданностью; как элемент зомбирования ложь эта пущена в обиход для нейтрализации добронравия, которое не убито еще до конца в русских людях и способно противостоять как хищнической государственности, так и хищнической цивилизации, так что — система господства и рабства, система «обманывай, грабь, захватывай и поработай» и ныне не терпит ничего, что могло бы, во-первых, служить укором и, во-вторых, обнажать перед миром простолюдинов суть тронных завуалированных злодеяний.

VII

Да, есть история жизни, и есть писаная история, через которую вроде бы только и дано нам познавать мир и себя в нем, и если в первом случае перед нами могла бы предстать во всем своем хищническом коварстве истинная суть бытия, то во втором, когда правда подменена правдоподобием, дабы все же было что-то реальное или по крайней мере логически завершенное (на бумаге всегда можно свести концы с концами), что не просто оспорить и во что так ли, иначе ли, под нажимом ли, из простодушия ли нельзя не поверить, — во втором предстает даже не копия, воссозданная изворотливым человеческим разумом, ибо за копией всегда можно разглядеть подлинник, но тот оправдательный вымысел, тот величайший обман, в каком мы пребываем, восхваляя нашу хищническую цивилизацию и наши абсолютистские, иначе не назовешь их, какими бы тогами республик и демократий они ни прикрывались, системы государственного насилия. Конечно, кому-то покажется парадоксальным, что именно в тех людских сообществах, где стержень господства и рабства как основа мироустройства достигает наивысшего своего предела (опять же Древний Египет: фараоны и рабы), начинают процветать науки, искусства, возникают шедевры зодчества, разумеется, в строительстве дворцов и храмов как неких очагов Божьего наместничества или пастырских очей за невежественным, глупым и блудливым людом; да, кому-то покажется странным не столько сама суть сей окружающей нас вековой действительности, сколько суждение, выходящее за рамки привычных официально-светских и официально-церковных постулатов, за которые под страхом Божьей да и монаршей кары простой смертный не только не должен выходить, но и не должен заглядывать (ведь среди столпов, подпирающих власть, есть и этот столп охранного консерватизма); нас приучали полагать, что народы и государства древности характеризуются не состоянием экономической и духовной жизни простолюдинов, обычно составляющих (на девять десятых) основу любых человеческих сообществ, но уровнем развития наук и искусств, уровнем тронного величия, абсолютизма, тронных богатств и запросов (так мы подходим к истории Египта, Месопотамии, Древней Греции, Рима, да и к новейшей, о которой еще пойдет речь), как если бы мир людей никогда не делился на богатых и бедных, господ и рабов, а был целостен и един и в желаниях жизни и благоденствия, и в возможностях исполнения этих желаний; но ведь подобная разделительная грань существовала всегда, контуры ее явились буквально из тьмы веков и уже за тысячелетия до Рождества

Христова обозначились величием дворцов и словно застывшим убожеством хижин, и одно дело, если бы люди не видели и не чувствовали этой грани и не страдали от нее, и совсем другое, когда, видя и понимая суть установившейся на Земле несправедливости и негодюя или по крайней мере пытаясь негодовать против нее, сейчас же словно теряют дар разума, когда престижно преподносят им отечественная (сфабрикованная) да и мировая (столь же или еще более сфабрикованная) история как единый и естественный организм человеческого бытия. Вот чему следовало бы удивляться — искусству обмана, то есть риторической ловкости, с какой правда, подмененная ложью, приобретает некое зримое будто и логическое правдоподобие; мы хорошо знаем, что пирамиды строились рабами и для фараонов, и вполне можем представить (по опыту своей, да-да, своей жизни), каково было рабам и каково фараонам, обитавшим во дворцах и обладавшим неограниченным могуществом власти, и было бы правомерным и бесспорным, если бы понятие «цивилизация Древнего Египта» относилось лишь к дворцовому быту фараонов и к их тронным запросам и удовлетворениям, как правомерно было бы считать, что главной целью археологических исследований этой «цивилизации», то есть эпохи фараонов, является исследование стержня хищничества как будущего всеохватного государственного мироустройства; такая трактовка цели вполне соответствовала действительности, но, видимо, как раз истину-то и не с руки открывать правителям, им выгодно, а народам лестно, когда интересы тронов и хижин слиты в единый интерес человечества, как если бы все жили подобно царям (ведь обобщение идет в сторону дворцов и при этом как-то забывается о насилии, порабощительстве и рабстве, а если и упоминается, то вскользь и вроде бы с какой-то застенчивостью) и подобно царям и царедворцам пользовались шедеврами и благами цивилизации. Нет, дворцы всегда были отделены от хижин, и мнимое единство их — это лишь искусный и далеко не безвредный вымысел, каким и сегодня усиленно (духовно) потчуют нас; ведь одно дело — трактаты и речи и совсем другое — реальная действительность, в какой жили предки и живем мы; государственность Древнего Египта, когда столетиями богатели и украшались шедеврами искусства дворцы и храмы и столетиями же пребывали в застывшей нищете и убогости жилища простолюдинов (как если бы жизнь и в самом деле могла протекать в двух измерениях: в движении и развитии для фараонов и в статичности для простолюдинов, зафиксировав или, вернее, закрепив за одними вечно на тронах и возле них благоденствие, а за другими вечно рабство), — государственность Древнего Египта как некий шаблон или штамп четко обозначилась затем во всех последующих (и прославляемых, как Египет) системах общественного мироустройства — Греция, Рим, Византия. Россия (список, разумеется, можно продолжить, ибо в чем, в чем, а в стержневой основе господства и рабства мир, к сожалению, действительно оказался на удивление единым). Древняя Греция — плоды цивилизации для патрициев, кабала, невежество, рабство, как и во все времена, — для илотов, а ведь в официальной (научной) историографии древнегреческая цивилизация подается как цивилизация народа; таким же социальным раскладом обозначена и эпоха Римской империи, эпоха римских цезарей, когда ломились от богатств дворцы и стонали от нищеты простолюдины (и на ниве этих страданий создавались шедевры зодчества, живописи, музыки, литературы для убажания глаз и слуха «великих» властелинов Земли), а затем этот же расклад переключался в Византию, считающуюся прародительницей нашей государственности и нашей духовности (как если бы и в самом деле у нас не было ни своих традиций, ни своего представления о мироустройстве), и к нам, но уже словно бы в египетской первоначальной державности. Абсолютизм власти, начав отсчет от времен фараонов, продолжает и ныне то с большим, то с меньшим успехом шествовать по Земле, и поступь этого колосса насилия столь тяжела, а бутафорские одежды с позолотой (или: сорок жалких миллиарзий на золотом с бриллиантовыми вкраплениями подносе, на котором, по существу, были поданы нам государственность и духовность) столь нераспознаваемо-привлекательны, что мы и сегодня готовы положить жизнь за сей страшный исторический обман. Россия — это зеркальное отражение Византии, которая, в свою очередь, — зеркальное отражение (во многом даже усиленное) древнеегипетской абсолютистской державности. Расцвет науки и культуры в Египте, если повнимательней присмотреться к фактам истории, падает как раз на времена, когда власть достигает своего величайшего могущества, а массы — своей беспросветней нищеты, и в чем же тогда (если, разумеется, не случайно подобное совпадение) заключено достоинство подобной цивилизации,

если она обслуживает лишь фараонов, усиливает их военную и духовную мощь и обездоливает простолюдинов? И что тут можно сказать о Римской империи и о Византии, где тоже не по чистой случайности расцвет наук и искусств приходится на периоды взлетов абсолютизма власти и крайнего обнищания масс? По-видимому, дело здесь не в случайности, а в закономерности, действующей в веках, ибо и в России расцвет наук и искусств пришелся на XVIII и XIX столетия, когда народ был доведен крепостничеством до крайней черты, а кремлевские самодержцы вкуче со столичной и провинциальной дворянско-чиновничьей и церковной элитой, уверовав в свою абсолютную безнаказанность, творили в стране египетский, по сути, беспредел, как, впрочем, подобный же беспредел творили и так называемые вожди «победившего пролетариата», преступно одержимые комплексом мирового господства. Разумеется, явление это не замыкается только на вышеназванных странах, оно характерно для всех людских сообществ, которые добровольно ли, как Египет, Греция, Рим, или насильственно, как Россия (впрочем, я подозреваю, что и Египет, Греция и Рим не избежали насилия и чужеродства власти), приняли столь торжествующую ныне хищническую государственность, а вместе с нею и хищническую цивилизацию; ведь ничто так не обладает преемственностью, как державный абсолютизм, и, пожалуй, лучшим примером для доказательства высказанного предположения служит история России с ее извечным тронным чужеродством; да, я особенно подчеркиваю: тронным чужеродством, хотя исследователи и философы всех направлений словно по уговору, но скорее по гласной и негласной команде властителей предпочитают обходить этот вопрос молчанием, а если и затрагивают, то лишь в плане общих тенденций, не способных будто бы сколько-нибудь существенно влиять на самобытность развития тех или иных народов. В логическом восприятии — да, не способны, но стоит лишь обратиться к исторической и текущей реальности, как картина обретает иные очертания и краски. В конце концов что такое древнеегипетская или византийская государственность и вообще была ли таковая, как положено воспринимать ее, или не была, как не было и приписываемых народам этих стран цивилизаций, а было лишь средоточие богатств, славы и власти во дворцах и храмах, где торжествовал произвол правителей и процветали обслуживавшие этот произвол науки и искусства? Масштабы и суть происходящего, конечно же, несовместимы с тем, что сегодня подается на просветительский стол жизни; если сказать образно — либо блюда пусты, либо пища настолько отравлена духовным (хищническо-державным) ядом, что после подобного тысячелетиями длящегося застолья многие, очень многие народы, и в первую очередь славянские, помеченные (словно бы на свою погибель) добронравием, всепрощенчеством, смирением, терпимостью и доверчивостью, не могут, как подтверждает историческая и текущая действительность, выйти из состояния экономической и духовной комы. Правоммерно ли считать такое явление естественным, или все же за ним стоит некая неумоимо-хищническая воля — вернее, произвол венценосных (по самопровозглашению) личностей и народов, — которую невозможно ни понять, ни унять? Я бы не только положительно ответил на этот вопрос, что да, стоит, но и добавил бы, что не чем иным, как чужеродством (и не столько по национальному признаку, сколько — по несовместимости интересов господ и рабов), может быть объяснено укоренившееся в веках отношение правителей к подвластному им люду как к некому самовоспроизводящемуся тягловому скоту, созданному Творцом единственно для улаживания и барства венценосных особ, и разве не по этому словно бы предначертанному свыше «Божественному уложению», то есть не на этих ли хищнических основах бытия достигла «величия» государственность (цивилизация) Древнего Египта, которую мир так усиленно тшится познать, или, скажем, древнегреческое, времен расцвета так называемой полисной демократии, или римское, времен цезарей, мироустройства, или, если брать ближе к нашей истории — Византия с ее загадочной будто бы и трагической судьбой, империя, в которой вполне вроде бы уживались представители разных национальностей (чем не поучительный пример!) и где, как и в Древнем Египте, благоденствовали, обрета несметные богатства и неограниченную власть, лишь константинопольский Кремль с его дворцами и храмами (там же, в Кремле, и доступные лишь его могущественным обитателям процветали науки, искусства), и сразу же от крепостных стен на нескитанно верст простиралась держава — страна церквей, монастырей, отшельничества, страна нищеты и бесправия. Такой же в столетиях предстает перед нами и Россия с Кремлем и Зимним — скопищами богатств, славы и власти, и прямо от подножия этих дер-

жавных монументов, распростершись на двух континентах, лежит, озвученная или, вернее, придавленная тысячелетним кандальным-церковным звоном крестьянская, избяная, крепостническая Русь. Мы говорим о великой русской духовности, о великой русской культуре, называя национальным достоянием и гордостью созданные дворянством и для дворянского же потребления шедевры литературы, музыки, живописи, зодчества, и словно бы забываем (да, на что-то длинна, а на что-то и коротка у тронных особ и тронугодников память), что вплоть до двадцатого столетия простой люд России, то есть стомиллионное русское крестьянство, представителем которого не раз и не два называл себя Лев Николаевич Толстой, — стомиллионное русское крестьянство оставалось почти сплошь безграмотным, так что одно дело — слова и оценки и совсем другое — действительность, полная несправедливости и трагизма задавленных, закабаленных людских масс; она ужасает тем (я имею в виду для властителей), что обнажает зло, творившееся и творимое ими, оголяет фарисейство, прикрытое понятиями научности и патриотизма (как если бы признание лжи истиной и в самом деле имеет нечто общее с этими понятиями), и в конце концов может подточить корень тронного бессмертия; но то, что пугает властителей, не должно пугать простой люд, который был и остается отторженным, по сути (и прежде всего в силу своей обобранности и нищеты), от благ хваленной хищнической цивилизации. Ведь все велеречиво названное в истории творением и достоянием народов как было, так и остается достоянием лишь обитателей дворцов и храмов, и если большая часть человечества пребывает и ныне в состоянии безграмотности (я не упоминаю пока о голоде, болезнях, рабстве, бесправии), то каковы же истинные масштабы творимых над личностями и народами (под стягом цивилизации) на земле дел?

VIII

Как ни темна история и как бы далеко ни отстояли от нас изначальные эпохи человеческого бытия (хочу, кстати, заметить, что отнюдь не отдаленность является помехой для установления истины и даже не тлен, во что обратились многие и многие свидетельства тех веков, но горы навороченной вокруг них лжи, обращенной в правдоподобие и выдаваемой за правду, а если образно — барьер святости, возведенный из нацеленных на обман масс так называемых древних, божественных посланий или мудростей, каждый раз словно бы по-новому и неодолимо встающий перед входящими в жизнь поколениями личностей и народов), но — если очевидна закономерность развития, а она вполне очевидна как в мире материального, так и в мире духовного развития людских сообществ, то можно установить и суть закономерности, и затем согласно уже с этой сутью, по которой все повторяется, все возвращается «на круги своя», сойти как по ступеням, по зеркальному отражению эпох к истокам родовых и племенных отношений, к зарождению власти и государственности как хищнической основы бытия и всех связанных с этим зарождением жестокостей, насилий и войн, столь четко обозначившихся ныне линиями силового, экономического и духовного порабощения. Ведь не во все времена народы были столь доверчивы, терпеливы, покладисты, как теперь (хотя, возможно, в оценке нынешнего состояния, которую я лишь воспроизвожу здесь, не все так верно, как представляется на первый взгляд, ибо дело не в протестах, не в бунтах, а в возможностях достижения простолюдными цели); добронравие и миролюбие не оставляли добровольно своих позиций, шла борьба, долгая, жестокая, и в этой не стихающей и сегодня борьбе за приемлемое правителями и неприемлемое массами и приемлемое массами, но неприемлемое правящими «богоизбранными» личностями и правящими или желающими править и тоже «богоизбранными» народами, — в этой не стихающей и сегодня схватке хищническое начало, то есть начало власти и государственности, неминуемо должно было выработать и выработало, как это и присуще меньшинству в окружении большинства, систему определенных защитных, а, по сути, атакующих, ибо лучшая защита — это нападение, мер для своего выживания и господства. Меры эти известны: давление силовое, давление духовного порядка и, наконец, экономическое, получившее в последнее время особенно широкое применение — санкции, эмбарго, причем в глобальных масштабах; я не думаю, чтобы надо было разбирать здесь эффективность каждой из мер, ибо, хотя они и различны по способу и долговременности воздействия: порабощение мечом, то есть кровавое; порабощение духовное (литература, искусство, религия), то есть бескровное; порабощение

щение голодом, то есть вроде бы тоже бескровное, — в то же время несут в себе один и тот же заряд господства и рабства и представляют собой, образно говоря, три столпа власти, на которых возводились, стояли и продолжают стоять троны; и важно не то, кто восседал или восседает на тронах, монархи (их время подходит к концу), генсеки, премьеры или президенты (в конце концов ведь власть, как ее трактуют и ныне, либо от Бога, либо от народа, именем которого, впрочем, как и именем Бога, веками, тысячелетиями успешно манипулируют рвущиеся к тронам большие и малые тираны и самодержцы), а то, что никто из властителей ни в какие времена не посягал ни на один из этих троноподпорочных столпов, не подрубал, не подпиливал их, дабы дать послабление подвластному люду, но, напротив, лишь укреплял и наращивал их мощь и устойчивость, обращая научные открытия в оружие войн, силу литературы, искусства, религии — в оружие зомбирования масс, социальную сферу жизни, где, казалось бы, ни мечом ни взмахом, ни крестом и кадилом не уладить — в систему жестких банковских (финансово-промышленных) уз. Уже в устройстве Древнего Египта, от канонов которого составители и комментаторы всемирной истории так любят вести отчет государственности как таковой, точнее, как некой высшей — правители и подданные, барство и нищета — формы общественно-го бытия (да и жизни вообще, как и жизни собственно человека, возникших будто бы именно на берегах Нила, в Африке), — уже в устройстве Древнего Египта, если, конечно, не раньше, не со времен вождей и шаманов, наряду с тронами начали воздвигаться и столпы их поддержки и упрочения, и может быть (коль уж принято ссылаться на Египет, сошлемся на него и мы), нигде так четко не проявились стержневые контуры этих столпов, причем во всех трех вышеозначенных ипостасях — закабаление мечом, посулами, голодом, — как в деяниях древнеегипетских фараонов, оракулов и жрецов. И тут, видимо, правомерным будет сказать, что ничем иным, как только интересом к этим зародившимся на египетской земле хищническим началам мироустройства, можно объяснить столь целенаправленные и стойкие в веках тронугоднические исследовательские усилия; я называю их тронугодническими потому, что историческая наука, как и большинство основополагающих религий мира, о чем, кстати, уже упоминалось здесь, давно поставлена на службу как «богоизбранным» венценосным личностям, так и «богоизбранным» венценосным народам и, соответственно, ограждена от посягательств на ее угодничество (на сфабрикованность и обман) частоколом независимых вроде бы, но четко контролируемых и направляемых властями «святилищ знаний» — институтов и академий, поименованных либо императорскими, королевскими, либо государственными, народными (в конце концов не следует забывать, кто и для каких целей учреждал и учреждает подобные святилища и во имя каких разработок финансирует, поскольку ни бескорыстных правителей, как бы они ни прикидывались таковыми, ни бескорыстных банкиров, кои бы позволяли себе подрубать сук, на котором сидят, нет), и сонмом обосновавшихся в этих «святилищах наук» академиков, профессоров, доцентов. Написанная, то есть сфабрикованная и канонизированная история придает хищническому мироустройству некую абсолютную, если так можно выразиться, незыблемость, хотя жизнь как в материальном, так и в духовном проявлениях вроде бы никогда не терпела и не терпит ни покоя, ни стабильности; ей противопоставлен застой уже на том основании, что и у планет, и у галактик есть свой предел, к которому они движутся, всасываемые чревами черных дыр, как утверждают астрономы, где и завершается их жизненный путь; но несмотря на эту естественную будто бы предопределенность, согласно которой все сущее на Земле и во вселенной так ли, иначе ли подвержено переменам, жизнь людей, полная некой отчаянной вроде бы устремленности к прогрессу (что ж, есть цель, есть движение, правда соблюдена), на самом деле находится в полной, если не сказать больше (по неизменности господства и рабства), застывшей окаменелости; назвав однажды в фарисейском западе хищническую стезю развития стезей цивилизации и поверив в эту тронноисходную выдумку о некоем достижимом будто бы лишь через покорство, смирение, страдания и покаяния благоденствии (абсолютный застой при видимости движения или, вернее, иллюзия движения при абсолютном застое), мировое общество настолько охранно оградило эту по-своему великую тронноисходную выдумку рогатинами устрашений — частью от Бога, частью от Власти — и запертов, что становится не по себе от одной только мысли, что все мы как были, так и остаемся беспомощными не перед Творцом природы и духа, нет, а перед алчными творениями возжаждавших господства и власти, то есть небесных

тронов, личностей и народов. Каноны хищничества, объявленные канонами бытия и возведенные в святость,— нет, нет, не случайно, что именно они, уходящие корнями в древность, а не каноны добронравия и миролюбия, столь же уходящие в древность, но непризнанные и поверженные (будто человечество, как от чумы, отвернулось от них), продолжают вызывать вроде бы неподдельный (не навязанный силой, не подстроенный) общественный интерес; мы, в сущности, зашорены, как ломовые лошади под дугой и с хомутом на шее, которым предопределено видеть только одну стелящуюся перед ними дорогу, тогда как если обзорно посмотреть на все содеянное в веках венценосными («богоизбранными») личностями и венценосными («богоизбранными») народами, то окажется, что не столь уж и прочна и нераспознаваема тронносотканная святость господства и рабства и не столь божественно-неприкосновенны в нимбах и парчовых с золотом и бриллиантами одеяниях тела эта навязанная мировому сообществу «святости».

IX

История вершилась так, как вершилась; история изложенная или воссозданная (адвокатами от тронов, о чем свидетельствуют их труды) — это лишь оправдательный документ, призванный внушить людям как участникам бесконечной в тысячелетиях кровавой драмы, что иначе как через злодейство нельзя прийти ко всеобщему желанному благоденствию и что поэтому зло должно восприниматься не как зло в истинном его понимании и значении, но как деяние во имя добра, как некий и причем единственный способ движения к благу. Совершенно очевидно, что подобная подмена понятий, то есть явная фальсификация действительности, если говорить языком современности, на руку лишь тем, кто творит зло, в каких бы масштабах оно ни задумывалось и ни осуществлялось, и кому необходимо, чтобы деяния его не только не осуждались, но прославлялись в веках; есть насильники и грабители мелкие, частные, которым важно украсть, добыть, насладиться, чтобы затем вновь выйти на ночную дорогу со своим извечным (как сколок великих грабежей и великих насилиий) промыслом, они действуют дерзко, нагло, с холодной жестокостью и не пекутся об оправдании, тем более историческом, своих поступков, но есть грабители и насильники с континентальным размахом — фараоны, кыры, короли, цари, императоры, да и все нынешние, от народа, премьеры и президенты,— которым важно не просто пограбить, но на тысячелетия божественно узаконить этот грабеж, поработив и закабалив народ или народы, и за сие содеянное зло пользоваться затем прижизненной и посмертной славой. Истина, как видим, проста, и, мне кажется, для ее уяснения не нужно дожидаться каких-либо особых научных открытий; да и вообще наука хороша лишь до той черты (я имею в виду историческую, особенно когда исследуются общественные отношения), до которой деятельность ее согласуется с простыми, четкими и ясными формулировками, не отступающими от реалий бытия и не запутывающими, не искажающими их, но, как только переходит за черту простого, реального и разумного, превращается либо в риторическое, уводящее от истины (уточним: от стержневой истины) словоблудство, либо в тронноподданническое оружие зомбирования, о чем в подробностях еще будет сказано, способное тысячелетиями (путем исторического подлога и обмана) удерживать в темноте и невежестве массы простолюдинов. Я глубоко убежден, что очевидное в деяниях должно быть столь же очевидным в толкованиях, и думаю, что пора бы уже отказаться человечеству от такой «учености», которая только и делает, что веками пытается достать правое ухо через левое колено; наука — это способ постижения истины, а не способ давления на психику и разум простолюдинов, ее нельзя превращать лишь в некое нагромождение философских терминов, посылок и доказательств, далеких от насущных потребностей народной жизни (или общественного бытия, если хотите), нельзя отгораживать от народа, если сказать допустней и проще, от привычного вроде бы, но полного житейского реализма и глубины понимания им явлений природы и предназначения человека в ней, а, напротив, спустив с высот услужения тронам, подключить к великому служению закабаленным и униженным людским массам, и тогда человеческое сообщество обрело бы другое зрение, другой слух, другой разум, трагедия предстала бы трагедией, а величие, разумеется, там где оно было, величием. Но этого не случилось, и трудно предположить, чтобы в ближайшие два-три столетия что-либо кардинально изменилось; трудно предположить потому, что все мы

словно бы от истоков бытия заражены боязнью простоты, вернее, упрощенности, как принято говорить о народном восприятии жизни, над нами довлеет некая ставшая вроде бы уже традиционной робость перед ученостью, будто мир науки — это нечто другое и обособленное, чем мир людей с их интересами и потребностями дня и века, и что ни о каком единстве этих двух начал — простоты и учености — не может быть и речи. Думаю, что подобное разделение человечества на горстку оракулов-знатоков и массу невежд-простолоюдинов — явление отнюдь не случайного порядка и его нельзя рассматривать в плане обычных житейских традиций, ибо оно несет в себе определенную, хотя и не вполне будто бы проясненную заданность, как многое и многое еще, наделенное тронозащитными функциями и внедренное в наш быт, что воспринимается нами по душевной простоте и бездумности как нечто разумеющееся само собой, корневое, безобидное и обыденное, на что и внимание-то не стоит обращать. Однако если все-таки обратиться, если присмотреться, то противопоставление суждений народа тронозащитной учености окажется далеко и далеко не обыденным и не безобидным явлением. Точно так же, как Церковь со своим главным постулатом «пастыри и паства», отделенная будто бы (в разных странах и в разной степени) от Государства, служит, в сущности, столпом державности, так и боязнь «простоты» или «упрощенности», то есть народного взгляда на жизнь, и преклонение перед «ученостью» как перед высшим таинством бытия, доступным лишь избранным, соединенные в систему заданностей, хотя и несопоставимы с каким-либо религиозным учением, но в то же время, как и Церковь, стоят на страже хищнического мироустройства. И дело не в том, что одни (единицы) знают истину, а другие (народ, массы) не знают и будто бы не способны познать ее, а в том, что прямота, ясность и реализм народного взгляда на жизнь были и остаются неприемлемыми для венценосных, властных особ. У них свои интересы, противоположные интересам народа, и, чтобы сгладить это очевидное противостояние и придать тронному произволу (вседозволенности, жестокости) черты божественной или почти божественной целесообразности и правоты, мало было, как подтверждает историческая действительность, только устрашающих и доказывающих все мечей, креста, плахи, петли или пули, ибо с умерщвлением плоти не убивалась и не убивается свободолюбивая (крамольная с точки зрения правителей) мысль, а лишь обращается в бессмертие, и, чтобы оградиться от подобной антитронной чумы, способной превратить в пепелища дворцы и храмы, в ход было пущено ныне доведенное почти до совершенства оружие зомбирования, то есть духовного, нравственного подавления и закабаления людских масс. Одним из таких орудий — осознанно ли, неосознанно ли, это другой вопрос — как раз и явилась элита так называемых избранных знатоков и толкователей истории, узурпировавших для себя (разумеется, при пособничестве и по наущению коронованных особ) право распоряжаться, как в своей лавке, на пространстве веков; заданность деяний, если без предвзятости и с углубленным вниманием ознакомиться с их трудами, столь очевидна, что не вызывает сомнений о наличии властного указующего перста, согласно с которым одно, нужное, приподнимается в истории, всесторонне высвечивается, возводится на пьедестал (деяния фараонов, к примеру, киров, царей, королей, императоров, именуемых не иначе как зодчими «великой» — хищнической — цивилизации), тогда как другое, диссонирующее со стержнем господства и рабства (к примеру, мироустройство на основах справедливости и добронравия, задавленное еще в зародыше, да так, что сегодня никому и в голову не приходит, что могла бы получить развитие и такая цивилизация), другое не замечается, изничтожается и предается полному и необратимому забвению. Отказав народам в праве на самобытность развития, естественным было для венценосцев, жаждавших превратить мир в свою неотъемную вотчину и, надо сказать, достаточно преуспевших на этом поприще, естественным было для них отказать массам, то есть народам, основательно уже поработанным ими, в здравомыслии и прозорливости; народы, массы, традиционно провозглашаемые главной движущей силой истории, по сути, если отбросить патетическое фарисейство и посмотреть в корень происходившего, поставлены в разряд неполноценных, низших, малоразвитых или даже вовсе недоразвитых человеческих существ, способных лишь подчиняться чужой воле; заярлычены же такой характеристикой не отдельные личности, нет, а народы, что должно бы вызывать гневный протест, ибо является подкреплением теории высших и низших рас, но благодаря тысячелетнему тронному зомбированию, к сожалению ли, к удивлению ли (хотя чему здесь удивляться, разве что неиссякаемому народному

ротозейству?), остается и поныне буднично вросшим в беспросветно-нищенскую жизнь людских сообществ.

Х

Народный взгляд на жизнь и народное восприятие ее и соответственно приемлемое для народа и желанное мироустройство не зафиксированы в истории, и сколько бы тронугодники и подпавшие под влияние тронугодных постулатов историки и философы ни отрицали и ни оспаривали высказанное здесь предположение, они так ли, иначе ли, но должны будут прийти к выводу (если, разумеется, пристрастие не возьмет верх над объективностью), что человечество, наделенное духовностью в отличие от материального мира вещей и явлений развивалось на пространстве веков не по законам стихийности, а по выработанным для себя же, вернее, навязанным меньшинством большинству законам общественных — семейных, родовых, племенных, государственных, межгосударственных — отношений и что, главное, в выработке этих законов (поскольку интересы тронов никогда не совпадали с интересами простых людей) менее всего принимал участие народ, а если конкретней, не принимал вовсе, а выступал лишь (по своей доверчивости и ротозейству) на стороне какого-либо отдельного венценосца, провозгласившего себя Отцом нации или Отцом народов, или в защиту каких-либо тронугодных или тронуоукрепляющих идей, — крестовые походы, к примеру, или бесчисленные и богоугодные вроде бы религиозные нашествия и войны, — из века в век подбрасываемых ищущим перемен обездоленным и голодным толпам простолюдинов. Такова историческая, как, впрочем, и текущая действительность — правят, покоряют и делят мир между собой властители, а ведущей силой исторического процесса, то есть виновником своих же собственных бед, объявляется народ; причем делается это открыто, просто, даже с известной степенью наглости, полагая, что время сказочных представлений о жизни все еще не прошло, что традиционный постулат, лестный вроде бы для народов и важный для коронованных особ и тронов, еще не утратил значения и что в конечном итоге последнее слово всегда-де было и останется за массой простолюдинов. Я не думаю, что есть что-либо вечное в устройстве Вселенной, как, впрочем, и в жизни нашей планеты и существовании человечества на ней; в конце концов рухнут и господство, и рабство, и сама основа, то есть Земля, на которой сплелась и терзает человечество хищническая система бытия, величественно поименованная цивилизацией, но до подобного черного окончания людскому сообществу предстоит еще прожить миллионы веков, и возможно ли допустить, чтобы и эти грядущие века оказались столь же разорительными, исполненными лишь драматизма для простолюдинов, какими, запечатлевшись в поражающих воображение пирамидах и небоскребах (да, да, вот они, вершины хищнической цивилизации, возросшие и возрастающие на фундаменте человеческих страданий и бед), предстают перед нами минувшие века, эпохи, эры. Нельзя сказать, чтобы вопрос этот — вопрос о ведущей силе в устройстве общественного бытия — никем не задавался прежде и что никто не пытался, минуя барьеры тронугодных пут, добраться до истины; нет, это было бы и несправедливо, и оскорбительно по отношению к человечеству (ведь если голос приглушен и царит тишина, то сие не означает, что он никогда не звучал); многие историки и философы, особенно в последние столетия, оказывались уже у подножья правды, и в этой связи позволю себе привести характерное, на мой взгляд, высказывание английского писателя, историка и философа Карлейля, которого принято считать выразителем крестьянского восприятия и толкования мира. В «Культе героев» он как бы между прочим заметил, что всемирная история есть «история действующих в мире великих людей. Они были руководителями масс — эти великаны, — созидателями, образцами, творцами всего, что стремилась создать и чего желала достигнуть человеческая толпа. Все, что мы видим осуществленным в этом мире, есть, собственно, высший материальный результат и воплощение на практике идей, живших в великих людях, ниспосланных миру. Душой всемирной истории — по справедливости следует признать — была их история». Пожалуй, Карлейль один из немногих, кто плотнее всего приблизился к правде. Он понимал, что правят миром не народы, не толпа, не массы, а «великие люди», хотя и не назвал их ни венценосцами, ни воителями, стремившимися к мировому господству (и что внесло бы окончательную ясность в суть исторического процесса); отчего он не сделал этого последнего шага, как, впрочем, и многие до него, те-

перь можно только гадать: от недостаточности ли мужества, ибо на всякое новое слово в мире устоявшихся «ценностей» требуются определенные усилия, из боязни ли отступить от традиционного мышления, что можно было бы поставить в вину крестьянскому философу, не будь это общей, всеохватной болезнью, или, может быть, оттого, что, почувствовав мощь фарисейства, запущенного еще за тысячелетия до нашей эры, то есть до Рождества Христова, осознал простейшую, понятную и ныне всем истину, что лбом стену не прошибешь и что тронозащитные силы, стоящие на страже этого выливающегося на массы простолюдинов потока обмана и утешений, ни на час, ни на мгновение не позволяют себе сомкнуть надзирательно-бдящих очей. Но, возможно, все обстояло проще и упиралось лишь в уровень знаний, достигнутых к тому времени человечеством в понимании общественных отношений и общественного бытия, и я далек в данном случае от каких-либо упреков и осуждений в адрес философа, ибо если уж осуждать, то осуждать надо всех и всё, а хочу только подчеркнуть, что уже само признание, что состояние жизни есть «высший материальный результат и воплощение на практике идей, живших в великих людях» и что «душой всемирной истории была их история» (как раз и приведшая человечество к хищническому тупику), — признание это стоит великого открытия. В конце концов не так важно, чем руководствовался крестьянский философ, отдавал ли дань традициям или с опаской оглядывался на трон, когда писал о вседержателях мира, что они-де и «созидатели», и «творцы», «ниспосланные» свыше и вершили будто бы лишь то, «чего жаждала достичь человеческая толпа», а важно здесь другое, что он посмел-таки с максимальной правдивостью огласить роль «великих» (венценосных) личностей в историческом процессе развития людских сообществ и что все в жизни зависело и зависит от замыслов и свершений коронованных тронных особ. Они созидали то, что требовалось им созидать, тогда как «толпа», людские массы, народы, что ж, могли ли народы желать для себя кабалы, грабительских нашествий, войн, нищеты, бесправия, страданий и разорений? Как ныне, так и во все времена народам была чужда борьба за власть, как были чуждыми и идеи мирового господства, обращавшие правителей в Богов, а простолюдинов в рабов Божьих (по аналогии: «тираны и рабы», «фараоны и рабы», «пастыри и паства»); они не стояли перед выбором, чему отдать предпочтение, накопительству ли богатств или труду, разбойным ли набегам или радости мирного общения, возведению ли над собой государственного насилия или самобытности в проявлениях личности и в мироустройстве, которое отвечало бы материальным и духовным потребностям того или иного людского сообщества, то есть национальным интересам и национальным традициям, следование которым только и может приносить людям удовлетворение жизнью, да, народы не стояли перед выбором, склониться ли им к хищничеству или созидать семейное и общественное бытие на началах миролюбия и добронравия, но изначально и донныне остаются неизменными приверженцами самобытной, трудовой, благопристойной и благонравной жизни, и в этих именно устойчивых в народе корневых основах бытия, далеко не во всем еще зафиксированных, а если и зафиксированных, то лишь для того, чтобы манипулировать известной, вернее, искусственно созданной слабостью простолюдинов и каждый раз бить в десятку своими тронно-сформулированными посулами благ, что в этих именно устойчивых в народе потребностях и понятиях, а не в венценосных приматах власти следует искать историческую правду. Взгляд простолюдинов на историю (позволю себе повториться, ибо того требует повествование) в корне отличается от взгляда венценосных особ, являвшихся, по выражению Карлейля «созидателями, образцами, творцами всего, что стремилась создать и чего желала достигнуть человеческая толпа»; лишенный своей стержневой (по тронному произволу) заданности, он, по существу, ни разу за минувшие эпохи и эры не подвергался сколько-нибудь объективному и глубокому исследованию ни как ведущая, ни как составная часть исторического процесса развития человечества, ибо, как говорится, кесарю кесарево, Богу Богово, а рабам, как надо, видимо, полагать, рабское во всех отношениях — и в материальном, и в духовном; тут вроде бы ни убавить, ни прибавить, как вообще к подобного рода изреченным истинам, на которых вырастали (с познанием неизменности сложившихся устоев бытия) и продолжают вырастать поколения простолюдинов, тогда как если бы кесарево и Богово, должное принадлежать им, не распространялось на народ, народы, — это одно, но ведь речь идет в сих мудростях о светской и божественной власти над людскими сообществами, о праве кесаря и Бога безраздельно распоряжаться судьбами простолюдинов, а

это уже другое, на передний план выступает насилие, требующее определенных обоснований и оправданий, и таким тронозащитным и тронопрославляемым документом, если реалистично оценить минувшую и текущую действительность, как раз и служит далекая от правды (по односторонности и предвзятости подхода и изложения), но составленная с предельной вроде бы правдоподобностью всемирная и отечественная история. Человечество давно уже, как в яме, пребывает в глубочайшем обмане, воспринимая историю царств и царствований как историю народов, прокладывавших-де путь к «великим благам» нынешней (хищнической) цивилизации, и единственный способ разобраться в этом обмане — это обратиться к народному взгляду на историю, который хотя и является предельно простым, ясным и глубоким, как прост, ясен и глубок смысл понятий о добронравии, миролюбии, справедливости и труде, но, признанный вроде бы на словах (да иначе тронозащитная ложь выглядела бы откровенной ложью, а не подобием правды, которой можно потрясать как обоснованной и доказанной объективностью), никогда, впрочем, не учитывался ни в исторических замыслах, ни в исторических свершениях эпох.

XI

Наверное, сегодня никто уже не усомнится в том, что власть, осуществляемая через насилие (в ее арсенале три способа воздействия: военный, духовный, экономический), несмотря на всю свою видимую материальную заданность и видимое материальное воплощение есть не более чем производное от нравственных или, вернее, безнравственных (глубоко безнравственных) человеческих начал, и если исходить из этого положения, что власть от проявления духа, что она есть прямой продукт алчных чувств, алчного разума, алчных запросов и потребностей (а иного, видимо, не дано), то можно прийти к простому и ясному выводу, что в вековой живучести ее, в ее самовоспроизведенном для себя бессмертии не только нет ничего сверхъестественного, загадочного, божественного (будто «великие люди», читай: венценосцы и тираны, на самом деле ниспосылались как благо человеческому сообществу), но, напротив, все настолько обыденно, даже по-житейски обыденно, что можно лишь диву даваться, каким образом человечество, мудрое в изречениях, то есть державшее, если представить образно, во все времена в руках ключ от ларчика, который открывается просто, так до сих пор и не нашло способ открыть его. «Великие люди» творили историю, они же и изложили ее в своем троноугодном и тронозащитном видении, и утверждение это едва ли можно оспорить; ложь заключена в другом — в том, что все деяния их в этой изложенной ими истории выглядят как проявление стихийной воли народа или, если точнее, как подневольное (это венценосцы-то подневольны?!) исполнение желаний жаждавших благ и социальных перемен людских сообществ. Подобная трактовка, будто деяния властвовавших особ иначе и не могут измеряться, кроме как мерой народного влечения на них, и что лишь тот монарх, который проникается настроениями масс и действует в согласии с их желаниями и волей, способен достигнуть вершин известности, величия и славы, а те, что встанут против течения, то есть выступают вразрез с народными интересами, терпят крах и в безвестности (и с проклятиями будто бы) уходят в небытие,— трактовка эта настолько утвердилась в так называемой научной историографии (можно предположить, будто Александр Македонский, к примеру, или Карл Великий, или римские цезари, к деяниям которых бесконечно будируется в обществе интерес, только и делали, что сверяли свои замыслы и свершения с волей своих и покоряемых народов), что никто уже и не замечает этого тронносотканного обмана, продолжающего заслонять от взора простолюдинов истинную истину. Ложь изворотлива, тонка и нераспознаваема, если прикрывается щитом науки; но суть ее — это подтасованная суть истории, когда с помощью самых, казалось бы, простейших и потому, наверное, безотказно действующих на массы риторик (возведенных, разумеется, в ранг академических истин), вина за непрерывно ухудшающееся в веках состояние жизни раскладывается или распределяется в равных долях как на правителей, так и на простолюдинов, будто человечество никогда не делилось на господ и рабов, власть предержавших и бесправных, пресыщенных роскошью дворцов и храмов и придавленных нищетой и убожеством изб и хижин, а всегда было единым и устремленным к одной цели сообществом (к чему, однако, следовало бы добавить, что даже при подобной равнообвиненности «козлом отпущения» в конечном итоге все же выставляется народ как некая ведущая сила в ис-

торическом процессе развития). Возможно, народ и стал бы ведущей силой в историческом процессе развития, если бы в простоте душевной и по бездумности не передал своих исконных прав на мироустройство весьма и весьма сомнительным и алчным в своей божественной будто бы ниспосланности личностям; человек, верящий в добро и миролюбие и исповедующий эту веру, настолько убежден в уставной надежности этих чувств (ведь мы, по существу, рождаемся с понятием господства справедливости и добра, что всякое сотворенное добро непременно должно отдаваться добром — по крайней мере в характерном для славянства восприятии жизни), что ему и в голову не приходит, будто кто-то может жить по иным законам бытия и исповедовать иную заданность, а когда обман открывается, обычно бывает поздно что-либо предпринимать; человечество, если за единицу исследования брать массы простолюдинов, не умеющих признать мир другим, чем только стоящим на основах миролюбия, добронравия, справедливости, и убежденных в том, что люди по заданности своей, будь то отдельные личности или отдельные людские сообщества, хотя уже и подготавливавшие для себя почву под богоизбранность, не могут ответить на добро злом,— человечество, зараженное (в лице простолюдинов, повторюсь) этим благим пороком и доверившееся властолюбцам, оказалось, по сути, в беспрерывно подновляемом пожизненном обмане. За доброту и доверчивость ему из века в век оплачивали кровавым злом, которое затем по прошествии веков предстало в писаниях великим и чуть ли даже не единственно возможным благом. Нет, массы простолюдинов не творили историю, не «созидали» эту хищническую цивилизацию, в которой мучается, страдает и умирает сегодня девять десятых человечества, но несмотря на то, что народ, во многом и ныне остающийся отторженным даже от элементарной грамотности (да как же можно говорить при этом о народе-творце и о созданной им «великой» цивилизации?), не смог письменно зафиксировать свои взгляды и свое отношение к происходившим на его глазах и с ним событиям,— отношения и взгляды его, идентичные, впрочем, нынешним, нельзя считать безвозвратно утраченными; они живы, хотя и по-прежнему не признаются и не принимаются в расчет ни при каких социальных и нравственных переустройствах бытия, и скособоченный (в сторону хищничества) мир людей, ищущих выход из губительного тупика, пребывает все в том же самоослепении, да, можно сказать и так, хотя повязка на глазах, а в сущности, на разуме, как раз и есть тот «божественный» дар, который будто бы через посредство коронованных особ был некогда ниспослан нам Творцом,— мир этот, ищущий выхода из губительного тупика, от времен фараонов и пирамид так и не продвинулся ни на шаг к заветной цели. А «ларчик» действительно-таки открывается просто, стоит лишь посмотреть на историю человечества (даже в ныне изложенном варианте) глазами простолюдинов и спросить себя, кто жаждал и жаждет войн и нашествий, с какой целью и для чьих выгод они предпринимались и предпринимаются и что при этом испытывала и испытывает терпящая бедствие сторона, то есть простые, живущие в добре и согласии люди (по обе стороны сеч, если так можно выразиться, ибо пружина насилия, сжимаясь, неминуемо затем разжимается и со страшной разрушительной силой наносит ответный удар, опять же, в свою очередь, чреватый противодействием, и вот уже — вековая ненависть и вражда разделяет народы, как это исторически случилось с германскими и славянскими племенами, а позднее народами и державами, и исторически же подкрепилось противостоянием католической и православной Церквей); спросить далее, обзорно спустившись по ступеням эпох в глубь истории и столь же обзорно, сличая по стержневой основе пласты сменявших (будто бы сменявших) друг друга социальных формаций, подняться к текущим и, елико возможно, грядущим временам,— да, совершив хотя бы этот обзорный экскурс, спросить себя, какова истинная цель так называемых гуманитарных (литература, искусство, живопись, музыка, а также история и философия как науки) институтов жизни и каково истинное предназначение религий с их абсолютистской (пастыри и паства) державностью, то есть кому и для каких нужд потребовалось из пресыщенных роскошью и властью дворцов и храмов восхвалять нищету, убожество и бесправие простолюдинов и возносить их смирение и послушание почти до божественных начал, и каковым было и остается истинное отношение задавленных двойной, да, теперь уже двойной, кабалой масс к беззастенчивому глумлению над правом личностей и народов самостоятельно и свободно определять свою судьбу, и, наконец (по присловию, что «Бог любит троицу»), взглядевшись в порабощение экономического порядка, то есть в способ удушения людских сообществ голо-

дом, болезнями, нищетой (а ведь именно инстинкт выживания подталкивает людей к безоговорочному покорству и послушанию), попытаться ответить себе, не стоим ли мы в наш «просвещенный» век на пороге нового, невиданного еще по всеохватности рабства, и разве процесс закабаления людских сообществ, да, именно людских сообществ, то есть государств государствами, не напоминает нам некогда проводившийся на черном континенте отлов негров и отправку их как рабочий скот через океан для обустройства Америки? Думаю, сказанное не нуждается в каких-либо особых пояснениях и доказательствах, ибо лучшим доказательством служит здесь сама жизнь; и все же нелишним будет, наверное, подвергнуть некоторому сравнительному анализу венценосное, то есть общепризнанное, и народное видение жизни как в ее древнейших проявлениях (по ипостасям военного, духовного и экономического закабаления), так и в проявлениях в новейшие времена.

XII

Ни одно варварское нападение, ни одна война, ни одно нашествие не начинались с оглашения истинных целей этого разрушительного действия, но всегда отыскивалась та второстепенная причина — оскорбление трона, подаваемое как оскорбление достоинства нации, территориальные притязания, уходящие острием к незапамятной давности, но потребовавшие вдруг неотложного разрешения, или что-либо еще из сотен поводов, которые путем подтасовок и коварств можно создавать до бесконечности, и возбуждать ими доверчивые и послушные массы простолюдинов, — да, всегда отыскивалась та второстепенная причина, на базе которой выстраивались затем исторические оправдания самых страшных человеческих злодеяний. Легендарный Геракл (лицо, несомненно, историческое) совершал свои подвиги, если верить сказанию, всего лишь ради подвигов, Иисус Навин (лицо еще более историческое), взявшийся вывести свой народ в обетованную землю, захватывал города и казнил населявший их люд всего лишь по предначертанию Бога, чья справедливость (в данном случае в решении земных дел) ни при каких обстоятельствах будто бы не может подвергаться сомнению; персы напали на греков потому, что не хотели иметь под боком сильного и воинственного соседа, державшего в руках всю или почти всю средиземноморскую торговлю, тогда как Греция, раздираемая междоусобными войнами, время от времени, объединяясь, столь же безуспешно, как и персы, бросалась вернуть им долги, пока наконец сын македонского царя Филиппа Александр Великий, как нарекут его затем в истории, или Александр Македонский, если более по-обиходному, не вмешался в этот не приводивший ни к чему, как бесконечное при равных возможностях перетягивание каната, исторический процесс и не двинул свои кованые фаланги, состоявшие большей частью из пелопоннесских и фракийских славян, покорять никем еще из европейцев не покорявшуюся будто бы (кроме разве Геракла) великую, пребывавшую в неге и могуществе Азию. Подобное изложение, предвижу, могут назвать упрощенчеством или как-либо еще, словечком покрепче, ибо предвзятость и безразборность нынешней критики — явление столь же древнее, как древен людской мир, шагнувший в хищничество, но, господа, не спешите заострять перья, ибо как ни важны подробности, сопровождающие те или иные исторические события, особенно предположения и домыслы, коими, словно плодами от научного древа, обкладываются или снабжаются (сдабриваются) эти подробности, — когда их много, они только осложняют постижение той главной закономерности, той основы или стержня, на котором возводилось и продолжает возводиться мироустройство; в горах исписанных бумага — горах исторических и философских трудов, от обилия которых давно уже ломятся стеллажи хранилищ, — трудно отыскать ту изначальную, что породила эти горы и стеллажи, и не лучше ли, отдав предпочтение простоте (народной простоте) взгляда на алчные явления бытия, попытаться уяснить наконец суть той навязанной нам закономерности (а, уяснив, можно и противостать ей), по постулатам которой, вернее, на базе постулатов которой ставилась и совершенствовалась благословенная будто бы Богом система господства и рабства — пастыри и паства. Истинная цель «подвигов» Геракла, как, впрочем, и Иисуса Навина и всех их предшественников и последователей, включая и знаменитейшие фигуры римских цезарей, Аттилу, Магомета II, Тамерлана, Бабура, Карла Великого, Чингисхана, Батюя, Карла XII, Наполеона, Гитлера, — истинная цель их «подвигов» ничего общего не имела ни с созидательными, ни тем более прогрессивными на-

чалами; Геракл, как бы ни казалось нам неестественным противопоставление реального сказочному (в конце концов ведь разрушение сказочного, то есть тех устоявшихся представлений о жизни, с какими мы рождаемся, взрослеем и умираем, воспринимается нами не иначе как разрушение основ бытия), — Геракл, в сущности, предварил или, вернее, подал пример, а еще вернее, проторил дорогу ко всеохватному покорению Азии (впрочем, дорога эта далеко и далеко еще не выветрилась из памяти поколений, и не исключено, что вот-вот может явиться новый исполнитель глобально-разрушительных мирозахватнических идей); Иисус Навин, решивший добыть счастье своему народу за счет несчастья других, действовал, конечно же, не по Божьему предначертанию, но из самых что ни на есть захватнических, хищнических устремлений, тогда как оглашение подобной правды чревато исчезновением или потерей ореола богоизбранности; отнюдь не экологические мотивы (очистить землю от городов и сел, как от живых могильников, и вернуть народы к естеству жизни) — да, отнюдь не экологические мотивы, а главнейшее из хищнических притязаний — притязание на мировое господство — подтолкнуло Аттилу на беспрецедентный даже по нынешним временам кровавый поход (по свидетельствам греческих и арабских источников лишь жалкие остатки славянских племен после этого «великого» гуннского нашествия ютились по берегам рек и озер между Волгой, Днепром и Рейном, страшась новых нашествий и не умея, и не зная, как уберечься от них); а действия Магомета II, стершего с лика Земли Византию, политика и действия всей Османской империи на протяжении веков, когда ее войска хозяйничали уже за Веной, — нет, сие нельзя отнести только к соперничеству мусульманства и христианства, «верных» и «неверных»; может быть, впервые тогда была пушена в дело идея расового единогогосподства, или скорее извлечена из времен пирамид и подкреплена новой силовой, военной мощью, как позднее будет подхвачена лидерами нацистской Германии и подкреплена мощью танков, самолетов, пушек, и, пожалуй, ничто так не запечатлелось в памяти поколений, как ужас многовекового (особенно на славянских Балканах) турецкого ига и фашистских лагерей смерти. А между тем даже эта ближайшая история настолько извращена и так приукрашена, что турецкое иго многим представляется сегодня чуть ли не благом (как же, был ведь замысел — повесить над Россией, славянством вообще турецкий дамоклов меч), а фашистские лагеря смерти чуть ли не экологической чисткой в замусоренном еврейми и славянами человеческом сообществе. Правители делили власть, обогащая мировую тронозащитную и тронукрепляющую копилку действий все новыми и новыми средствами и приемами захватов, закабалений, расправ над личностями, народами, государствами (прецеденты, прецеденты, прецеденты соответствующим образом представленные в истории, они, с одной стороны, важны тем, что позволяют властителям находить безошибочные решения в идентичных ситуациях, а с другой — дезинформируют, то есть вводят в заблуждение не осведомленные в замыслах дворцовых коварств и живущие в понятиях миролюбия и справедливости доверчивые людские толпы), — да, да, правители делили власть, а простолюдины, втягивавшиеся в нашествия и войны и убивавшие и ограблявшие себе подобных простолюдинов, лишь сыпью могильных холмиков покрывали безмерное пространство Земли. Такова участь воинов Тамерлана, Бабура, Цезаря, Карла Великого, возмнившего себя вторым Цезарем, Чингисхана, Батгя, Карла XII, Наполеона, Гитлера, ходивших в чужие страны грабить и убивать и погибавших в жесточайших сечах не за счастье своего народа или народов, благословивших их на подобную «святую» жертвенность, и не за величие тронов, олицетворяющих будто бы величие и достоинство масс (говорят же, что ложь неопровергнутая может обраться только ложью), но, как бы ни звучало странно и необычно предлагаемое высказывание — за хищническое будущее человечества. Всемирная история буквально пестрит вехами «великих сражений», «великих» побед, свершений, открытий, а по сути, насилий, ибо всё, всё, даже неоспоримо-великое, всё помечено страданиями и кровью простолюдинов, и тут достаточно, видимо, вспомнить, чем обернулось открытие и освоение Америки для коренного, жившего по своим и, возможно, не лучшим (с нашей точки зрения) законам бытия населения этого континента. «Победителей» вроде бы не судят; да и что «победителям» до чьих-то там осуждений, если — кесарю кесарево, как упоминалось уже (в данном же случае под кесарем подразумевается народ, положивший для себя право грабить, убивать, повелевать миром), а рабам рабское, и если сей постулат венценосного хищничества возведен в незыблемую святость общепринятого будто бы божественного уложения. Люди

обычно избегают строить на могильниках села и города; и не только потому, что не хотят тревожить души усопших, нарушать их умиротворенность и покой, но, возможно, удерживает их от подобного кощунства некая действительная святость человеческого бытия; империи же или царства, о чем свидетельствует как прошлая, так и наша новейшая история, — империи и царства (да и понятия «республика», «демократия» не исключают стержня господства и рабства) возводились и возводятся, как правило, на крови и костях простолюдинов, которых попросту, как овец в кошару, вгоняют в новосотворенные социальные формации и системы, и Америка здесь с ее Северным Колоссом и зависимыми от него испано- и португалоговорящими государствами, — Америка, к сожалению (хотя это и не оправдывает ее), не явилась исключением в общем хищническом процессе становления и развития человеческих сообществ. Одним — лавры побед, богатство, слава, власть, другим — безмолвно, костями, подпирать небоскребы, как и бесцельно убиенным до них и бесцельно и безвинно убиенным после них; есть насилие без сострадания, и есть страдания лишь с правом на смирение и терпение, и нужно ли пояснять, каково отношение народа (простолюдинов) и его взгляд на этот предложенный ему расклад жизни и каково отношение и взгляд на это же коронованных особ, бессменно, в веках, оберегающих и укрепляющих бессмертие своих тронов.

XIII

Однако повествование требует продолжения, ибо века неохватны, необозримы, а событий в них — считать не пересчитать, если даже брать самые значительные и если учесть при этом, что подход к освещению их был и остается далеко не однозначным. Одни обращаются к исследованию личностей, в большинстве случаев венценосных, и, загромождая важнейшими, как им кажется, подробностями и растворив в них общую закономерность бытия, воссоздают историю царствований и царств, то есть историю соперничества и могущества корон, когда вольно или невольно внимание сосредоточивается на перипетиях тронных, околотронных и межтронных противоборств (к разряду подобных трудов прежде всего как раз и следует отнести официальные историографию и археологию, представители которых обычно действуют либо в угоду правителей современных, либо во укрепление исторически будто бы «созданной» хищнической системы бытия), другие, обремененные поиском истины и подвергающиеся унижению, осмеянию, изничтожению (к счастью, ни секиры палачей, ни костры инквизиции, ни ГУЛаги современных душителей не смогли да, видимо, и не смогут сломить потребность личностей и людских сообществ к познанию истинных законов человеческого бытия), — другие, остающиеся при всех запретах и устремлениях приверженцами объективного, реалистического, народного восприятия, стремятся к обобщенному видению тех же неохватных, необозримых веков и событий в них, составляющих азы исторических познаний (в конце концов каждый человек должен хоть что-то знать из мировой и отечественной истории), и хотя такой подход тоже нельзя назвать вполне совершенным и тем более исчерпывающим, но он все же имеет преимущество перед первым уже тем, что, не исключая закономерностей хищнического противоборства тронов, обрекающих на страдания и рабство простолюдинов, пытается проникнуть в суть общепринятого мироустройства (что в нем от естества природы и что от деятельности венценосцев), по закономерностям которого из столетия в столетие неуклонно и с нарастающим ускорением происходит не только внутринациональное, но и межнациональное, межгосударственное, принимающее глобальный размах расхождение людских сообществ на богатых и бедных, господ и рабов, на расы, достойные будто бы человеческих условий жизни, и расы, недостойные этого элементарного для людей блага. Перед нами, по существу, два типа или два метода исследования, два взгляда на один и тот же исторический и текущий процесс — тронугоднический (он же «научный», то есть официально узаконенный, по которому все приходящие поколения начинают познавать мир и затем живут и умирают с этими познаниями) и народный, на который вроде бы официально и не наложен запрет, ибо как можно запретить человеку мыслить, не лишив его прежде разума или жизни, но который никем и никогда (по венценосно спущенной и укорененной во всех слоях человеческого сообщества традиции, оказавшейся, впрочем, столь живучей, что теперь уже едва ли возможно искоренить ее), не принимался в расчет. Речь вроде бы не идет о большой политике, а все опирается лишь в привычное (житейское) вос-

приятие исторической правды, с одной стороны, изреченной с неких «научных» или даже «академических» кафедр, а с другой — обретенной простолюдными через многовековой опыт жизни и сформулированной иногда всего лишь в нескольких афористических выражениях, но по глубине и значимости едва ли сравнимых со значимостью многих и многих державно-провозглашенных шедевров знаний, и если бы человечество действительно стремилось, как это бессчетно заявлялось и заявляется им, к справедливому устройству бытия, ко всеохватному миру и благоденствию, оно могло бы по меньшей мере избрать путь соединения или слияния двух вышеозначенных исследовательских начал и, синтезировав их в одну целостную систему взглядов и представлений, приступить к совершенствованию мироустройства не в пользу насаждения хищничества, то есть не в пользу укрепления стержневой основы господства и рабства, причем во всех, да, да, во всех областях и сферах жизни, чего мы вроде бы уже и не замечаем, а признаем или принимаем как некое необходимое подавление духа, но в пользу поиска и установления искомой (возможной пока лишь в мечтах) всеобщей гармонии; да, человечество, будь оно верно хотя бы этим своим заверениям, вполне могло бы выйти на путь сбывающихся надежд, но, к сожалению, действительность показывает, что власть предрержащие даже отдаленно не помышляют хоть о каком-либо сотрудничестве или сближении с массами простолюдинов, ибо им важнее сохранить гармонию власти, чем поменять ее на некую общечеловеческую гармонию, в которой править народом может оказаться нагрузкой или тяжестью, а не блаженством, не наслаждением в проявлении самоуправства, не барством, которое, если послушать венценосцев или почитать их воспоминания или воспоминания о них в золотых тиснениях, так тяжело, так тяжело, что многие из «помазанников Божьих» не успевают за жизнь даже просто почтить своим присутствием отстроенные для них на сборы с простолюдинов дворцы и замки, так что главным законом их бытия был и остается закон недоступности, или разграничения (дескать, кесарю кесарево, рабам рабское), или, если точнее, постоянного противоборства с обобранной и продолжающейся обираться нищей, невежественной, умеющей только пошуметь и погнаваться (конечно, нежелательно и страшно, когда берутся за топор) толпой. В общем-то факты эти известны, и я, возможно, не пошел бы на столь пространное отступление, дабы не прерывать главной нити повествования, если бы, во-первых, все вышесказанное действительно относилось к житейским, а не к корневим вопросам как исторического, так и текущего бытия и если бы, во-вторых, просвещение наше и наше критическое осмысление происходящего, кичащиеся своей объективностью, научностью и приверженностью к народным идеалам (послушать, так чего же желать еще), не были бы столь же, как и «отделенная» от государства Церковь, причастны к деяниям властителей и не являлись бы просто-напросто пристязными (тонко, интеллигентно, не всегда уловимо) либо непосредственно к кореннику-трону, либо к клану юродствующих под народ околотронных особ. Как и во многих других областях жизни, мы, по существу, сталкиваемся здесь с древнейшим из арсеналов венценосцев оружием зомбирования, которое в условиях российской действительности, в условиях тысячелетнего крепостничества, когда если что и насаждалось и поощрялось в народе, так это суеверие и невежество (чем-чем, а системой подобного «попечительства» вполне вправе гордиться как достославные наши Рюриковичи, так и еще более достославные Романовы, и совсем уже сверхдостославные Вожди победившего пролетариата), — в условиях нашей действительности, когда Церковь и просветительство, с двух сторон подгарцовывающие трону-кореннику, неостановимо продолжают историческое в народе миссионерство, явление критиканства, причем поголовного, беспардонного и бесосновательного, обретает уже почти злоеющее значение. Ведь мы не можем не помнить, что для русского человека, для россиянина печатное слово всегда ассоциировалось с понятием правды; со времен первопечатника Федорова оно обрело еще и божественный оттенок, хотя ничто из написанного не писалось перстами Бога и не все из печатавшегося, то есть далеко и далеко не все печаталось и печатается из добрых намерений, и, может быть, нигде так не господствуют трону- и кланово-угодность и нигде народное слово или слово от народа не предстает столь притесненным и беззащитным (эту горькую чашу унижений сполна довелось испить и мне), как на ниве наводненной чужеземством русской духовности. Вольно или невольно, но создается впечатление, что за народом признается лишь одно наследие — наследие крепостничества, а то, которым он действительно обладает и которое могло бы, будь оно признано, принести ему уважение и сла-

ву (в конце концов нельзя же забывать о свидетельствах Тацита и Геродота о нравах и быте славянских племен), — предавалось и предается забвению либо как нечто примитивное, о чем будто бы смешно даже говорить в век разгула хищничества и разврата, либо вообще как нечто стоящее за гранью будто бы цивилизации (и все это лишь росчерком пера или печатной строкой трono- или кланововозведенного над толпой простолюдинов очередного Светила). Однако прах веков — это не прах могил и свидетельства их точны и неумолимы; их можно брать, можно не брать во внимание, а просто-напросто игнорировать, не замечать, как и поступает большинство исследователей, следуя общевыработанной, официальной (от тронов) заданности, но их нельзя исключить из исторического процесса развития человечества, как, впрочем, и из памяти поколений, эстафетно передающих друг другу в столетиях драматизм и тяготы своего бытия, и свидетельства эти более чем говорят нам, что летописцы и историки, которых можно было бы назвать истинными выходцами из народа и взгляды которых расходились и расходятся со взглядами официальных историографий, не просто терпели притеснения от властей, что, безусловно, сковывало их в их творческих проявлениях, но прежде всего предавались забвению их важные для уяснения законов общественного бытия оценки, суждения и писания (как, впрочем, происходит это и в других областях духовной жизни простолюдинов, в самобытности их культур — в литературе, музыке, живописи, архитектуре, из чего, собственно, вырастает и на чем держится национальная духовность любого народа и что в большинстве случаев усилиями определенных структур как раз и разбавляется привносимым чужеземством, убивающим, что особенно характерно для нас, для России, не просто понятие о национальной культуре, но сознание национальной принадлежности, национального достоинства и национального единства; ведь из творческого потенциала народа приняты к прославлению лишь так называемые народные — внесоциальные, разумеется. — ремесла: вытачивание матрешек, плетение корзин да частушечные переплясы и сарафанные девичьи хороводы на лужайке, столь отдающие крепостническим бытом, что так и кажется, что вот-вот выйдет на крыльцо своей барской усадьбы помещик-немец полюбоваться облагодетельствованной им дворней и покидать ей пригоршни сладостей со своего барского стола). Давно и осознанно будто бы принятый нами такой подход к освещению прошлого привел лишь к тому, что российская история оказалась настолько однобоко усеченной и извращенной, а русский быт настолько наводнен далеко не лучшими, а, в сущности, самыми что ни на есть худшими (из арсенала хищничества) образцами чужеземства, что если мы еще не переступили, то, во всяком случае, подошли уже к крайней черте полного исчезновения национальной самобытности и самостоятельности, а между тем правда об этом смертельном или, если точнее, смертоносном для восточного славянства явлении как была, так и остается под полным, с одной стороны, тронным, а с другой — околотронно-клановым или, если конкретней, кланово-чужеземно-околотронным запретом, и всякая попытка высказать ее натывается либо на заслон осмеяний и унижений, дескать, «с квасным рылом да в калашный ряд» (привожу лишь одну выдержку из адресованных мне читательских писем), либо на заслон умолчания, равного тихому и скрытому кремлеванию живого автора и его с не высокими еще чернилами на листах труда. Конечно, могут сказать, океан соленый и только безумец посмеет взяться за его опреснение; так-то оно, возможно, и так, но жизнь — не океан, и соленость ее, то есть хищничество, — не безусловная заданность природы, и я вновь и вновь отягчаюсь безответным вопросом, сколь же беспрудно наше славянское (на уровне народа, простолюдинов) пренебрежение к урокам реальностей бытия и сколь велико и неодолимо невежество в познании законов мироустройства (законов хищничества, преподносимых в упаковках великих и нескончаемых благ), по которым, кроме беспросветного крепостничества, мы так до сегодняшнего дня и не смогли ничего обрести.

Однако вернемся к сути повествования.

XIV

Обратимся ли мы ко всемирной или отечественной истории, по официально принятым версиям все, что совершалось на пространстве веков, совершалось не вопреки воле народа или народов (простолюдинов, как базовой основы человечества и основы любого отдельно взятого людского сообщества), а с их прямым и непосредственным согласия, даже более того, во

исполнение насущных потребностей масс, умевших и умеющих будто бы, самоопределившись в стратегических для себя целях бытия, настоять на своем, в то время как обладатели тронов, самонадеявшись божественной или почти божественной вседозволенностью в проявлениях насилия и жестокости, пребывали всего лишь в роли слепцов, ведомых народом-поводырем или народами-поводырями, то есть были и остаются рядовыми каменщиками истории. Если я что-либо преувеличиваю или придумываю, то каждый сам волен обратиться к истории и вчитаться в нее, тенденциозность ее изложения, пропускающая с первых же страниц повествования, ее определенная — тронугодная — заданность столь очевидны, что разве лишь какое-либо долгосрочное и тяжелейшее зомбопомутнение не позволит, как не позволяло в веках, разглядеть истину. Суть истории, сколько бы ни усекали и ни обедняли ее и сколько бы ни тщились придать искажениям в ней правдивый или хотя бы правдоподобный характер,— суть истории была и остается нетленной, а тленны только одежды, нятагиваемые на нее, и как бы они ни казались кому-то неизносимыми, у них есть и свой срок износа, и срок усталости и старения, который если еще и не истек до конца, то, во всяком случае, близок, очень близок к истеканию. Конечно, сегодня никто уже не поверит, что на берегах Нила, где, как подсказывают археологи и историки, зародилась человеческая жизнь, а вслед за ней и первая на земле государственность (мне кажется, что там, как и в Передней Азии, дважды, если не трижды перелопачен каждый кубометр земли в поисках доказательств этого далеко и далеко не бескорыстно выдвинутого тезиса),— что именно на берегах Нила, в Древнем Египте, произошло то социальное «чудо» (надо полагать, добровольно, ибо никаких иных сведений нет и, как показывает тысячелетний исследовательский процесс или, вернее, целенаправленность этого процесса, не предвидится получить человечеству), которое обратило единый мир людей в господ и рабов, то есть фараонов и рабов, если применительно к тому времени и к той фразеологии, и что в конце концов, если в чем-то и следовало бы разбираться здесь, так только в возможностях (для тронов, вернее, для сочинения тронных пособий, что как раз и подтверждено практикой сих исторических экскурсов) этой благопреподнесенной будто бы человечеству системы общественного бытия и что, главное, промысел Божий не может служить предметом разбирательства, тем более предметом критики и осуждения масс. Нет, нет, конечно, сегодня мало кто поверит в подобное объяснение узаконившегося в веках разделения личностей и людских сообществ на богатых и бедных, властимущих и бесправных, господ и рабов, как бы ни старались церковники, историки и философы, стоящие на позициях здравого будто бы (под дланью тронов) консерватизма; ведь нельзя же всерьез полагать, что у человечества и в самом деле не было ни выбора, ни прав, ни возможностей, кроме как добровольно, подчеркиваю, добровольно вступить в позижизненное (да и посмертное, ибо ничто так не живуче, как клеймо «божьего» рабства, о чем более чем говорит хотя бы столь очевидное и столь распространенное неравенство кладбищ — престижных и непрестижных,— могил, могильников, гробов, склепов и мавзолеев) рабство и до скончания веков поставить над собой фараонов, киров, царей, королей, императоров, генсеков, президентов и премьеров с их бесчисленной ратью армейских притеснителей и чиновных обирал. Однако прозрение отдельных личностей не есть прозрение человечества и перекроенную под тронугодность историю, похоже, никто не собирается ни отменять, ни исправлять; первородство государственности на Ниле так и остается поданным как благословленное Богом чудо общественного бытия, сказка как существовала, так и продолжает существовать и воздействовать на массы, но только преподносится она теперь не в прямом пересказе, а с достойной времени утонченностью закладывается между строк и в символы, без усталости добываемые в результате раскопок и водворяемые под пуленепробиваемые стекла бесчисленных музейных стендов. Подобная подача истории, выгодная и сегодня все тем же определенным властным силам, не только не проясняет ее темных пятен, но, напротив, лишь более затемняет их, и с каждым новым столетием мы все больше и больше узнаем о деяниях фараонов (понятие это употребляется здесь в собирательном значении), об их величии и «подвигах», совершавшихся на костях простолюдинов, и все реже и реже вспоминаем о том, какой ценой приходилось платить массам за сии державные «подвиги» и державное «величие» властелинов Земли. Если бы человечество решилось на откровенность, то оно должно было бы признать,

что за всю историю развития произошло два крупнейших переустройства общественного бытия и общественного сознания, иначе сказать, две великих (в пользу хищнического миропорядка) революции, которые если и не конкретизированы определенными датами, ибо и размах, и воздействие их на состояние людской жизни определяются рамками тысячелетий в смене бегущих эпох, то, во всяком случае, конкретизированы определенными и кажущимися теперь нам устоявшимися и незаблемыми явлениями как социального, так и духовного порядка; повсеместно ныне введенная система господства и рабства (провозглашение демократии, впрочем, не отменяет этой главной основы общественного устройства) — что это, если не революционное относительно изначально возникавших форм и систем переустройство и перераспределение всех и ныне продолжающих искушать личности, кланы личностей и народы ценностей? Второй революцией, ее еще можно назвать дочерней, совершившейся в подкрепление первой, явилась революция глобальной или почти глобальной унификации сознания простолюдинов, то есть революция духовная, когда из физического рабства, рабства фараоновского, говоря обобщенно, человечество (прежде всего в лице его простолюдинов) было переведено в положение «рабов Божьих» (в результате ли насаждения христианства, или мусульманства, или еще какого-либо религиозного учения подобного масштаба, что уже не столь важно), и это новое, то есть второе «рабство», а по существу, духовное оскотление, когда человеку дано только уповать на Бога, а не созидать жизнь по своему разуму, как, впрочем, «созидают» ее венценосцы, более чем знающие цену любым церковным упованиям, — это второе «рабство», похоже, еще только набирает силу и высоту, и не исключено, что мир еще не раз и не два содрогнется от религиозных (ведь путь к мировому господству всегда бывает устлан трупами) побоищ. Пока простолюдины Земли все еще лишь раздумывают о единстве действий в защиту своих эпохально поправных и попираемых интересов, властители давно уже без оглашаемых призывов и манифестов поняли преимущество совместных действий (да не отсюда ли и закон, запрещающий венценосным династиям смешиваться с простолюдинской кровью, поскольку и ежу понятно, что любое худое родство всегда крепче благих договоренностей); революции их и первая, и вторая, — это неостановимый перманентный процесс, и если уж возвращаться к истокам так называемой Нильской цивилизации, претендующей на первородство государственности с системой фараонов и рабов, то лишь с целью установления не предначертанной свыше, как это подается нам, а реальной сути происходивших тогда событий. Любое становление власти или, вернее, становление любой власти — процесс, безусловно, насильственный и кровавый, и я не думаю, чтобы фараоны Египта обрели или получили власть по какому-либо иному, чем этот, сценарию; других просто нет, история не дает нам примеров, так что египетский вариант (или месопотамский, или греческий, или римский, или образчики новейших времен), претендующий на первородство, тем более не может являться исключением в общем перечне мировых или даже просто претендовавших на мировое господство империй; как и христианство, насаждавшееся силой меча и креста (разумеется, количество распятых, сожженных и обезглавленных при этом не подлежит ни исчислению, ни оглашению), традиционно преподносится миру как явление не только добровольное, но и желанное, «принесшее» всем нам свет и благо, так и процесс подчинения личностей и людских сообществ единой (царской, божественной) власти, осуществлявшийся путем захватов и закабалений, подается исторически не искусственному люду не только как некое общесоюзное добровольное действие, но, главное, как насущная потребность напиравших веков и как единственно приемлемая мера национального (да, да, ни больше, ни меньше) выживания. А я вижу и слышу совсем другое (да простят мне историки сие эмоциональное отступление); вижу и слышу кровь, стоны и крики людей, сгоняемых в рабство; сила решала все (как решают сегодня кланы обладателей национальных и межнациональных капиталов, нажитых на ниве хищнического бытия); силой подавлялось непокорство племен, силой присоединялись к единой власти соседние племена, земли, народы, возводились дворцы, облачались в нимбы оракулы — одновременно и заместники Бога, и подручники фараонов, сооружались пирамиды как символы бессмертия и величия власти, тогда как простолюдины, узаконенно уже именуемые рабами, обращались в рабочий скот, и все это, не без гордости называемое первородством человеческой цивилизации, не по случайности же

или недомыслию привлекает и ныне сонм исследователей, готовых, как и рабы Древнего Египта, трепетать перед непреходящим могуществом былых и ныне властвующих фараонов. Так чьей же волей ставился мир, ставилась государственность, которая как служила, так и продолжает служить фараонам в самом обобщенном смысле этого понятия, но которой мы отчего-то так дорожим, что готовы вновь и вновь класть жизни «на алтарь отечества», как это официально подается церковно-светской риторикой (да было бы оно, это национальное не на словах, а, по сути, отечество!), и ставилась приподнявшая будто бы всех нас в человеческом облике цивилизация, в которой, как в египетском рабстве, становится уже простолюдину неумоготу жить?

XV

Я понимаю, да, да, понимаю, что меня могут обвинить во всем, в чем угодно, за бесконечное будто бы варьирование одного и того же утверждения, что история — это не оркестр, подчиняющийся дирижерской палочке, в чьих бы руках в данный момент она ни находилась, и что в исследовании процессов бытия главное не в том, как протекали те или иные события или вообще были ли таковые или их не было; музыка времен отзвучала, и что же теперь устанавливать, какие инструменты и в какой гармонии или с каким диссонансом звучали в ней, если общий результат ее воздействия на нравственное, духовное (может быть, точнее было бы — психическое) состояние людей очевиден и дает повод говорить лишь об одном, что если что и изменилось в нравах наций и народов, то только в сторону самого первобытного, — у кого увесистой дубина или у кого неохватней капитал, тот и прав в любых своих деяниях — пещерного варварства, а не в сторону цивилизованного, остающегося лишь провозглашенным миражом (лишь мыльным пузырем) мироустройства, — да, повторюсь, дело вовсе не в этих вышеозначенных поверхностных спорах по корневым, глобальным вопросам бытия, а, во-первых, в истоках, откуда все началось и получило развитие, которые почему-то (впрочем, известно, почему) либо не попадают в поле зрения исследователей, либо, что тоже небеспричинно, объявляются непостижимыми, и, во-вторых, в оценках уже известного и открытого, коими только наводится тень на вполне очевидные (по долговременным да и сиюминутным результатам) факты истории, а затененное можно уже с полным правом (с безупречностью правдоискателя, как это обычно подается, да еще с прибавлением словечка «научный») подвергать сомнению и обосновывать возможные и нужные — по определенной заданности — варианты и версии происшедшего. Известно, что эквивалентом человеческой нравственности, то есть смыслу и состоянию жизни, если расшифровать в духе народного восприятия, являются понятия справедливости, добра, труда, а эквивалентом безнравственности, то есть зла, — понятия грабежей, войн, насилий и закабалений, и если бы как в почтенной нашей официальной историографии (я имею в виду и всемирную, и отечественную), так и в обиходной жизни и, разумеется, в риторических заявлениях политиков, рвущихся к власти или уже получивших ее, зло именовалось бы злом, а не подкрашивалось под добро и справедливость, а людское доверие не использовалось бы как ярмо, способное вытянуть любого ловкача на гребень земной власти, — историю не пришлось бы уточнять ни в событиях, ни в оценках, все само собой встало бы на свои места, оголившиеся во зле правители всех времен предстали бы в своей, а народы в своей сущности. Эта святая правда дала бы возможность, во-первых, прозреть простолюдинам, то есть подавляющему большинству населения планеты, поставленному в положение просителя и раба, и сбросить наконец с себя петлю невежества, нищеты и унижений, и, во-вторых, прозреть (если в данном случае употребимо это слово) венценосцам, коим пора бы уже, достигнув или почти достигнув Творца в аппетитах на богатство, славу и власть, поумерить (хотя бы до пределов видимой, начальной гармонии) свои ненасытно-разросшиеся венценосные потребности. И давайте не будем прибегать здесь к самоубийственному для человечества понятию «утопия», которое, возможно, и придумано для ограждения тронов от вполне конкретных и вполне осуществимых, но способных подрубить под корень всю столь слаженно будто бы действующую систему господства и рабства разрушительных идей (и коими, кстати, давно и традиционно клеймится народное здравомыслие); но жизнь — не скоморошество для царедворцев, не

манеж для демонстрации коварства и не маскарад, на котором не принято срывать масок, а судьбы миллионов и миллионов простолюдинов, доверчивых, трудолюбивых, готовых на добро ответить тысячекратным добром, и терпимо ли, чтобы эти люди, составляющие костяк человечества, продолжали, как и во все прошлые времена, рождаться, жить и умирать в глубочайшем обмане, находясь рядом с истиной и не смея под запретом земной и Божьей власти поднять на нее глаз?

XVI

Я не думаю, чтобы главную суть события, когда человечество, из века в век убеждавшее себя, что устремлено к благоденствию и строит его, отстраивает в конце концов систему величайшего и необратимого (по всем скрытым и явным приметам) рабства, — чтобы явление это можно было назвать некой насмешкой или неким неожиданным парадоксом; парадокс предполагает нечто облегченно-стихийное, связанное с непредсказуемостью или, во всяком случае, неумышленной, безобидной ошибкой, поскольку даже гении, как мы говорим, не защищены от ошибок, тогда как речь идет вовсе не об ошибках, тем более безобидных, а о вполне целенаправленной деятельности человеческого разума или скорее человеческого безумства, когда зло, подающееся массам в личине добра, заведомо носит дальновидно продуманный и необратимый характер. Можно соглашаться, можно не соглашаться с таким утверждением, однако все же истина в том, что мир человеческих отношений, сотворенный по образцу хищничества (образцу древнеегипетской государственности), сотворен от начала и до конца теми, кому он приносил и приносит удовлетворение и благо (что, впрочем, аксиоматично подтверждается как самой жизнью, так и логикой рассуждений о ней), но отнюдь не теми, кому доставались и продолжают доставаться лишь страдания и кого, кстати, фарисейски принято величать Народом, Человеком с большой буквы, Хозяином и Вершителем своей судьбы; однако судьба простолюдинов как решалась в прошлом, так решается и сегодня во дворцах и храмах, где затеваются и осуществляются заговоры и против царей, поскольку в схватках за власть не щадятся ни отцы, ни сыновья, ни жены, ни матери, ни какая-либо еще династическая родня (ведь история буквально наводнена царями-отцеубийцами и царями-детоубийцами, начиная с библейских или, возможно, с добиблейских еще времен), и затеваются и осуществляются заговоры против народов и государств, кои, как жертвы для хищников (а не потому, что проявляют непокорство и выказывают свой свобододолюбивый нрав), притягательны уже тем, что съедобны и беззащитны. Сравнение, может быть, не очень удачное, но тогда давайте посмотрим на это явление с другой стороны: простой человек, крестьянин, труженик одомашнивал диких животных, чтобы доить их, стричь с них шерсть, снимать шкуры и питаться их мясом, а венценосец или, вернее, венценосцы — «одомашнивали», то есть превращали вольных скотоводов и хлебопашцев в своих подданных, то есть в рабов с той же, в сущности, целью, величественно поименовывая свои иногда почти континентальные вотчины царствами, империями или республиками (что по-народному означает: хрен редьки не слаще), и этот-то процесс, подающийся на просветительский стол как процесс все еще продолжающих складываться «общественных отношений» (разумеется, добровольно и при общем согласии, как без устали подчеркивается всеми видами и родами зомбиоружия, находящегося в распоряжении властвующих особ и кланов), — процесс этот не более и не менее как продолжение все того же «приручения» людей к новому, утонченному типу или варианту (ибо теперь примешиваются понятия «национализм» и «отечество») рабства. Так что нравится или не нравится это нам, но зодчими хищнического устройства бытия были и остаются властители, особенно те, кто претендовал и продолжает претендовать (вкуче с втянутым в эту авантюру народом) на мировое господство. История не знает ни царств, ни империй, ни республик, которые основывались бы на добровольном волеизъявлении граждан, но зато вдоль и поперек испещрена примерами насильственных образований — через войны, кровь, разорение и закабаление; и все они (что, впрочем, как раз и удивляет, и поражает, ибо могло бы служить наглядным уроком для мечущихся в поисках лучшей жизни народов) воссоздавались по одному и тому же до скуки однообразному сценарию — недовольство соседом, интрига, нападение, устрашающие казни, грабежи, поборы, кабала и, как венец, пожизненное и необратимое рабство, — а если в чем-то и отступали от этой стержневой ос-

новы, так только в степени жестокости или своенравия покорителя и возглавляемых им орд. Схема древнеегипетской государственности (господство и рабство, фараоны и рабы), если внимательно присмотреться к истории, особенно к Библии, к Старому Завету (без божественных наслоений она вполне может читаться как живая история народа и континента), — схема эта, по существу, как калька, с которой скопированы в той или иной мере близости или точности события веков или, лучше сказать, эпох, на протяжении которых, как непрерывающаяся цепь времен, возникали и рушились и вновь возникали и рушились великие и малые, но равно обогранные кровью и озвученные стонами простолюдинов ханства, царства, империи и республики. Есть две закономерности расцвета и упадка империй: основанная на научных, вернее, логических построениях и выводах и положенная в основу официальной историографии и несоместимая с этой научно утвержденной, но вытекающая из исторических и текущих реалий бытия, о которой в лучшем случае принято умалчивать, ибо она даже при самом ретивом охаивании может многих и многих подтолкнуть на нежелательные (нежелательные для тронов, для хищнической системы вообще) размышления. Согласно официально признанной закономерности империи (их иногда идентифицируют с понятием «цивилизация») приходят в упадок тогда, когда социальная система отношений, исчерпав все свои возможности, а по сути изжив себя, требует социального же обновления; перемены, разумеется, происходят, одно вроде бы отмирает, другое вроде бы нарождается, хотя стержень господства и рабства так и остается в неприкосновенности (что, впрочем, как несущественное либо не замечается, либо отбрасывается исследователями), и эти-то перемены и объявляются наступившим прогрессом, но если обратиться непосредственно к событиям эпох, то есть к тому, что и как творилось в веках, от чего приходили в упадок и исчезали империи (читай: цивилизации), то вырисовывается совсем иная и вроде бы неожиданная (неожиданная по внутренним нам и устоявшимся в нас понятиям) картина действий, из которой следует, что ни империи, ни цивилизации, если прибегнуть ко второму термину, никогда не приходили в упадок и тем более не исчезали точно так же, как и отработавшая ими система насилия (система рабства, крепостничества или нынешняя, так пока еще и не распознанная до конца и не получившая своего наименования) не истощала и не изживала себя, а истощались лишь, во-первых, людские возможности, когда с тысячекратно обогранных и доведенных до предела нищеты и разорения простолюдинов было уже нечего взять, и, во-вторых, истощались природные ресурсы, то есть вырубались леса, мелели реки, обеспложивались пахотные земли, выгребались и выкачивались недра, и центр стержня господства и рабства в лице его великих и не великих персон оставлял свои старые владения, вернее, бросал как обглоданную кость, и перемещался (путем силового захвата, но иногда и путем проникновения в чужеземные структуры власти) на новые, обетованные земли, чтобы затем, обглодав и истощив их, искать и захватывать другие, еще другие, преодолевая пустыни, горы и океаны и надеяся (разоряя) народы своим великим «благом» хищничества. Египет времен фараонов и пирамид не пал, как условлено полагать (и чему посвящено несчетно исторических и философских трудов, пронизанных, как ни странно, иногда прямой, иногда завуалированной ностальгией по сильной и жестокой власти), но — тронно перетек в междуречье Тигра и Евфрата, то есть на земли Передней и Центральной Азии, и, раздробившись (что происходит при любом крушении), вызвал к жизни десятки так и не сумевших, кроме разве что Персии времен правления Дариев, слиться в одну мощную державу царств и империй, перечислить которые и тем более излагать их судьбы мне кажется, было бы, с одной стороны, излишним, ибо предметом рассмотрения выступает здесь срез эпох, а не то или иное конкретное (и, безусловно, представляющее интерес) явление, а с другой — все они возникали и исчезали, как уже говорилось, по одному и тому же сценарию с различием лишь во временном и масштабном измерении и потому вполне поддаются обобщению; этот период истории правомерно было обозначить как эпоху враждовавших между собой маленьких, усеченных до княжеств египтов, кинувшихся осваивать азиатское Присредиземноморье, и если жизнь этих мини-фараонов без пирамид, то есть правителей, которые, прихватив (для себя) значимость и величие власти с берегов Нила, лишь тщились еще обрасти капиталами (рабами) для строительства столь же величественных (для себя) усыпальниц и гробниц, достаточно уже, то есть более чем достаточно, изучена и описана (по обилию трудов, прославляющих их «подвижничество», создается впечатление, что тронугодники явно-таки

вознамерились, отобрав у Египта первородство в становлении системы господства и рабства, передать его им), то жизнь простолюдинов, которую иначе и не назовешь, как рабской, прорисована, как и в случае с Древнем Египтом, лишь в смутных очертаниях, как нечто жившее, страдавшее, объединенное в некую безликую массу, которую не грех иногда, при необходимости, поименовать Народом, Творцом истории. Не достигнув ни желанного единства, то есть трона мирового господства, который в том или ином варианте всегда грезится любому правителю, ни желанного могущества, но достаточно поистожив и людские, и природные возможности, а если реалистичней, обглодав, как в свое время египетские фараоны свой Египет (продлись их режим еще хотя бы на одно, два тысячелетия, и на нильских берегах ничего, кроме пирамид, уже невозможно было бы отыскать), азиатско-присредиземноморские, палестинские земли, стержень господства и рабства миссионерски, как я бы охарактеризовал его, двинулся к берегам Эгейского моря, чтобы уже на этих вновь облюбованных «обетованных» землях обустроиться в своем хищническом бытии. Греческие города-царства с их демократией для патрициев и бесправием для илотов, о чем забывают иногда и политики, и историки, кидаящиеся отыскать новизну в том, что можно считать только коварным порабощением, но в чем они стремятся увидеть идеал мудрости и панацею от всех и всяких земных бед,— эти греческие города-царства, державшие все или почти все вокруг себя в закабалении и истекавшие в схватках между собой могуществом и кровью (кровью простолюдинов, как утверждает история), по сути, явились лишь чуть подновленным вариантом оставленных ими на землях Передней Азии мини-египтов, и несмотря на расцвет так называемой цивилизации (об этом еще пойдет особый разговор в главе о духовном насилии), на обилие законов, коими вроде бы на века обогатилось людское сообщество, и шедевров литературы, искусства, зодчества (в конце концов ведь и пирамиды — шедевры зодчества, да и не только зодчества), — история в третий раз неминуемо должна была повториться и повторилась перемещением стержня господства и рабства на итальянские и африканские берега.

XVII

Конечно, официальная историография совсем иначе подает возникновение Рима и Карфагена: дескать, прибыли некие инициативные, сильные, дерзкие люди на пустынные берега, основали поселения, затем обратили их в города, и уже на базе этих городов, начавших расширяться, богатеть и набирать могущество, возникли империи, столкнувшиеся (по законам хищничества, добавлю от себя) между собой в смертной схватке. Логично и неоспоримо, если, разумеется, рассматривать события вне связи веков и выносить суждения по ним не из корневой их заданности, то есть не из глубинных процессов, коими всегда, как и сегодня, определялись и определяются направление и смысл бытия, а лишь из плоскостного восприятия, следуя за ветром по гребням бегущих волн. При таком подходе к истории, когда ничто вроде бы не извращено, всегда есть возможность сохранить видимость правды, то есть то самое правдоподобие (в противоположность истине), с помощью которого или, вернее, через которое как раз и навязывается миру искаженная суть минувших веков и событий. Если исходить из этой искаженной сути, то ни в прошлом, ни теперь вроде бы и не было Колумбов-завоевателей, чьи руки обагрены несмываемой кровью истребленных ими народов, а были только Колумбы-исследователи, Колумбы-негоцианты, в бескорыстной самоотверженности научно и культурно просвещавшие мир; ведь они и ныне в ореоле великих бесребреников продолжают наводить мир своей хищнической (если заглянуть за кулисы благотворительности) продукцией в упаковках добра, света и справедливости и, по сути, подталкивать «облагодетельствованные», то есть взятые под опеку, народы и страны к самоубийственным действиям. Так выглядит нынешняя реальность, так выглядела она и тогда, ибо на итальянский берег, если обратиться к первоисточнику и восстановить подробности происходившего, высадились далеко и далеко не колонисты, не этакие непоседы-искатели новизны и приключений, которым человечество обязано открытиями морей, континентов и океанов, но хорошо вооруженные и обученные своему ремеслу воины, и сейчас же, как и рюриковичи в России, и испанские конквистадоры в Америке, приступили к захвату и закабалению обнаруженных ими земель. И снаряжены были эти дохристианские «конквистадоры» на сии благородные будто бы поиски жизненного

пространства отнюдь не илотами, не простолюдинами, пребывавшими в поголовном почти рабстве (вымысел, которым просвещенчески кормили и продолжают кормить человечество), но отцами-правителями тех самых греческих городов-царств, в чьих руках были уже не царства, а обглоданные кости, достойные лишь свалки истории (куда, впрочем, и были сброшены, и мы до сих пор роемся на этой исторической свалке, отыскивая образцы великих, неповторимых шедевров и восторгаясь ими, словно они-то и составляли главную суть тогдашнего общественного бытия, и не замечаем, как все глубже и глубже втаптываем в прах истоки сопровождающего нас в веках нескончаемого драматизма), и не что иное, как потребность в новых обетованных землях, где можно было бы развернуться в своих властных притязаниях, подвигала их на подобные изыскательные действия. Войска, армии, солдаты, воины всегда были лишь авангардом лавинно следовавшей за ними системы господства и рабства; система эта как некий духовно-поработительный потоп, от которого человечество при всем старании так и не смогло ни изобрести, ни построить спасительного ковчега (да и дадут ли простолюдинам-личностям и простолюдинам-народам право на подобное изобретение?), и Римская империя, сровнявшая с землей Карфаген (к этой столетней схватке придется еще вернуться) и распростершаяся на три континента, более чем подтверждает ссылку на библейскую образность. Ни азиатско-присредиземноморским мини-египтам, куда переключал с берегов Нила стержень господства и рабства, ни греческим городам-царствам, представлявшим собой, в сущности, еще более жалкое подобие угасшего египетского — времен фараонов и пирамид — могущества, так и не удалось в силу их, может быть, разрозненности или, вернее, осколочности, не то чтобы превзойти, но даже просто сравняться с державным беспределом богатства, славы и власти фараонов (забегая вперед, замечу, что все эти обглоданно-брошенные страны и народы так затем и не сумели подняться до некогда освоенных будто бы ими «высот» культуры и государственного могущества и пребывают, увы, и ныне в разряде развивающихся, то есть догоняющих «цивилизацию», народов и стран, где, похоже, новые властелины-личности и властелины-народы намерены удерживать их до скончания веков), но Римская империя, подавив, как уже было упомянуто, Карфаген и став, по существу, вторым вслед за Египтом фараонов центром концентрации и распространения хищничества, хотя и пала, не достигнув конечной, то есть заветной, цели — цели мирового господства (ближе всех к этому трону тронов подступила несущая ныне эстафету фараонов и продиговывающая уже более чем полумиру свои условия бытия известная за океанская держава, расквартировавшая, как в свое время набиравший могущество Рим, на всех морях, океанах и континентах свои надзорно-карательные легионы), но внесенная ею лепта в насаждение хищнического мироустройства среди пребывавших будто бы во младенчестве, как зафиксировано в официальной историографии, людских сообществ (читай: в дикости, поскольку не ведали ни о каких системах и режимах государственности), — лепта столь велика, что, по сути, трудно найти народ или страну, чья история прямо ли, косвенно ли не соприкасалась бы с историей Римской империи и ее великих и неостановимых в своих тиранских деяниях цезарей. Все, что вместе со стержнем господства и рабства перетекло в Рим и обосновалось в нем — искусства, науки, зодчество, — все, все, хотя во многом и грешит вторичностью или третичностью, обрело как бы новый импульс для ублажения властных и околотовластных особ; дворцы и храмы, наводнившись шедеврами и озолотившись, обросли еще большей пышностью, превзойдя в объемах богатства и власти, возможно, даже самых именитых Небесных Богов, а хижины и рабство, говоря обобщенными понятиями, так и остались хижинами и рабством, чему, впрочем, вряд ли стоит удивляться, ибо чего же еще можно было ожидать от созданной фараонами Египта системы общественных отношений? Прошедшая через века и эпохи система эта и сегодня лишь подтверждает истину, что ни могущество власти, ни расцвет наук, культуры, зодчества не имеют ничего общего с состоянием жизни простолюдинов, загнанных в рабские условия Великими Благоделателями земли. Одни римляне убивали друг друга на гладиаторских площадках, другие римляне наслаждались этими зрелищами убийств, реагируя на каждый смертельно нанесенный удар, как нынешние тиффози или болельщики на пристрельно забитый в ворота соперников мяч (до чего же обмельчало человечество в своих страстях, можно ведь и так интерпретировать); но что были для римлян эти гладиаторские бои, когда на границах разраставшейся (за счет присоединения соседних земель и закабаления соседних народов) империи из месяца в месяц, из

года в год на протяжении столетий разыгрывались невиданные по масштабности кровавые побоища, и по дороге триумфаторов — единственной или почти единственной в этом роде и более чем характеризующей захватническую суть римских властителей — к стенам Вечного Города текли все новые нескончаемые толпы рабов. Могущество Римской империи, кроваво прираставшее соседними землями и народами, все еще и сегодня, обращенное уже в прах, продолжает поражать (пусть хотя бы и пепелищами былой роскоши) воображение и венценосцев, и простолюдинов; но мы не вправе поддаваться эмоциям воображения или, вернее, эмоциям от воображения, ибо ничто так не заузкоколено, как зримое восприятие руин былой царской мощи; жизнь цезарей — не жизнь народа, как зодчество дворцов и храмов — не зодчество хижин, а уровень ублажающих элиту наук и искусств — не уровень просвещенности и творческой активности простолюдинов, и, может быть, одной из самых драматических ошибок человечества является обобщенное восприятие (разумеется, в сторону тронного благополучия) нищеты масс и благоденствия коронованных особ. Империя как некая общественная субстанция обычно соединяется в нашем сознании с величием и могуществом живущих в ней народов, что как раз и импонирует нам, и мы вновь и вновь готовы за непонятное, но провозглашенное великим классть жизни на алтарь отечества, тогда как все, что связано с властью, особенно могущественной, может ассоциироваться только со словами «страдание», «нищета», «кабала», «войны», «разорение», «кровь», и нам давно бы уже пора усвоить, что лишь реалистический подход к рассмотрению действительности способен дать достоверное представление о состоянии общей жизни ушедших в небытие веков и империй. Как ни велико искусство, но разум человеческий не должен замыкаться лишь на восприятии победных кличей; римские легионеры, добывавшие богатства и славу своим властителям, далеко не прогулочно прошагали в веках по трем континентам, и отнюдь не пылью дорог, вернее, не только пылью дорог покрывались их тела и доспехи; там, где они проходили, пеплом и кровью обагрывалась земля, они жгли, насилывали, грабили, обращали в рабство народы и страны и, едва успев смыть с доспехов и тел «рабскую», как это воспринималось ими, кровь, шли дальше, подгоняемые алчными притязаниями своих могущественных правителей (ведь у хищничества есть только один сценарий, продиктованный тысячелетними владельцами пирамид), и сколько бы официальная историография ни утверждала, что римские легионеры несли на копьях и мечех не разорение и смерть, а «культуру» и «цивилизацию» покоряемым народам, утверждение сие лишь бездоказательно повисает в воздухе при столкновении с жесткой, венценосно насаждавшейся реальностью бытия. Легионы несли не культуру, а власть, не освобождение, но рабство; лишая покоренные народы самобытности развития (чуть позже за это же «ремесло» возьмутся религии, вступив в сговор с властителями и войдя в услужение им), они устрашениями и казнями утверждали тот свой порядок, который мы сегодня как раз и называем «великой цивилизацией» и в котором, кроме стержня господства и рабства, основанного на началах хищничества, не осталось или почти не осталось ничего человеческого, что изначально закладывалось в нас как в разумные существа и делало нас людьми.

XVIII

Империи помечаются клеймом смерти не тогда, когда все уже — и люди, и природа — до предела истощено, а стержень господства и рабства в лице его жалких на этот период правителей затевает исход на новые обетованные земли, но тогда, да, именно тогда, когда и власть, и бесправие, а следовательно, и богатство, и нищета достигают наивысшей точки концентрации, монархи не знают, куда и на что еще употребить отнятое у народа, и принимаются за возведение в общем-то бессмысленных по отношению к жизни масс, жизни народов вообще (разве что для Книги рекордов Гиннесса) пирамид, а простолюдины, доведенные нищетой и бесправием до отчаяния и уже не видящие перед собой никакой перспективы жизни, испытывают лишь желание отдаться во власть стихии, приближающей их к небытию, или — святым крокодилам, как происходило все в том же Египте, когда в одиночку и толпами египтяне-рабы устремлялись к водам Нила и, уместившись на берегу, дожидались свирепых (и желанных в данный момент) хищников. Для Древнего Египта такой переломной эпохой явилась эпоха возведения самой величественной из пирамид — пирамиды Хеопса, а если конкретней — день, когда рабами под присмотром ие-

рархов был заложен первый камень в основание этого непревзойденного и донныне символа символов беспредела земной (хищнической) власти; подобной переломной эпохой для Римской империи явилась эпоха завоевательских походов Юлия Цезаря, когда по замыслу этого властелина могущество средиземноморской державы должно было прирастать землями и народами Западной Европы. Ныне существует только одна трактовка этих походов, что, дескать, Рим всего лишь защищался от набегов европейских варваров и что, как и в случае с Карфагеном, в своей защите не мог не идти до конца; но, если говорить языком современности, против европейских племен и народов, живших своей самобытной жизнью и не желавших для себя римского (хищнического) миропорядка, проводился ничем не прикрытый, страшный, жесточайший геноцид, и если о расправе над Карфагеном миру известно все или почти все, что и как происходило (благодаря запискам историка-очевидца), то в методах покорения Западной Европы многое и сегодня продолжает пребывать за пологом умолчания; главное же, что остается за пологом умолчания,— это стратегический замысел, согласно которому римские правители, зная по опыту предыдущих империй, что от венценосно-безудержного потребительства рано или поздно, но все вокруг, наполненное людскими и природными возможностями, приходит к истощению и упадку (ведь некогда могущественный Египет и не менее могущественная своими городами-царствами Греция лишь жалкими, обглоданными провинциями входили теперь в состав великой Римской державы),— римские правители подготавливали для себя загодя новые обетованные земли к предстоящему исходу; и это не тезис, нет, не предположение, а историческая реальность, более чем подтвержденная фактами былых и текущих времен, наконец, если хотите, состоянием бытия коренных европейских народов. Наверное, кому-то покажется странным, что стержень господства и рабства, передвигаясь из одних (обглоданных) земель на новые, обетованные, чтобы затем, обглодав и их, двинуться дальше,— что этот зловещий стержень государственности (как некий воспетый признак цивилизованности народа или народов, о чем выше уже рассказывалось) начал растекаться не веером по континентам, как можно было бы предположить, опираясь на физические явления природы или логические доводы, а целенаправленно перемещаться на запад, словно по какому-то предначертанию (в конце концов и освоение Америки происходило движением с востока на запад, а теперь с востока же, то есть из-за океана, начинает прорываться с подобной же целью далеко еще не исчерпавшаяся ни в людских, ни в природных ресурсах территория России); но, разумеется, дело не в предначертаниях, не в том, чего не было и не могло быть, а в обстоятельствах, какие складывались для той исторической эпохи и направляли движение; да и нельзя сказать, чтобы не было попыток двинуться на восток (Геракл, Александр Македонский), но все они заканчивались безрезультатно, во-первых, потому, что одно порабощение, базировавшееся на египетско-греческо-римской системе господства и рабства, наталкивалось на еще более жесткое, азиатское, тоже, кстати, претендующее на первородство хищнических начал, а во-вторых, Азия сама не раз и не два выбрасывала воинствующие орды на пространства Европы, взять хотя бы, к примеру, походы Дария, нашествия гуннов, аваров, Тамерлана, Чингисхана, Батыя и османских (алтайских) турок, которое все еще, как показывает действительность, не получило своего логического завершения. Венценосные страсти, усиленные ныне религиозным фанатизмом и национализмом, продолжают, как и во все предыдущие века, следуя сценарным ходам фараонов, кипеть теперь уже на всех шести континентах Земли, добавляя к тысячетным страданиям простолудинов все новые и новые, и кто бы и что бы ни говорил и ни писал о сути и смысле бытия и ни задавался историческими вопросами, обращенными к Богу: «За что?» и «Сколько можно?», но гнев, истекающий эмоциями, столь же бессмыслен, сколь и умудренная созерцательность у края могил; порабощитель вечен, он ежеминутно в поисках и движении и способен жертвовать не только народом или народами, но иногда и лучшими представителями своего клана (что, впрочем, тоже по заданности фараонов), и если убийство Цезаря рассматривать не просто как противоборство претендентов на высшую власть в империи, а в разрезе веков, вернее, по разрезу уходящего корнями ко временам фараонов и пирамид стержня господства и рабства, то злодейство, совершенное Брутом и Кассием, предстанет лишь одним из сегментов длящихся и донныне схваток властителей за выживание и бессмертие своего древа. После трагической гибели Цезаря кривая могущества Римской империи резко устремилась вниз, и уже через несколько столетий на историческом про-

странстве жизни является новая империя — империя Карла Великого, названная им Христианской, то есть основанная будто бы на принципах добра, справедливости, миролюбия и благоденствия, но столь же на версты отстоявшая в своих свершениях от этих понятий, как и ее великие предшественники — Египет времен фараонов, мини-египты азиатского Присредиземноморья, греческие города-царства и Великий и Вечный Рим. Благополучно перевалив через Альпы (возможно, теми же заснеженными перевалами, какими прошел Ганнибал с войском и боевыми слонами, а затем, спустя века, Суворов с войском, зажатый в тиски) и оказавшись на просторах во многом завоеванной уже и порабощенной Европы, стержень господства и рабства в лице его новых властителей-поводырей начал с того же, с чего начинал и во всех прежде захватывавшихся обетованных землях, — с подавления самобытности коренных народов и наращивания тронной власти. Этот период европейской истории столь же затемнен, как остается затемненной (и, думаю, не случайно, а по определенной заданности) и наша с древнейших и до нынешних времен и поверх ужасающих следов казней, разорений и сеч, следов еще более жестокого духовного подавления давно и нестираемо наложены совсем иные следы — следы «великих» битв и «великих» побед (по сути, мира людей над миром людей), отдающих лишь торжеством, а не страданиями и кровью. Страдания и кровь — удел простолудинов, чье материальное и духовное благополучие мало кого интересовало в прошлом и мало кого интересует теперь; жизнь царей и царедворцев — вот объект исторического исследования, объект пристрастия мужей науки, тогда как жизнь рядовых граждан планеты, несущих на себе всю тяжесть бытия, была и остается за пределами внимания официальной да и неофициальной историографии (о тронных и околотронных особах уже не говорю), и если бы я не побывал в глубинках Франции, Германии, Англии, Швейцарии и не увидел, сколь стеснена, да, именно, стеснена фермерская жизнь коренных, исконных обитателей этих земель, ныне наводненных разноязыким и, по существу, безродным людом, и не проникся бы сутью и значением подобных происходящих и с нами перемен, когда пришлое, то есть чужеземное возводится в ранг величия (в ранг хозяина положения), а коренное, исконное, пренебрежительно именуемое аборигенами, низводится до ранга обслуги, ранга рабочей силы, скота, волов, на которых по утрам надевают ярмо, а по вечерам загоняют в стойло, не было бы ни этих горьких мыслей, ни пронизанных страданием и болью строк, которые пишу и которые сочатся кровью живой истории племен и народов. Христианская (наверное, правильней было бы говорить «так называемая христианская») империя Карла Великого, подающаяся как гордость европейской истории, прошла тот же путь от восхождения до упадка, что и Древний Египет и Рим, объявлявшие себя вечными, и не случайно ее основатель и могильщик, ибо никто не может взять больше того, что обстоятельствами и временем отпускается ему, — основатель и могильщик предпочитал называть себя вторым (европейским) Цезарем, а свою империю Римской. Цезарь добыл для Рима Западную Европу — обетованную землю для предстоящего исхода стержня господства и рабства; Карл Великий, взявшийся повторить для Европы сей «подвиг», обратил взор на земли восточных славян, и хотя ему не удалось завершить святое для себя предначертание и державная — египетского первородства — власть вторглась и освоилась на славянских землях уже иным способом, способом духовной, а не военной экспансии (на силу славяне отвечали силой, а против духовного порабощения ни тогда, ни теперь так и не находится средств защиты), но провозглашенная им доктрина *Lebensraum*, доктрина расширения жизненного пространства за счет приращивания чужих земель, — доктрина эта и разорительные походы на восток положили начало более чем тысячелетнему, усилившемуся затем расколом христианской Церкви на католичество и православие, противостоянию германских и славянских народов. Так по крайней мере принято говорить, хотя подобное утверждение и не соответствует действительности, ибо враждуют не народы, а правители, стремящиеся поделить трон мирового господства и в порыве хищнических притязаний признающие лишь одно, что Карфаген должен быть разрушен и предан забвению (разумеется, каждая из сторон мнит себя Римом, а не Карфагеном и соответственно наращивает военную и экономическую мощь); но, рознясь по состоянию духовного и технического потенциалов, стороны лишь попеременно предстают то в роли Рима, то в роли Карфагена, и весь ужас этого коромысла с разно-наполненными или, вернее, разно-опустошенными ведрами состоит в том, что по условиям хищнического мироустройства, добившегося-таки для себя за века мандата на

бессмертное пребывание, — что по этим условиям, когда Карфаген непременно должен быть разрушен, у народов не остается ничего, кроме как готовиться ко все новым и теперь уже решительным схваткам. Такова реальность, создающаяся вроде бы лишь драматическими условиями жизни, а фактически — притязаниями фараонов всех времен на мировое господство, дабы все, все, кроме них, пребывали в беспробудном рабстве, в нищете, бесправии и невежестве.

XIX

После распада так называемой Христианской империи Карла Великого (впрочем, сей «великий» христианин, как любят подавать его, развернув над собой стяг христианской добродетели, с яростью истреблял, возможно, куда более истинных христиан, принужденных лишь волею судьбы исповедовать не католичество, а православие) на западноевропейском пространстве, как грибы после дождя, поднялись к жизни по азиатско-присредиземноморскому и греческому образцу мини-египты и города-царства, и явление это, всего лишь зеркально отразившее уже известное человечеству исторический ход развития (ведь вражда малых держав, как и вражда гигантов, чревата все той же кровью и теми же страданиями простолюдинов), в исторической «табели о рангах» эпох поименовано мрачным средневековьем. Стержень господства и рабства, словно гигантский слон, обглодавший вокруг все, что только можно было обглодать, и не подготовивший для себя новых обетованных земель, на которых можно было бы расположиться для новой в богатстве, славе и власти жизни, — стержень господства и рабства, как слон, затоптавшись на месте, не нашел ничего лучшего, как обрушиться со светским и религиозным геноцидом на своих закабаленных, бесправных, нищих, но осмеливающихся еще чего-то желать простолюдинов. Эпоху эту можно охарактеризовать как безумство самозахлопнувшегося в клетке зверя, когда от безвыходности и отчаяния (да и надо же на кого-то свалить вину и выпустить гнев) он готов сокрушать все, что возникает перед ним; правители мини-египтов и городов-царств, как и должно по хищническому сценарию, сцепились между собой в схватках за едино- или первогосподство, междоусобные войны чередовались с крестовыми походами, а крестовые походы — с войнами, приводя все вокруг к еще большему обнищанию, и трон мирового господства, оставаясь незанятым, то призрачно зависал (и даже вроде бы обосновывался) над могущественным Двором византийских императоров, то перемещался в Венецию и пробуждал там надежды и страсти, то (поочередно) являлся при Дворах французских, испанских, российских, английских монархов, оборачиваясь новыми жесточайшими и кровопролитнейшими войнами. Разумеется, к тому; что и как я излагаю здесь, да и вообще к изложениям историков и философов, которые пытаются воссоздать реалистическую картину человеческого бытия с его драматическим прошлым, настоящим и, возможно, еще более драматическим будущим, ибо не похоже, чтобы люди хоть сколько-нибудь всерьез задумались над тем, какой мир создали для себя и есть ли перспектива изменить ход истории и вернуться к истокам добронравия, взаимопонимания, истокам справедливости, добрососедства и миролюбия (да уж не применить ли закон хищничества, закон «разрушения карфагенов», к самому хищничеству как первоисточку зла?), можно предъявить массу требований, а вернее всего прилепить ярлык схематичности, дескать, все в явлениях жизни гораздо сложнее, чем автор пытается представить, и что, дескать, исторические события следует рассматривать и оценивать с учетом лишь обстоятельств, в каких они совершались, а не осовременивать их и не предъявлять к ним иных требований, чем предъявляла им своя эпоха (что означает, по сути, тронно-цензурный запрет на поиск исторической правды); но я готов к подобному упреку и позволю себе в свой черед задать оппонентам вопрос: а не считаете ли, господа, что у всего, что творится на Земле, есть базовая основа (стержень, костяк, хребет, суть не в названии), порождающая и направляющая ход событий, и если в материальном мире вещей эта базовая основа складывалась из естественного стремления природы к гармонии, то есть из потребностей движения и покоя, чем и уравнивается материальное бытие (возмущения в природе есть только исключения, подтверждающие правило), то человечеству как разумной субстанции предопределено было самому выработать для себя столь же гармоничные условия существования, при которых людские сообщества могли бы жить в мире, трудиться, благоденствовать и процветать; но так ли человечество использовало дарованную ему возможность, как следовало бы, или, откля-

нившись в сторону зла, в сторону хищничества, столь извратило и сгорбило свой несущий остов, да, именно несущий остов, что прошли века, а мы (простолюдины) так до сих пор, по существу, не можем подняться с колен; да и сможем ли вообще, если не одумаемся, что творим, и не остановимся, чтобы оглядеться и выбрать другую, достойную человека дорогу? Это вопрос не только истории, но вопрос жизни, и, чтобы ответить на него, нужно по меньшей мере добраться до остова, а чтобы добраться до него, вернее, чтобы увидеть его искажения и сгорбленность, нужно попытаться очистить его от всех живых и омертвевших наслоений эпох. Если я ошибаюсь в характеристике (хищнической характеристике) остова нашей жизни, то отчего тогда она так неприятна, так полна страданий и бед? А если все-таки согласиться, что жизнь наша далеко и далеко не сахар, мягко говоря (но ведь и не согласиться с этим нельзя), тогда о какой ошибке может идти речь? Не этапы тех или иных побед, этапы захватов чужих земель и закабалений сопредельных народов, а этапы венценосных (фараоновских) устремлений или, вернее, тронная поступь властителей по обетованным землям, исходы и процветания и опять процветания и исходы — вот тот сгорбленный остов (стержень, костяк, хребет или еще что-либо), на котором возводились и продолжают возводиться судьбы народов. Некоторые историки и философы, пытаясь найти объяснение происходившим тогда событиям, выдвигают (и не без основания вроде бы, как это представляется им) явно тронугодную версию о некоей перенаселенности, будто Европа времен мрачного средневековья страдала от многолюдства и что поиск новых (читай: обетованных) земель был предрешен этим и только этим явлением. Однако, несмотря на «научную» обоснованность подобного утверждения, оно вызывает ряд достаточно серьезных возражений. Разумеется, если считать перенаселенностью обилие наплодившихся к тому времени князей, герцогов, графов, баронов и просто дворян, умевших и желавших только держать меч и пороть за недоимки крестьян, то тут нет сомнений, все определено, достоверно, ясно, но если соотносить это понятие с состоянием жизни простолюдинов, страдавших от войн, крестовых походов и моров, то картина обретает иной характер и действительность не только не состыковывается с понятиями перенаселенности, или многолюдства, но, напротив, соотносится с ними, как белое с черным или черное с белым, ибо войны, походы и моры, уносившие тысячи жизней, если и способствовали чему-то, то уж никак не благополучию и жизнедеятельности наций. Есть достаточно аргументированные свидетельства тех времен, устойчиво, впрочем, игнорирующиеся официальной историографией, в которых прямо указывается, что многие пахотные земли даже вблизи замков и городов зарастали кустарником и дичали, потому что некому было их обработать; скудела именно та жизнь, которую и сегодня принято называть трудовой, крестьянской, а процветала, если слово это вообще приложимо к тронному и околотронному бытию, королевская, княжеская, герцогская, графская, баронская, то есть барская, не хотевшая и не умевшая ничего создавать, кроме собственного благополучия, но привыкшая иметь все, что создается другими и может приобретаться силой меча и обманом; одновременно и купаясь в роскоши, и задыхаясь от интриг и коварств, ибо хищничество не было бы хищничеством, если бы обходило стороной своих дворцовых первоносителей, тронные и околотронные особы вместе с тем не могли не видеть и не чувствовать общего оскудения и, соответственно, не думать о самосохранении, так что вполне возможно, что стремительно нараставшее обилие высокородных едоков с ложками, готовых лишь черпать, черпать и черпать из одного и того же оскудевающего источника, не пошевелив даже пальцем, чтобы пополнить его, то есть чтобы хоть как-то ослабить кабальное жистие простолюдинов и вернуть им отобранное у них право на самобытность развития, — да, вполне возможно, что скопище во дворцах и храмах, в замках и городах высокородных едоков с ложками (ведь каждому вынь да подай его толику богатства, славы и власти) как раз и вызывало ощущение некоей всеобщей будто бы людской тесноты и скученности. Здесь же, видимо, стоит заметить, что говорить о перенаселенности как таковой можно лишь в тех случаях, когда плотность населения на гектар пахотной земли (с учетом, разумеется, количества скота, птицы, водных и топливных ресурсов) превышает его прокормочные возможности; и хотя исследования подобного рода, какие проводятся теперь, в средние века не проводились (в России первым обратил к ним Радищев, взяв за единицу измерения надел подмосковной земли), а все позднейшие доводы выстраивались лишь на интуитивных с тронугодной заданностью основах, но вместе с тем, если без очевидного пристрастия обра-

тяться к реальностям тех времен, к действительности, которая, впрочем, вполне воссоздаваема по описаниям очевидцев и участников происходивших тогда событий, то скорее речь бы могла пойти не о перенаселенности, но о многолюдстве, а об опустошенности и обезлюдении богатых, плодородных, кормобильных, если хотите, западноевропейских земель; так что еще раз напомним: все упиралось не в природные и людские возможности, а в мироустройство, хищнически истощавшее эти возможности. Для египетских фараонов базовое оскудение их вотчин завершилось исходом на новые обетованные земли; их примеру, когда наступил черед, последовали властители азиатско-присредиземноморских мини-египтов и греческих городов-царств, а затем и римские цезари, сумевшие постелить соломку, прежде чем упасть, чего, как показывает история, не сделал или, вернее, не смог сделать для своей империи Карл Великий. Стержень римского господства и рабства, римской державности, о чем следует упомянуть в дополнение к уже сказанному (и к чему по ходу повествования еще придется вернуться), сумел подготовить себе для исхода не один, а два плацдарма — земли Западной Европы и (через Византию и православие) земли будущей Российской империи, так что и мы, получив свою (возможно, смертельную, как все явственнее показывает действительность, для коренного славянского да и неславянского люда) дозу хищничества, не избежали начатого еще фараонами Египта силового и духовного порабощательства.

XX

Чем ниже опускалась шкала оскудения масс (крепостничество и безземелье было таким же, как и в России, бичом хлебопашцев), тем богаче и торжественнее обставлялась жизнь обитателей дворцов и храмов (по принципу двух связанных сосудов, когда из одного выкачивают, другой наполняется) и тем сильнее возникала у венценосцев тяга к великодержавности и мировому господству. Лавры Египта, Рима и особенно империи Карла Великого, уже не исторически, а живо напоминавшей им о могуществе и величии как о вполне реальных и достижимых тронных возможностях (думаю, нелишне будет напомнить здесь, что в состав так называемой Христианской империи Карла Великого, бывшего вначале лишь франкским королем и сумевшего затем увенчаться титулом Великого императора, входили территории нынешней северной Франции, западной и южной Германии, северной, средней, а позднее и южной Италии, территории Бельгии, Голландии, Австрии, северо-восточной Испании, Венгрии, Югославии, западной Чехии и западной Польши, если брать в нынешних ее границах), — лавры этих ушедших в небытие империй не оставляли в покое ни одного из правителей тогдашней лоскутной Европы; им казалось, как многим западноевропейским властителям кажется и теперь, что с порабощением соседних земель и народов, какими бы богатыми или бедными они ни были, сразу, то есть автоматически, если применить современный термин, могут разрешиться по крайней мере два важнейших вопроса тронной жизни: вопрос поиска обетованных земель и исхода на них, поскольку с присоединенных даже бедных стран и народов можно еще достаточно выкачать богатств, чтобы поддерживать на уровне состояния тронной роскоши (пресыщенности) и тронного могущества, и собственно вопрос власти, вернее, ее возможностью, когда даже шаг к мировому господству, сделанный тем или иным венценосцем, воспринимается им как величайший исторический подвиг, возносящий его (разумеется, не только в собственных глазах, но и в глазах тронугодников) на почти божественный пьедестал величия и славы. Что касается народа или народов, которым предложено будет затем поклоняться этим земным «благодетелям», то с народами никогда никто не считался и не собирается считаться, ибо не случайно же на Западе бытует относительно простолюдинов выражение «корни травы»; сколько ее ни коси, а она растет и растет, так для чего же о ней заботиться? Волей-неволей, но так и хочется воскликнуть: причудлив мир, и воистину непостижимы его зигзаги! Однако иллюзии венценосцев о благе присоединения чужих земель так и остались исторически не оправданными иллюзиями, поскольку базисное оскудение народной жизни нельзя остановить никакими масштабными приращениями; истинную причину бед следует искать в навязанной венценосцами же сути мироустройства, в том хищническом миропорядке, при котором фараоновской еще пробы стержень господства и рабства при всех мыслимых и немыслимых катаклизмах, включая и возмущения людских масс, не только не претерпевал никаких изменений, но, напротив, совершенствовал-

ся и укреплялся, не брезгуя даже вроде бы чужеродными по внешней видимости формами (в самом деле, что общего между понятием демократии и понятием диктатуры, тогда как действительность показывает, что их связывает единство отношений господства и рабства, ныне представляющих перед нами в одежде среднеобеспеченного простолюдина); но признание подобной реальности потребовало бы от коронованных особ иных мер, чем те, какие предпринимаются ими, и потому одна за одной продолжали развязываться то десятилетние, то двадцатилетние, то столетние войны, то религиозные, то междоусобные; то взоры властителей, уставших от внутренних разбирательств и сеч, вдруг устремлялись на «осквернителей гроба Господня», и Европа, как и Азия в совсем еще недавние времена, выталкивала толпы крестоносцев на Восток (по сути, убивать, грабить, наживаться); то, словно возмездие за грехи (грехи простолюдинов, как трактовалось это), накатывались моря, должные вроде бы образумить людей, и прежде всего светских и духовных пастырей, взявшихся вывести массы к благу, но, как свидетельствует история, не прекращавших даже во времена самых страшных эпидемий своих кровавых схваток за власть. История неопровержима, если она не подкрашена добрым или злым вымыслом, и события в ней, как бы они ни трактовались и ни оправдывались в угоду тронам или одному какому-либо сообществу (государству, народу, нации, самопровозгласившей себя избранной), — события и по результатам, и по сути остаются неизменными; войны и крестовые походы не принесли Западной Европе ничего, кроме еще большего обнищания и разорения, и участь обглоданной кости, постигшая в свое время Египет, Грецию, Рим, несмотря на все усилия избежать ее, мне кажется, до сих пор тяжелейшей тенью нависает над ней (если, конечно, брать историю народов, простолюдинов, тем более коренных народов и простолюдинов, а не сводить ее лишь до деяний Карлов, Людовиков и Фердинандов, иначе говоря, к правившим монархическим династиям), ведь ни одна из западноевропейских держав, претендовавших на фараоновско-цезарский жезл мирового господства, не достигла успеха; пределом достижения (достижения зла, иначе и не назовешь подобное историческое насилие) была и остается для Европы империя Карла Великого, хотя к воссозданию ее и предпринимались достаточно приближавшие к цели попытки, скажем, Наполеон с его идеей объединения Европы и походом на Россию, которая уже тогда считалась, с одной стороны, довольно лакомым, а с другой — ничейным вроде бы (славянство не в счет, ведь оно «мусор человечества»), пропадающим зазря куском пирога, или Гитлер с его теорией расового превосходства, газовыми камерами, крематориями для евреев и славян, лагерями смерти и все тем же движением на Восток, к просторам России, где, в свою очередь, отгородившись от своего народа и от мира древней кремлевской стеной, вожди победившего пролетариата вынашивали планы глобальной коммунистической (хищничество в новейшей упаковке) стратегии. В разные периоды выдвигались в ведущие и Англия как морская владычица, и Испания в век великих «географических» открытий, но, повторяюсь, как и Древнему Египту, Греции, Риму, Западной Европе вряд ли когда-либо удастся достичь утраченного «идеала» даже с нынешней, третьей по счету грандиозной попытки, в какой усердствуют лидеры ее ведущих да и неведущих держав (прямо-таки трогательное единение перед разделкой туши еще не пойманного, не убитого, а спящего пока в берлоге зверя), ваяющие из своих подопечных очередного — великокарловской, наполеоновской, гитлеровской пробы — монстра-самоубийцу. Им так ли, иначе ли придется вновь столкнуться с Россией, но не со славянством, нет, как толковалось в прошлом и продолжает толковаться официальной историографией, ибо коренные народы, лишенные самостоятельности и самобытности развития, всюду выставляются лишь пушечным мясом в противоборстве сильных мира за богатство, славу и власть (в равной степени это относится и к коренным народам Западной Европы, поскольку пушки на войне обычно стреляют с двух сторон), — нет, нет, не просто с воинами-россиянами, но с идентичным своему стержню господства и рабства, столь же могущественным, хищным и не намеренным заранее объезжать себя вторым Карфагеном. И тут, наверное, было бы ошибочным прибегать к тацитовым характеристикам германских и славянских племен, ибо исходный корень власти как у правителей Запада, так и у правителей России один — Древний Египет с его абсолютизмом фараоновского господства и абсолютизмом простолюдинского (поголовного) рабства; и не имеет значения, что к нам эта система общественных отношений, да позволительно будет так выразиться, эта вроде бы ничем не заменимая государственность пришла не напрямую

из Рима, вернее, не через Рим, как это произошло с Западной Европой, а через Византию и православие, то есть окольным путем и спустя века (что в официальной историографии ставится обычно в вину народу или народам: дескать, потому и недотепы, что не смогли вовремя распознать несказанных «благ» хищничества), — более чем пятивековое запоздание, как и византийско-православное посредничество, если и повлияло на что-либо, то разве что на особый деспотизм российской державности; древнеегипетский стержень господства и рабства, едва ступив на восточнославянские земли, в общем-то повел себя точно так же, как и всюду, куда проникало его злоносное семя, и главный постулат, или канон, хищничества — канон приращения соседних земель и народов — утвердился (еще со времен Рюриковичей и Романовых) не просто как государственная идея захвата и закабаления, но и как общенародная — благодаря знаменитому высказыванию Ломоносова о том, что могущество России будет прирастать Сибирью. Однако, как подтверждают факты истории, могущество государства никогда не входило в тождество с благополучием граждан (простолюдинов), живущих в нем, — это во-первых, а во-вторых, за любым приращением земель стоит «приращение» народов, которые либо должны полностью отказаться от своей самобытности и принять совершенно не свойственные их национальному характеру условия бытия, то есть раствориться и исчезнуть в общем котле жизни, либо взяться за оружие и пасть под ударами наседающего монстра, как произошло это на просторах открытого Колумбом континента, куда стержень господства и рабства, стиснутый в рамках обглоданных уже европейских земель, хлынул всей своей неостановимо-ненасытной мощью и откуда пытается теперь диктовать миру условия бытия.

XXI

Открытие и освоение Америки есть не что иное, как неизбежное (при хищническом мироустройстве) повторение драмы египетских фараонов — поиск новых обетованных земель и исход на них; причем повторение со всей присущей данному случаю античеловечностью, как протекало это в азиатском Присредиземноморье, куда был осуществлен первый исход, затем во время второго в Грецию, во время третьего, когда вооруженные эллины высадились на итальянском берегу, чтобы основать Рим, во время четвертого в Западной Европе, когда Карл Великий мечом и крестом сколачивал свою Христианскую империю, да и в период так называемых локальных противоборств и «приращений» соседних территорий, государств и народов, когда после распада великокарлова детища стержень господства и рабства, раздробившись и обмельчав в силовой значимости, но не ослабев в стремлении ко всегосподству, не нашел ничего лучшего, чем заняться самопожирательством в непримиримых междоусобных схватках. Такова правда истории, хотя я понимаю, насколько невозможно венценосцам с их всевозрастающим элитным окружением да и народам, чьими усилиями творилось зло и которые пользуются теперь плодами этих своих кровавых усилий, признать подобную правду и покаяться в ней. Однако события веков и драмы народов, к каким бы позднейшим или новейшим временам ни относились, нельзя удержать под тяжестью могильных плит, поскольку они, эти события и драмы, являются той составной частью нашей духовности, которая, взывая к совести, к восстановлению справедливости и добра, все еще живет в нас и подвигает к действию. Думаю, нет нужды повторять здесь известные факты истории — кем снаряжалась экспедиция Колумба и с какой целью его каравеллы с моряками и воинами отправились в плавание; Европа того времени буквально грезила богатствами Индии (так по крайней мере принято ныне объяснять тогдашнее состояние жизни в европейских правящих Дворах, хотя на деле все эти монархические Дворы, задыхавшиеся от обилия высокородных едоков с ложками, жаждали лишь одного — заполучить для себя, то есть для очередного исхода стержня господства и рабства, новые обетованные земли, и грезы по Индии были лишь символическим выражением этих тронных усилий), и, если бы Колумба постигла неудача, как постигала многих и до, и после него в подобных предприятиях, континент все равно был бы открыт и все равно (ибо хищничество есть хищничество) произошло бы все то, что произошло и может быть названо одной из кровавейших трагедий новейшей истории. Открытый Колумбом континент был настолько велик, что ни Испания, ни какая-либо еще из тогдашних западноевропейских держав не могли ни освоить, ни «прирастить» его к метрополии; на захват и дележ этого лакомого куса кинулись все,

кто мог и чувствовал себя способным претендовать на мировое господство, и что бы теперь ни говорилось и ни писалось о тех временах, но никакими даже самыми пространными и реалистическими трудами невозможно охватить весь тот объем злодеяний, какой был совершен людьми над людьми (и над стадами бизонов) из жадности господства и обретений. В официальных и неофициальных историографиях не существует понятия о двухслойных (двухъярусных) войнах, но то, что в продолжении почти двух столетий творилось на открытом Колумбом континенте, нельзя охарактеризовать иначе, чем периодом именно двухслойных (двухъярусных) войн. Поднаторевшие в междоусобиях в Старом Свете, монархии весь этот свой злоедейский братоубийственный опыт перенесли на просторы Нового Света, где, с одной стороны, продолжали биться между собой, посылая войска и поселенцев захватывать и столбить территории, а с другой — все вместе истребляли индейцев, чтобы ни теперь, ни в будущем не иметь претендентов на захваченное. Историки уверяют, и тем настойчивее, чем дальше отодвигаются от нас события тех времен, будто европейцы всего лишь принесли на континент культуру и цивилизацию, и что процесс этот происходил всюду (куда являлось хищничество, следовало бы добавить, и принималось устанавливать свой порядок), и что в конце концов Америка не могла остаться в стороне от этого исторически неизбежного процесса. Но сей тронугодный тезис, призванный оправдать как коронованных особ, развязавших в Новом Свете убийственную (двухслойную, двухъярусную) бойню, так и самовозвеличившийся на базе этого кровавого геноцида народ, готовый сегодня вновь и уже без венценосных наущений повторить свой «доблестный подвиг» ради приращения богатства, славы и власти, — тронугодный сей тезис неприемлем уже потому, что так называемая цивилизация, принесенная европейцами на континент, была, в сущности, принесена для себя, поскольку индейцы к тому времени были почти полностью истреблены, а тех, кому удалось спастись, загнали в резервации, где они и коротают отсчитанный им век, взирая из трупов на сытую и довольную жизнь своих незваных «благодетелей». Примерно то же, если брать по сути, а не по масштабам, происходило с коренным людом в азиатском Присредиземноморье, когда с берегов Нила переместился туда фараоновский стержень господства и рабства, а затем и в Греции, и на итальянских просторах, и в Западной Европе — иными словами, повсюду, где обретало пристанище древнеегипетской первородности — фараоны и рабы — мироустройство; но позднейший, пятый по счету, если брать историю в целом, и первый, если в рамках новейших времен, исход фараоновского стержня все же отличался от предшествовавших не только своей видимой, то есть внешней, грандиозностью (ведь захватывались не просто соседние обетованные земли, а обетованный континент, в десятки раз превосходивший размеры Европы), но и особой даже для хищничества целенаправленной и продуманной жестокостью. Уничтожение индейцев, которых по примеру предыдущих исходов проще было бы использовать в качестве рабской силы, поставив в положение илотов, как было осуществлено в Греции, Риме, или смердов, как поступили Рюриковичи с коренным славянским людом в России, и планомерный в течение почти двух столетий ввоз рабов из Африки (занятие, впрочем, куда более хлопотное и дорогостоящее), — меры эти никак нельзя отнести к явлениям стихийного порядка, возникшим из потребностей жизни; тут явно — и в первом, и во втором случаях — просматривается стратегия действий с далеко идущими замыслами, и хотя суть этих замыслов никогда не оглашалась да и вряд ли когда-либо будет оглашена, но — древо узнается по плодам, а власть по свершенным деяниям, и деяния в данном случае таковы, что они не оставляют сомнений в истинных ее намерениях и целях. Индейцы всюду, где являлась возможность, оказывали сопротивление европейцам, и многие деятели от истории, главным образом тронугодники, сходятся на том, что аборигены сами виноваты в своей гибели и что если бы не брались за луки и копья (заметим, против ружей и пушек), а искали бы мира, то есть согласились на рабство, другого слова и не подобрать здесь, то все обошлось бы более или менее достойно и им не пришлось бы пролить столько крови, сколько было пролито в отчаянных и бессмысленных схватках. Здесь уже, как видим, не просто обсуждается вариант возможных действий, но вина за совершившееся однозначно возлагается на потерпевших, которые, имея будто бы шанс выжить, не пожелали воспользоваться им. Подобная интерпретация событий, когда защита родной земли, крова, национальной самобытности низводится лишь до понятия непокорства, будто людской мир и в самом деле изначально уже был поделен на тех, кому вечно править, и тех, ко-

му вечно пребывать в кабале, и что всякая попытка нарушить этот миропорядок и уравниваться в правах личностей и народов должна и будет караться смертью,— подобная интерпретация не может не вызывать возражений; по сути, это позиция, издавна занимаемая вещателями тронозащитных истин, и ее нельзя назвать ни ошибочной, ни странной, она типична для фараоновского стержня господства и рабства всех времен, и если обратиться к современности, то и здесь легко можно обнаружить проявление этой традиции обмана или, вернее, двойного (подтасовочного) подхода к явлениям бытия, когда набравшие мощь Соединенные Штаты, возглавляющие семерку ведущих мировых держав (и блок НАТО как инструмент всемирного жандармского насилия), позволяют себе не просто погрозить перстом народам и странам, пытающимся самоопределиваться и выйти на самостоятельный (самобытный) путь развития, но с непогрешимостью разгневанного Творца посылают на них свою всеподавляющую карательную мощь. Наверное, следовало бы еще раз напомнить читателю этих нелегко дающихся суждений (ведь правда отдалается так же, как отдалается в ночи огонек, едва начинаешь подвигаться к нему), что я пытаюсь рассмотреть оголенную суть явлений, связанных единым пронизавшим века стержнем, и если ключ к пониманию текущих процессов жизни принято искать в истории, то вполне вероятно, что и современность может дать ключ к разгадке многих и многих судьбоносных как для коронованных особ, так и для простолюдинов (судьба судьбе рознь) тайн. Древнеегипетская система господства и рабства оставила миру скопище пирамид, которые вроде бы должны вызывать ужас перед возможным всесилим власти, но вызывают (по нашему историческому невежеству), увы, лишь зрелищный и «научный», дабы перенять секреты тронных достижений, интерес; новейшая, притягательно поименовавшая себя демократической система все того же господства и рабства, сможет (и столь же, видимо, для изумления по невежеству) оставить потомкам лишь железобетонные в нетленных облицовках небоскребы — не столько очаги или приюты жизни, сколько символы державного безрассудства. Я не признаю пророчества, но путь, избранный человечеством, вернее, навязанный ему венценосцами,— путь хищничества,— отмечен, как ни печально подобное признание, не вехами больших и малых благодеяний, но вехами зла и великих могильников как свидетелей и хранителей неостановимой в веках драмы человеческого бытия.

XXII

Точно так же, как слово «народ» представляет собой обобщенный (в пространстве и времени) лик людских сообществ, так и слово «власть» несет в себе тот же заряд обобщенности, пронизавшей века, и всякая попытка персонифицировать ее означает лишь, что есть только плод с дерева, родившийся будто бы сам по себе, из некой стихийной потребности или заданности (или с благословения неба, то есть по воле Господа), и не было ни корней, ни дерева, взрастивших и продолжающих взращивать подобные же — чуть крупнее, чуть помельче, в зависимости от среды обитания — плоды насилия, вседозволенности, барства. Правители, чьими именами названы эпохи исторического развития человечества,— это всего лишь суть плоды одного дерева, и если мы хотим познать законы, делающие ипостась власти бессмертной при любых социальных и нравственных переменах, какие происходили и происходят на планете сегодня, то нам прежде всего следует обратиться к законам хищничества, на основе которых рождалось и крепло древо власти, и изучить и познать их. Дело вроде бы непростое и нелегкое, если подходить к нему с научных или, вернее, занавученных позиций; но в плане житейском, то есть с точки зрения народного восприятия и трактования, все выглядит более чем просто и ясно, ибо хищник есть хищник, он набрасывается на жертву, пожирает ее, блаженно возлегает на отдых и затем выходит на поиск новой жертвы, и если бы цари, короли, императоры, президенты, премьеры не заигрывали с народом, как было при фараонах, не стращали его карами, не льстили бы ему похвалами за терпение, смирение, послушание и не возбуждали бы надежд на грядущее сказочное благо, олицетворением которого служат блеск их одежд и роскошь дворцов и храмов, иначе говоря, если бы не этот напускаемый обман, за которым, как за туманом или смогом, как раз и укрывается хищническая суть любой власти, а с той же распаханностью, с какой природа открывается нам во всех своих проявлениях, предстала бы и власть в натуральном облики и в сечении хищничества, то в народе не было бы сумятицы мыслей, белое принималось бы за бе-

лое, черное за черное и ни у кого даже на миг не возникло бы слепой веры во всемиростивейшие благодеяния венценосцев и их венценосного окружения. Но хищничество, воплощенное во власть, вырабатывает (как защитный вердикт к силовому, духовному, экономическому закабалению) систему обманов, уверток и ухищрений, дабы с помощью их вовремя и умело переложить вину за содеянное на народ, как случилось, к примеру, с индейцами в Америке, которые не больше не меньше оказались будто бы сами повинны в своей гибели, предпочтя меч рабским оковам, или на обстоятельства стихии как на некую Божью кару, противостоять которой не в силах ни царь, ни простолудин, тогда как народ или народы, поскольку явление это характерно для всего человеческого сообщества, привыкшие воспринимать мироустройство лишь в пределах собственной жизни, у которой есть начало и есть конец, и в пределах царствования того или иного властелина, со смертью которого, если он был непомерно кровав и жесток, должны завершаться и связывающиеся с его именем и деяниями беды, а если делал хотя бы некоторые послабления простому люду, то завершаться эти усеченные блага, по коим, впрочем, долго затем будет терзать души людей ностальгия, как по старым добрым и ушедшим в небытие временам (при таком-то князе, царе, короле, императоре, что вольно или невольно работает на укрепление трона, поощрится им и берется на вооружение), — народ, вернее, народы, привыкшие воспринимать мироустройство лишь в пределах собственной жизни коронованных особ, допускают гибельную ошибку, беря лишь плод от древа власти, а не само древо для познания сути зла, которая, повторяясь в поколениях и веках (и утвердившись в официальных историографиях), только отдаляет нас от истины, а не приближает к ней. Власть как выражение хищничества, в какие бы подновленные одежды ни облачалась и как бы ни поименовывалась — монархической, республиканской, пролетарской, то бишь диктатурой от народа, или демократической, то бишь диктатурой от капитала, — еще со времен фараонов, сумевших довести систему государственности со стержнем господства и рабства почти до полного в главных ее параметрах совершенства, — власть как выражение хищничества остается неизменной и поныне в этих своих главных параметрах; сила ее жестокости и границы ее вседозволенности и беспредела хотя и зависят в той или иной степени от личности, являющейся на данный или текущий момент (в переносе на любую эпоху) ее носителем, но сама жестокость как мера власти и оружие подавления масс — жестокость остается жестокостью по заложенной в ней еще фараонами Древнего Египта заданности, как, впрочем, и все другие атрибуты насилия и порабощения, включая и духовные, и экономические, кои с каждым новым витком «прогресса» лишь кристаллизуются в своих фундаментальных заданностях. Чтобы утвердиться в правоте этого высказывания, достаточно обратиться, с одной стороны, к фактам истории, к биографиям царей, королей, императоров и их деяниям, из описания которых как раз и состоит все официальные и неофициальные историографии, а с другой — к противоборствам и свершениям нынешних державных правителей всех рангов, то есть к состоянию современной жизни, как вся хищническая система господства и рабства предстанет перед взором во всей своей неизменной преемственности мер насилия и подавления. Эта неизменность, или статичность, стержневой сути власти, которая скрывается под общим понятием движения и развития человечества, приводит весь смысл движения и развития, в сущности, к нулевому значению, к топтанию слона на грядке во всех или почти всех сферах нашего бытия, а если точнее, к заеданию жизни одних народов другими, знающими будто бы, как следует распорядиться чужой судьбой — судьбой отдельных личностей, отдельных людских сообществ, наконец судьбой человечества, то есть как лишить народ самостоятельности и загнать его в рабство (Боже, насколько же изо всех этих деяний торчат уши властителей), и заеданию природы, если позволительно будет так выразиться (словно свиньи, подрывающие корни дуба в поисках желудей). Так выглядит мир сегодня, если повнимательней оглядеться вокруг, таким же, то есть в тех же хищнических началах истребления, пребывал и столетие, и тысячелетие, и десятки эпох и эр назад, что я как раз и называю обгладыванием — и по отношению к люду, и по отношению к природе, земле, — что порождает и порождает (возможно, всего лишь по элементарному принципу самосохранения) исходы хищничества (как паразитов с покойных людей и животных) на новые обетованные земли. Я не случайно вернулся здесь к этому явлению — явлению обгладываний и исходов, коими буквально пестрит наше историческое и текущее бытие и на толковании которых (превратном, естественно) выстраива-

вается так называемая общая динамика жизни и лестнично периодизируются достижения (?!) десятилетий, столетий, эпох, как если бы и в социальном, и в нравственном планах людское сообщество действительно продвинулось вперед, а не пребывало бы все в том же состоянии господства и рабства, в какое «великие» фараоны удосужились поставить наших предков, — нет, нет, меня тревожит не это, что очевидно порочно и из-за чего вряд ли стоит ломать копья, а другое, мимо чего обычно скользит наш взгляд, но что, если вникнуть в суть дела, играет, может быть, самую главенствующую роль во всех наших прошлых и настоящих бедах. Мы должны твердо уяснить себе, что власть в той своей стержневой (хищнической) основе, в какой дошла до нас, во-первых, представляет собой явление вненациональное, хотя и существует, как показывает история, опасность монополизации ее отдельным народом или народами, а во-вторых, как самостоятельный объект жизни, противостоящий простому люду, должна быть выделена из общей истории для изучения своей паразитической сущности. В конце концов сколько бы мы ни старались объединить людские сообщества в монолит, именуемый человечеством, совершенно очевидно, что старания эти бессмысленны, ибо ничего общего не имеют с действительностью и к тому же не безобидны, поскольку приводят лишь к ложному восприятию нелегкого и неуравновешенного нашего бытия. Еще древним философам, как свидетельствуют летописные источники, было известно, что есть древо жизни — понятие, включающее в себя всю и всяческую на земле жизнь, и есть относящиеся лишь к человеческому бытию — древо народной жизни и древо власти, соотносящиеся между собой как волки с овцами, и вывод, который вытекает из подобного (реалистического, я бы добавил) разделения, что главный вопрос жизни есть вопрос взаимоотношения между этими двумя составными человечества, как они складывались в веках, и что в результате их получил народ и что власть, — вывод этот за тысячелетия не только не потерял своего актуальнейшего значения, но, мне кажется, приобрел еще большую остроту в современном мире противоборств и противостояний народов и власти. Давайте заглянем в историческую и текущую, или сиюминутную, если хотите, суть народного и венценосного бытия. Интересы народа устойчивы и объяснимы, они вытекают из тяготения простолюдинов к добру, справедливости, к возможностям нормально трудиться, иметь домашний очаг и жить в мире и согласии с соседями; и они однозначно едины как для прошлых, так и для нынешних времен, а если предметно, то, к примеру, как для рабов Египта, Рима и для крепостных в России, включая, разумеется, и колхозное крепостничество, а если посмотреть глубже, то едины не только в потребностях, исходящих от добрых начал, но и в неудовлетворенности этих элементарных потребностей. Есть и у властителей, то есть у власти, если сказать обобщенно, свои неизменные и устойчивые в веках интересы, вытекающие из хищнических начал и направленные на укрепление тронов и увековечение господства как сути (цели и значения) тронного бытия, и интересы эти, возведенные в ранг божественной безупречности или, вернее, божественной предначертанности, от фараоновских времен и доныне стержнем пронизывают все малые и большие — монархические, республиканские, коммунистические, демократические — троны; являя собой абсолютное зло (по результатам силовых, духовных, экономических закабалений масс), они тем не менее с помощью меча и креста, то есть под угрозой физического и духовного (свинцом и зомбиоружием) умерщвления, возведены в святость и держат мир в страхе и напряжении. Думаю, вряд ли нужно доказывать, сколь правомерно высказанное здесь суждение о двух составных человеческого бытия — началах народной и началах властной жизни — и что кроется за этой возведенной именно в святость правомерностью; нищета и барство — вот тот драматизм, а если образно, та гробовая плита, эпохально придавившая нас, выбраться из-под которой у человечества почти уже не остается шансов, и я пишу об этом с горечью и болью не только за свое отечество, за славянство, униженное и поруганное в веках, но и за все те народы, которые, пройдя через столь же неописываемые по жестокости испытания рабством и крепостничеством (ведь хотя хищничество вроде бы и не имеет национальной принадлежности, но надо помнить, что оно было выпестовано в гнездах египетских фараонов и что из этих гнезд и совершило свой первый исход на обетованные земли), продолжают унижаться и ныне все той же ипостасью хищничества, облаченного в демократическую тогу и, аки оборотень, способного во всех своих превращениях творить лишь зло.

XXIII

Странно, но факт (вроде бы необъяснимый, но в то же время и вполне объяснимый, если как следует поразмыслить над ним): когда речь заходит об устойчивости интересов народной жизни, все едины во мнении, что да, они есть и что эпохальная неизменность их как раз и представляет собой ту здоровую фундаментальную основу, на которой родилось и возрастает человечество, и тут нет ни лжи, ни фальши, ибо без подобной фундаментальной основы, противостоящей напору хищничества, человечество вряд ли смогло бы существовать или хотя бы, скажем, дожить до наших времен, но как только дело доходит до определения форм власти и «помазания» властителей, то массы простолюдинов, веками притеснявшиеся тронами, вдруг словно лишаются здравомыслия и включаются в гибельный для себя диалог о плохих и хороших правителях, плохих и хороших государственных системах, словно среди известных миру систем общественного бытия были и такие, которые возрастали на началах добра и справедливости, а не только на фараоновском стержне господства и рабства. Но ведь все, что могло развиться на началах добра и справедливости, все, все было, как уже отмечалось выше, задавлено на корню хищническо-державным абсолютизмом, а всплески сопротивления, вспыхивающие среди лишенных самобытности народов и государств, как и сохранившиеся еще истоки народной доброты, способные дать ростки благонравия и привести человечество к достойному его звания и предназначения облику, — всплески эти безжалостно подвергаются участи Карфагена. Мне уже не раз приходилось ссылаться на то, что факты истории, с какой бы помпезностью ни подавались на стол жизни, всегда отдают страданиями и кровью простолюдинов; все, что вкладывается в понятия славы, победы, власти, — все обагрено человеческой кровью, и я глубоко убежден, что никаким полководческим гением, равно как и никакими захватническими идеями нельзя оправдать даже тысячной доли тех разорений и всеохватных убийств, какие приносились миру составителями захватнических идей и стратегиями победоносных поработительских походов. Я отнюдь не претендую здесь на сколько-нибудь подробное исследование тех или иных отдельно взятых исторических событий, которые, думаю, выглядели бы гораздо правдивее, если бы рассматривались через призму объединяющего их стержня господства и рабства, инициировавшего со времен пирамид лишь обглаживания и исходы, исходы и обглаживания, но только хочу подчеркнуть, что мир «помазанников» един, что не было и нет хороших и плохих правителей, хороших и плохих (от стержня господства и рабства) общественных и государственных систем бытия, а были и есть лишь интересы, связующие воедино народ, и интересы, связующие воедино венценосцев, и что все и во все времена затевавшееся государями, государствами и группами государств затевалось лишь из соображений логики хищничества, логики захватов и перезахватов богатства, славы и власти, а в итоге ради достижения трона мирового господства. Что двигало великими римлянами, когда они превращали Карфаген в пепел (деяние это, пожалуй, и есть наивысшее проявление хищничества, и на нем следует, видимо, задержать внимание)? История двух пунических войн, продолжавшихся более двух столетий, достаточно полно представлена как в описании ее очевидца и участника — древнегреческого историка Полибия (в научной историографии он известен как противник демократии и сторонник единодержавной твердой власти), так и в трудах позднейших исследователей — литераторов, историков, философов; известно также об этих войнах, что велись они за право господства в бассейне Средиземноморья, а по сути — за трон мирового господства, как этот трон представлялся тогдашним властителям, и, казалось бы, правда об этом кровавейшем противоборстве воспроизведена сполна, все расставлено по своим местам и тут вроде бы ни убавить ни прибавить, как сказал поэт в своей известнейшей «Книге про бойца». До тонкостей разобраны (главным образом, теоретиками войны) подробности сражений, проведенных Гамелькаром Барка, Ганнибалом, Сципионом, и оценены их тактические и стратегические успехи, просчеты и неудачи, в том числе и знаменитейший переход Ганнибала через Пиренеи и Альпы со сотысячным войском (почти третью часть этого войска составляли марокканские конники) и боевыми слонами, и мы имеем представление не только об этих проведенных боевых операциях, в которых проявились способности и талант полководцев, о городах, отдававшихся ими на растерзание и грабеж войску, но и о том, из кого состояло подобное войско (в основном из наемников и убийц), кто в нем сражался по убеждению, то есть за обладание

богатством, славой, властью, а кто направлялся лишь с целью насладиться уда-
 лью, захватить как можно больше рабов, пограбить, понасиловать (за толпами
 этих вооруженных людей обычно двигались скупщики добытого и награблен-
 ного), и страшно вообразить, какие испытания выпадали на долю обреченных,
 которых отдавали на произвол победителей, и каким отправляющим душу
 ядом, то есть обманно-показной, преступной лихостью, заражались и развра-
 щались поколения простолюдинов, нищих, бесправных, подававшихся на со-
 блазн разбоя и вседозволенности. Так не в этом ли и состоит вся заслуга венце-
 носцев, прививавших (ради укрепления и возвеличивания своих тронов) наро-
 дам лишь ремесло ночных татей и возводивших это ремесло до значения ратно-
 го подвига? Им, коронованным особам, известно было, чего они добивались;
 плоть от плоти фараоновского стержня господства и рабства, они не могли дей-
 ствовать иначе, чем завещано было им властителями пирамид, теперь словно
 бы подававших импульсы из своих хладно-каменных могильных обиталищ, и,
 воспетые до божественных аллилуйств как прошлыми, так и современными
 бардами светской и духовной державности (подобно Полибию, уместно будет
 заметить здесь), властители эти, эти стратеги и гении смертоносущих побед и
 смертоносущих поражений, а по сути, разорители народной жизни, продолжают
 и сегодня, спустя тысячелетия, вовлекать в свои развращающие душу ло-
 вушки бесправных, простодушных, бедствующих простолюдинов. Деяния их
 признаны великими, воинские способности — гениальными, жизнь — приме-
 ром отваги и мужества, но что до народа, втягивавшегося с двух сторон в убий-
 ственное противоборство титанов (титанов-хищников, что легко прочитывается
 в символиках даже нынешних демократических будто бы государств), — на-
 роду выражено лишь едва заметное сожаление, что, дескать, так уж случилось,
 таковыми были тогда условности жизни (как будто не таковыми они являются
 и теперь) и что неизбежность надо принимать как неизбежность, а не пытаться
 анализировать события и тем более искать зачинщиков или виновных в них.
 Но виновные были, как они есть и сегодня, были и преступления, совершавши-
 еся и продолжающие совершаться правителями с той же жестокостью, но если
 по большому счету, то дело не только или не столько в деяниях тех или иных
 личностей, ступивших на стезю насилия и подавления и уверовавших в свою бо-
 жественную или почти божественную непогрешимость, сколько (и, может
 быть, единственно) в сути хищничества, как собственно природы власти, в стер-
 жне той «подаренной» фараонами Древнего Египта человечеству системы гос-
 подства и рабства, то есть ныне хваленой всеми государственности как основы
 или части столь же хваленой цивилизации, которая как единственно будто бы
 приемлемое устройство общественного бытия, распространившись по миру
 (через обглаживания и исходы, исходы и обглаживания) и захватив господствую-
 щее положение в нем, диктует и венценосца, и народам, как было это в про-
 шлом и продолжается ныне, в век «прогресса и процветания», свои строжайшие
 устои и законы хищничества. Чтобы познать эти устои и законы, а точнее,
 главный смысл хищничества, его, можно сказать, мумифицированные (подоб-
 но прародителям-фараонам) для бессмертия каноны действий, в согласии с ко-
 торыми или по которым обращались и продолжают обращаться в рабство на-
 роды и континенты, стирались и продолжают стираться с лика Земли города,
 страны и подавляться любые проявления самобытности, думаю, не обязательно
 апеллировать к статистике совершенных людьми (венценосцами) над людьми
 (простолюдинами) злодеяний, а достаточно обратиться, скажем, к трагедии
 Карфагена, к тому ужасающему дню, когда римляне — великие римляне, как
 принято называть их в официальных историографиях, — сравнивали его с зем-
 лей вместе со стариками, женщинами, детьми, и картина, которая предстанет
 перед нами, будет настолько ясной и выразительной в своей преступной сути,
 что едва ли потребуются какие-либо еще уточнения и пояснения к ней.

XXIV

Есть, наверное, в земном бытии такое явление, как соучастие окружаю-
 щей среды, то есть природы, с душевным состоянием людей, когда ликование
 толпы соединяется с ликующими красками дня, вечера или ночи, бездонность
 неба не пугает, а манит своей нависающей синевой и звезды, как светлячки по
 обочинам, освещающие путь влюбленным, рассыпью золотых брызг лишь уси-
 ливают неизмеримую красоту и притягательность вечности, или когда в пред-
 дверии обреченности, как было с карфагенянами в канун своей страшной исто-

рической гибели, когда все в природе, как и в душах людей, словно наливается соком тревожных предчувствий, краски блекнут, обретают оттенок грусти, закат уже не закат, а зарево, кроваво опрокинутое на воды залива и корабли, устало застывшие на рейдах, обезлюдевшие причалы погружены в тишину, и все-все, что от гавани, некогда кипевшей жизнью, а теперь словно бы придавленной могильным безмолвием, простиралось к дворцам, храмам, площадям, улицам, улочкам, переулкам со столпившимися жилищами простолюдинов (мастеровых, торговцев),— все дышало той же настороженностью, что угнетала нравственно подавленных горожан, прощально, да, именно прощально (хотя и не без упования на Творца, ибо надежда умирает, только когда умирает человек) ютившихся у своих отдававших уже не теплом, а тленом домашних очагов. Под стенами города грозным воинским бивуаком стояли римские когорты, Ганнибал — слава и надежда карфагян — спешно уносил ноги с остатками своего разбитого войска, покрываясь позором перед современниками (на него будет предпринята охота по всему Средиземноморью, и только самоубийству — он примет яд — великий полководец сумеет избежать пыток и казни), а состоятельные отцы обреченного Карфагена, приняв капитуляцию, едва успевали выполнять все новые и новые требования победителей, снося драгоценности в счет все увеличивавшейся суммы откупа и залога (блеск «золотого тельца», видимо, разжигал у сокрушителей Карфагена тот самый аппетит, который, как говорится, возрастает во время еды). Даже когда все, что можно было сорвать с куполов и стен дворцов, храмов и выскрести из хранилищ и тайников, оказалось в руках римлян, они не успокоились в своей ненасытности; в знак будто бы окончательного примирения и доверия отцам города было предложено отдать в заложники детей из богатых, зажиточных семей, и, как ни тяжело было родителям расставаться со своими драгоценными чадами, они вынуждены были пойти и на эту, казалось бы, последнюю жертву, чтобы заверить Рим в искренности своего покорства, и весь день до позднего вечера юноши и девушки сводились к пристани, и прощальные объятия у трапов (трюмы, как могильные чрева, поглощали этих юных заложников) были сравнимы разве что с объятиями стрелецких жен и детей с отцами, которых уводили к плахам под мстительный петровский топор. Возможно, что человек и в самом деле не создан для восприятия реального, особенно если это реальное связано с предчувствием гибели; ведь, в сущности, и отплывавшим, и остававшимся была уготована одинаковая участь — смерть, только одним, детям, на чужбине, другим, родителям, у родных очагов, и над всем этим грядущим кровавым деянием, как над постыдным безумством, пряча его от глаз поколений, спустя лишь сутки захлопнется мрачный полог веков. История не оставила нам сколько-нибудь подробного изложения этой последней, предсмертной для карфагян ночи: при отцах города не было, как при Сципионе, своего Полибия, который запечатлел бы этот страшный (со стороны поверженных) итог двухсотлетнего противоборства единоутробных от хищничества мироустройств; но если даже предположить, что был и вел записи, то и они, как и плоть летописца, заваленная перемешанной с кровью землей, оказались бы навсегда утраченными для человечества. Римским правителям хотелось, как видно, не просто сравнять Карфаген с землей, но и, отняв у человечества память об этом злодеянии как о кровавейшем преступлении, лишить грядущие поколения как права на сочувствие, так и права на осуждение. Но я не уверен, что такая усеченность способна сегодня удовлетворить человечество. Приемлемо ли, неприемлемо ли для истории, но утраченные подробности — это еще не означает, что утрачена вся правда и что волей разума нельзя восстановить (хотя бы в стержневой сути) картину той страшной ночи, когда город, как приговоренный на смертном одре, жил только ожиданием кончины и похорон; в зале дворца, в котором прежде отцы могущественного города собирались лишь для торжеств и где все дышало роскошью и величием, а теперь выглядело обобранным и опустошенным, словно Мамай (да простится мне это не вполне, может быть, уместное, но понятное и близкое нам сравнение) с ордой, крымцами и кличем «ур ал», «бей, бери», только что побывал здесь, и следы варварского разграбления, казалось, еще отдавали звоном мечей, топотом копыт, криками, стонами, запахом немых человеческих тел, конского пота и крови, — в этом прежде торжественном, а теперь разграбленном до скелетной обнаженности зале проходил последний совет знатных, вельможных карфагян. Они сидели за столом, в центре которого, словно противоборствуя мраку, ото всех углов подступавшему к ним, горели свечи

в глиняных подставках, и в этом противоборстве света и тьмы, в котором язычки пламени, символизировавшие жизнь, изо всех сил старались одолеть тьму, то есть небытие, казалось, как раз и заключался весь трагизм собравшихся на последний совет. Мне могут возразить, что, возможно, все происходило в иных подробностях, что истина не воспроизводится воображением, а либо она есть, то есть была зафиксирована, либо ее нет, с чем надо смириться; но что делать, если я вижу перед собой, может быть, даже отчетливее, чем отцы города, подавленные своей обреченностью, не только стол, свечи и сторбленные фигуры отчаявшихся старцев, которые были скорее пособниками, чем заправилами в двухвеховом смертельном противостоянии Риму, но и их тени на стенах, застывшие в преувеличенном черном уродстве как выражение физической сути страстей наживы и власти, и дело не в том, о чем они говорили и что в тот момент представлялось им важнейшей проблемой их бытия (их беспокоило коварство Сципиона, и они мучительно искали ответ на вопрос, почему римский полководец вопреки всем существовавшим тогда традициям не отдал их город на трехдневное или пятидневное разграбление и что крылось за этой его медлительностью), а в том, о чем не говорили и даже, возможно, не догадывались, но что было основой их трагедии, было тем эшафотом, какой, втягиваясь в хищническое противоборство за власть и мировое господство, личности и народы сколачивали и продолжают сколачивать для себя, раскаиваясь в содеянном лишь тогда, когда топор палача бывает уже занесен и никто не в состоянии предотвратить рокового удара. Говорят, что каждый по деяниям удостоивается своей участи и что выражение это столь же верно по отношению к народам, человечеству, как и к отдельным личностям; ну что ж, истина выражена — умно, лаконично, просто, но я не могу согласиться с ней; не могу потому, что не от своих властных притязаний страдают народы, а от властных притязаний венценосцев, из века в век передающих друг другу эстафету фараоновского стержня господства и рабства как эстафету авантюры, в которые затем втягиваются народы, безмерно кичащиеся своим самоубийственным благородством. Ведь Карфаген (благодаря усилиям победившей стороны, усилиям тронов и тронных особ) превращен в своего рода исторический символ — символ торжества, утраченного и возмездия, какое падет на любого, будь то личность или народ, кто посмеет встать на пути и тем более рискнет вступить в противоборство с однажды вышедшим с берегов Нила на захват мира египетско-первородным абсолютизмом; да, Карфаген — это устрашающее предупреждение личностям и народам (предупреждение России, если применительно к нынешним временам, которой из столетия в столетие не только предрекают, но и готовят византийский, а по сути, карфагенский вариант гибели, втягивая ее в хищнический передел богатства, славы и власти), и жаль, что ни мы, русские люди, безропотно, да, именно безропотно или почти безропотно принужденные расплачиваться за деяния «призванных» Рюриковичей, «соборно» возведенных на престол Романовых и откровенно узурпировавших власть «вождем победившего пролетариата», — что ни мы, ни другие, национально униженные, изничтоженные или только помеченные еще на уничтожение народы и государства до сих пор не удосужились уяснить простой истины, что творящийся в мире и у нас произвол возможен лишь потому, что мы позволяем, терпим и во многом даже способствуем ему по закоренелому в нас историческому невежеству. Кто бы и как бы ни хотел обелить и возвысить римлян, вышедших победителями в Пунических войнах, и обвинить и унизить карфагенян (как позднее будут обвинены индейцы Америки в своей гибели, вступившие в противоборство с белыми пришельцами, а не смирившиеся перед ними), но не на народы следует бросать тень и тем более объединять в одно целое захватническое стремление властителей с интересами жизни простолюдинов; ведь если объективно посмотреть на деяния Рима и Карфагена (деяния западноевропейских правителей, в свое время буквально сдавших Византию туркам и устроивших этой своей сопернице тот же Карфаген, только чужими руками, или деяния нынешних заправил НАТО и США по отношению к России, а десятилетием раньше — нацеленность «вождем победившего пролетариата» на всемирную коммунизацию людских сообществ), то весь трагический итог Пунических войн, итог противоборства двух единоутробных (от фараоновского стержня господства и рабства) хищнических начал бытия предстанет перед нами совсем в иных величинах и контурах, чем способно нарисовать самое реалистическое воображение.

XXV

Ночь, сгустившаяся над обреченным Карфагеном и когортами римлян, стоящих под его стенами, была столь же тихой, темной и звездной, какой опускалась и до, и после разыгравшейся здесь исторической трагедии и опускается над развалинами теперь, погружая во мрак следы ужасающего произвола, и если бы человечество, наделенное осознанием поступков и памятью (дар, используемый людскими сообществами лишь в сотой доле для достижений желанной цели), могло бы, уподобясь природе, воздвигшей горные хребты, разомкнувшей континенты и углубившей океаны, сообразоваться единственно по законам целесообразности и гармонии в устройстве своего бытия, а подобная возможность была, пока предки наши не свернули на путь хищничества, мир людей выглядел бы сегодня столь же разнообразным и величественным в этом своем разнообразии, как выглядит перед нами природа, несущая в себе заряд первозданности красоты и вечности жизни. Иногда мне даже кажется, что величайший дар разума, данный людям, не только не используется по назначению, то есть для обретения счастья, но и дан-то лишь для самоубийственных деяний — разрушения личности, семьи, людских сообществ и окружающей среды, в которой живем и о которую, как о половую тряпку, вынесенную за порог, вытираем ноги. Далеко не новая мысль эта не является ли ключом к познанию той самой истины, которую человечество, заслонив от себя постулатом о верховенстве добра и справедливости, за тысячелетия так и не удосужилось открыть и понять, и, погружившись в насилия и разбои, словно кровавые реки, пройденные вброд, оставляет за собой века войн, коварств и злодеяний? Я не думаю, чтобы в психологии властителей и народов что-либо кардинально изменилось с тех давних времен; все так же ведутся войны за богатство, славу и власть, так же зверствуют победители, обращая в пепел непокорные, провинившиеся «карфагены», чинятся братоубийства на просторах держав, континентов, калечатся судьбы народов, государств, и преступная людская безоглядность, будто не было ни первого Карфагена, ни всех тех нашествий и крестовых походов, в которых вроде бы искалась истина жизни, но так и не была найдена, поскольку ее не было и не могло быть там, где искали и продолжают искать, то есть на остриях мечей, дулах автоматов и жерлах орудий, — преступная людская безоглядность, поощряемая с высот власти (о чем мы словно бы и не хотим знать), была и остается по сей день главным пособником коронованных и самокоронованных, если ближе к современности, особ в осуществлении их тронных замыслов. Наверное, если целенаправленно заняться поисками, то можно найти истоки этой человеческой слабости, какую властители, узрев ее в массах, может быть, в дофараоновские еще времена, используют в интересах тронов как некое тщательно оберегаемое ими тайное и действенное средство обмана, да, возможно, что целенаправленный поиск привел бы нас именно к этому истоку и приоткрыл бы еще одну завесу над тайной механизмов разращения жизни, которые, как разъедающие вирусы, некогда проникшие в организм человеческого бытия и закрепившиеся на пультах управления, истощают, обескровливают и убивают в нем жизнь, не сознавая, видимо, от опьянения властью, чем в конце концов обернется для них подобное пожирательство чужой плоти и что не так уж и много осталось необглоданных обетованных земель, на которые можно будет совершить свой очередной стержневой исход. Возможно, кто-то решит, что такой взгляд на историю неправомерен, как неправомерно все, что помечено реализмом народного восприятия и не прошло через сито научных методологий; но ведь любая методология, как уже отмечалось выше, создаваемая усилиями тронугодников, есть не больше и не меньше, как жесточайшая цензура, наряженная в колпаки и мантии ученых мужей, а если проще, доступнее — желоб, регулирующий направление и суть поисков, и совершенно не важно, что желоб этот, как всякий сток, ведет лишь к морям и океанам, способным проглотить и растворить все, что попадает в них, и не важно, что человечество при этом из века в век продолжает пребывать в историческом невежестве, — ярлык наклеен, табу наложено, и все мы вновь и вновь готовы воспринимать свою преступную безоглядность на прошлое, свое более чем откровенное пособничество венценосцам, творившим и творящим зло как битву за грядущее благо, которое в конце концов традиционно оборачивается для нас пустым звуком. Так происходит и происходит всюду, куда проникал и где обосновывался, покинув стойбище пирамид, фараоновский стержень господства и рабства; на людские сообщества словно бы невесть откуда и за какие прегрешения обру-

шивались беды, как они в очередной раз обрушились на нас, обольстившихся блеском запущенных перестроечных (мыльных) пузырей и в погоне за ними бросивших Дом на разграбление,— все эти три ипостаси первородно-египетского зла, приспособившегося внедряться в любую самобытность и ядом хищничества отравлять и убивать ее, обычно либо остаются нераспознанными (странно нераспознанными) в своих простейших, то есть самых элементарных, приемах, либо если и познаются, то лишь на той предельной черте, когда уже непосильно бывает что-либо предпринять. Конечно, можно сколько угодно спорить о тех или иных явлениях жизни и, соединяя их с сиюминутными интересами тронных особ и народов, доказывать их неизбежность и пользу в развитии общественного бытия, но, к сожалению ли, к счастью ли, кроме сиюминутных интересов, есть еще та общая мера жизни, тот многовековой итог потерь и обретений, по которому только и могут оцениваться свершенные деяния, и в этом плане расправа над Карфагеном, ставшая, с одной стороны, символом величия и могущества тронов, а с другой — символом устрашения для народов и государств, которые попытаются вновь позволить себе не по чину и чести претендовать на мировое господство или даже просто на равенство в общей семье людских сообществ,— расправа над Карфагеном, если даже рассматривать ее в сиюминутном значении, ничего не дала ни массам простолюдинов, составлявшим плоть и опору империи, ни тем более легионерам, чьими руками был преподнесен миру сей «поучительный» урок, если не считать, конечно, минут высшего победного ликования, которые, подобно искрам от костра, взлетев и погаснув, пеплом и сажей затем оседают на землю. Не знаю, как кому, но мне до боли знакомы и эта картина, и эти чувства, пережитые в толпе ликующих победителей, и вся неизмеримая суть обмана, открывшаяся потом, когда все уже было позади, и я с тем же бесправием, с каким уходил на фронт защищать землю, а по сути, беспредел стоявшей надо мной власти,— с тем же бесправием продолжал тянуть колхозно-крепостническую, то есть рабскую, лямку жизни. Разница между карфагенянами и римлянами состояла лишь в том, что одни (карфагеняне) готовились уже испытать чашу открывшегося им обмана, коим они питались в течение почти двух столетий, веря в предначертанный будто бы им успех в противостоянии Риму и способствуя, а во многом даже более чем способствуя своим рвавшимся к трону мирового господства властителям, тогда как другим (римлянам), прибывшим грабить и убивать, убивать себе подобных, еще только предстояло осознать сию горечь, когда их «месть во благо», учиненная над карфагенянами, обозначится лишь фактом истории, а они, воины Рима, добытчики его славы и могущества, не жалевшие жизнью в схватках за это казавшееся им бессмертным дело, вдруг обнаружат, что находятся в том же бесправии, в каком пребывали до похода на Карфаген, и в той же неискупной нищете, какая тысячелетиями преследовала и продолжает, как рок, преследовать простолюдинов.

XXVI

Что испытывают монархи и полководцы в минуты триумфальных свершений, вряд ли кто-либо возьмется пересказать с точностью, ибо сокровенные мысли и чувства их пребывают обычно столь же за семью замками или печатями, как они пребывают и у простолюдинов, боящихся словом правды или неосторожным порывом спугнуть готовое свалиться в руки счастье. Для Сципиона таким счастьем было сознание обретаемой им исторической славы (оставалось только схватить бежавшего Ганнибала и, как величайшего преступника, в клетке и оковах доставить в Рим); победитель карфагенян был полон величия и достоинства, как если бы не петлей удушения готовился сдавить горло поверженному городу, но совершить высшую справедливость, за которую человечество, то есть все те народы, которые числились в составе римских владений, если и смогли бы чем-либо отблагодарить его, то лишь вечной памятью о нем и преклонением перед его ратным и гражданским подвигом. Но он не огласил, не озвучил ни этих распиравших грудь чувств, ни мыслей, самовозвышавших его до роли Творца, хотя, чтобы запечатлеть для потомков, логично было бы высказать их стоявшему рядом историку; не огласил, не озвучил, думаю, не потому, что, воспитанный в лучших традициях тогдашнего высшего света, почитал скромность за достоинство, а самовосхваление — за признак дурного тона или же элементарно путался в понятиях «возвеличивание» и «самовозвеличивание»,— нет, нет, ибо нигде циничней, чем в высших светских кругах, как под-

тверждает и нынешняя действительность, не попирались и не попираются эти писанные и неписанные каноны человеческого благородства; в основе любой скрытности лежит та обличающая поступки и деяния правда, в которой ни венценосец, ни простолюдин, преступающие (под любой оправдательной крышей) черту человечности, не могут открыться людям, и такой правдой для Сципиона, как бы он ни подавлял и ни заглушал ее в себе, была предстоявшая расправа над сдавшимися на милость его и Рима карфагенянами. В конце концов если говорить о жестокости вообще, то истоки ее кроются не иначе как в этом явлении — явлении душевных противоборств, когда то, в чем человек не может открыться людям, то есть в правде, очевидной и угнетающей его (дело лишь в размерах и силе совести), оборачивается в нем потребностью залить кровь кровью, то есть болезненной или наркотической, если хотите, потребностью новых злодейств; ведь тираны в деяниях, а Сципион по сотворенному злу стоит одним из первых в их ряду, — тираны в деяниях столь же графяры, как и в душевных проявлениях, вернее, душевной трусости, подвигающей их на беспредел, и римский стратег, вошедший в историю как победитель Ганнибала. то есть всего лишь как искусный полководец, если и был чем-то озабочен в ночь перед расправой над Карфагеном, когда с другом-историком, примчавшимся из Рима полюбоваться зрелищем убийств и разорений, всматривался в бивачные костры своих победоносных когорт, то лишь ожиданием утра, когда можно будет, послав жестом руки когорты на «дело», прервать наконец цепь разъедающих душу колебаний и когда кровь и торжество мщенья, заслонив сомнения и боль, явятся в сознании мандатом на святость и непогрешимость. Взшедшая над заливом луна освещала его молодую и стройную в своем воинском атлетизме фигуру, он был при доспехах, как перед сражением, и белая тога с красными отворотами, сдвинутая на плечо и за спину, придавала облику римского стратега ту знакомую асимметричность (асимметричность в очертаниях и бликах как неповторимый символ античности), которая как тогда, так и теперь, когда прошлое предстает перед нами лишь в изваяниях и на полотнах художников, вызывает чувство некой утраченной будто бы гармонии — гармонии силы и власти, воплощенной соответственно в красоте и крепости человеческого тела и духа. Крупные складки тоги, переливом светлых и темных линий стекавшие к его ногам, хотел ли этого или не хотел Сципион, или, вернее, был ли продуман им тот театральный эффект, на какой обычно рассчитывают режиссеры и постановщики, выводя на публику обряженных ими актеров, или же действительно все сообразовалось само собой в соответствии с нормами и традициями того времени, — складки тоги, переливом светлых и темных линий стекавшие к ногам, придавали облику римского стратега ту характерную для эпохи завоевательских походов монументальность, которая, с одной стороны, должна была говорить, как говорит нам сегодня, об основательности и долгосрочности насаждавшихся всюду, куда ступала нога легионера, римских порядков, а с другой (и что тоже вызывает в нас интерес и участие) — некое обобщенное или ложное, да, именно ложное, представление о красоте и бессмертии или красоте и величии источаемой, но скорее предначертанной источать венценосцами власти. Полибий рядом с ним смотрелся как подручный палача или врач, прибывший зафиксировать клиническую смерть жертвы, и хотя предстоящее кровавое дело не было той обычной расправой над негром-ослушником, поднявшим руку на хозяина, или вельможей-заговорщиком, решившим поучаствовать в дворцовом перевороте (и что по тогдашней будничности подобных сцен могло действительно представлять лишь зрелищный интерес), но на эшафот смерти возводился город, приговоренный римскими правителями к уничтожению, и масштабность готовившегося злодеяния не могла вроде бы не насторожить или хотя бы не встревожить ее исполнителя и свидетеля, — Полибий со сдвинутой, словно в подражание римскому стратегу, на плечо и за спину тогой, казалось, был столь же величественно спокоен, как и Сципион, скрывавший душевное противоборство, и впечатление монументальности, должное вроде бы равно исходить от этих двух полномочных, как мы бы сказали сегодня, представителей Рима, воспринималось (оттого ли, что греческий историк был приземист и грешил полнотой или, возможно, стоял чуть в стороне и позади выдвинувшегося вперед победителя Ганнибала) как соотношение столпа и тени, дистанцированной от оригинала настолько, насколько обычно дистанцируется власть даже от самых преданных своих исполнителей и угодников. Они стояли молча, замкнувшись в размышлениях о предстоящем событии, перед ними как на ладони лежал город, залитый уже будто потусторонним лунным светом, улицы его бы-

ли пусты, окна наглухо зашторены, так что ни из дворцов, ни из хижин не просачивался тот живой свет жизни, который, соединя десятилетия в века, века в эпохи и эры, обычно вызывает в нас не всегда понятное, но всякий раз словно бы обладающее теплом сопричастия с вечностью (вечностью земного, человеческого бытия) чувство, значимость которого, как значимость домашнего очага, семейного уюта, общего благополучия, если бы по шкале высших ценностей пришлось определять ее, была бы каждым, повторяю, каждым и без лукавств, без подыгрываний спущенному от светских и духовных тронов мнению поставлена над всеми другими так называемыми «общечеловеческими» ценностями, кои неостановимо продолжают вырабатываться (в верхах, скажем так) и подаваться нам в скрижально-божественных или, вернее, свято-скрижальных упаковках; но Карфаген, как мертвец под белым (лунным) саваном лежавший перед Сципионом и Полибием, вызывал, а точнее, не мог не вызывать в них чувство иной сопричастности — сопричастности с тьмой и небытием, и если бы можно было хоть тогда, хоть теперь обнажить в них это чувство подавленности и опустошенности, оно однозначно сказало бы нам, что и тираны, и угодники тиранов в определенные мгновения жизни способны возвращаться к истокам утраченной человечности и что, по сути, воля каждого из нас, как и недоступная вроде бы для познания воля тиранов, не имела да и вряд ли когда-либо сможет (в условиях хищнического мироустройства) обрести свободу действий, но всегда пребывала и пребывает в зависимости: у простолюдинов — от степени монарших и государственных насилий и притеснений, у венценосцев и их угодников — от фараоновской заданности их тронного благополучия. Они еще некоторое время продолжали молча всматриваться в словно бы специально распахнутую перед ними панораму той погибельной для карфагенян ночи, которую затем хотя и со скупостью красок, но все же с достаточными для впечатлительного восприятия подробностями воспроизвел в своих исторических записках Полибий; было это уже в Риме, где греческий историк, уединившись от друзей и толпы, в тишине и при свечах, то есть чуть ли не в келье, как принято и доныне изображать летописцев древности, роясь в памяти, еще не успевшей остыть от впечатлений, облакал в вечность то, что представлялось ему, да, именно ему, поборнику абсолютистской державности, достойным внимания потомков, и если эти исторические записки его признать откровением, как, впрочем, и поступает официальная историография, хотя они являются всего лишь свидетельством очевидца, сумевшего увидеть только то, что хотелось или задано было ему увидеть, то из них можно сделать один-единственный вывод, что Сципиона и Полибия ни с какой стороны не интересовала и не затрагивала ни судьба лежавшего перед ними в саване города, ни судьба карфагенян, которым предстояло наутро принять мученическую смерть (да и могли ли стратег и историк остановить ход событий, predeterminedный хищничеством от пирамид?), а все внимание их было сосредоточено на когортах войск, которые, подступив огнями костров, словно неотвратимым удушающим ожерельем, к крепостным стенам, вот-вот, казалось, готовы были смертным узлом затянуться на горле обреченного города и горожан.

XXVII

Жестом руки Сципион подал знак, чтобы привели коней, и спустя несколько минут в сопровождении Полибия и свиты, чуть приотставшей от них (приотставшей настолько, чтобы не был слышен их разговор), съезжали по склону к войскам, пребывавшим в том веселом возбуждении, в каком люди обычно бывают либо перед началом какого-нибудь грандиозного карнавалного шествия (по римским меркам — перед началом гладиаторских боев, то есть перед тем узаконенным зрелищем убийств, интерес к которым, поддерживавшийся определенными силами в веках, продолжает с глубокой и дальновидной продуманностью разжигаться в массах и ныне нарастающим показом телебоевиков, в которых, впрочем, убийства ради выяснения силы и ловкости заменены, и не без умысла, убийствами ради обретения богатства и власти), либо за минуту перед тем, как сборище гостей будет приглашено к ломящемуся от яств и вин праздничному столу; я не случайно привел эти два сравнения, ибо они вытекают, во-первых, из самих исторических записок, которые оставил миру Полибий (разумеется, не в прямом текстовом совпадении), и, во-вторых, если бы даже не было свидетельств Полибия, а известен только сам исторический факт сих беспримерных карательных действий, проведенных войсками, то и тогда в приве-

денных сравнения вряд ли можно было бы усмотреть какую-либо неточность или преувеличение. «Чему они радуются?» — спросил Полибий, скорее обращаясь к себе, чем к Сципиону, когда, отъехав от одной ликующе встретившей их когорты, они подъезжали к другой, готовой встретить их, казалось, с еще большим ликованием. «Чему радуются?» — переспросил Сципион, придерживая коня, начавшего уже подтанцовывать под ним, словно бы вид костров и настроение легионеров передавались ему и побуждали к резвости. — Я дал им право убивать, и завтра они сполна насладятся этим своим правом». Затем добавил, что «у них нет иного выбора, чем только убивать или быть убитыми», и что «таков смысл их жизни, когда люди собираются в толпы и когда в руки им вкладывается меч». Он говорил так, будто простолюдины, загоняемые в воинские шеренги, и в самом деле не по воле венценосцев или их подручников, а по своей начинали войны, отправлялись в нашествия, захватывали, грабили и закабалили чужие страны и народы, то есть творили, как не перестают и ныне творить, беспредел, и если попытаться продолжить эту высказанную Сципионом (явно со смещенным центром тяжести, центром вины) мысль, вернее, развить ее на основе всех тех известных в истории противоборств личностей, народов, государств, которые, то затухая, то разгораясь, прокатывались через века и след от которых в той или иной степени сострадания и боли едва ли не с рождения ложится на сердце каждому человеку, отравляя нравственно (в добавление к нищете и бесправию) так называемое «брненное» наше земное бытие и озлобляя часто даже не против своих бесчинствующих правителей, повинных уже в том, что насаждали и продолжают насаждать хищничество, но против сопредельных народов и государств, поскольку-де от них исходит все зло; если на основе этих обличающих эстафетно-фараоновский державный абсолютизм фактов развить, или, точнее, проанализировать высказывание Сципиона (в котором, впрочем, не сразу определишь, чего больше, откровения или цинизма, да и что следует считать откровением, а что цинизмом?), то обнажившаяся истина окажется настолько ошеломляющей — и относительно деяний венценосцев, и относительно пособничества в этих деяниях простолюдинов, — что в нее не то чтобы трудно, но невозможно будет поверить. Уже тогда, да, уже тогда Сципион вполне мог сказать, что в природе нет другой такой особи (или ветви жизни), которая бы столь самозабвенно занималась самопожирательством (самоизничтожением), чем особь человека, наделенная вроде бы разумом, но в то же время словно бы начисто лишенная самого элементарного — инстинкта самосохранения; он мог бы сказать, исходя из своих ратных наблюдений, что любая личность, попадающая в толпу или зачисляющаяся в войска, сейчас же в той или иной мере становится частью общего (заданного) настроения, общей (заданной) взвинченности, и то, на что человек никогда не смог бы решиться в одиночку, с легкостью и даже с неким будто упоением совершает в толпе (в шеренге легионеров или просто в войсковой шеренге), убивая, грабя, насилуя и поджигая, поскольку коллективная ответственность, во-первых, исключает или почти исключает ответственность личную, и, во-вторых и главное, уже самой этой безответственностью притупляет основу основ человеческих отношений — потребность и умение сострадать ближнему; римский стратег вполне мог бы добавить, опираясь все на те же ратные да и житейские впечатления, что для тронов и особ, восседающих на них, не было и нет большего блага, чем способность толпы (воинской шеренги) к подобному возбуждению, и что если бы не сей «дар» масс проникаться безумством от вдохновляющих слов или идей и творить беспредел, у фараонов вряд ли нашлась какая-либо еще опора не только для процветания, но и для существования вообще, и века оставляли бы после себя совсем иные памятники, чем стойбища каменных пирамид. Но он сказал то, что сказал, может быть, впервые приблизившись к той истине, которая, соотносясь с действительностью как один к одному, и по сей день кажется нам не цинизмом жизни, не цинизмом реальности, в которой так ли, иначе ли всем нам приходится довольствоваться лишь произволом, бесправием и унижениями, а цинизмом недоброжелателей, готовых безразборно чернить, чернить и чернить (подобно засланному чужеземцу, действующему от корысти своих правителей) непогрешимость и святость чуждого ему народного бытия. Думаю, что за высказанные здесь соображения меня не обвинят во осовременивании истории, ибо всякое дело должно иметь смысл, ради чего оно затевается; люди испокон живут в рамках закономерностей, одни из которых являются естественными, и их нельзя ни отменить, ни изменить, и всякое противоборство с ними, равное или почти равное противоборству с самобытностью, приводит лишь

к истощению и исчезновению наций (о чем знали и чем пользовались еще фараоны Египта), другие — благосотворенными будто бы гением человечества для упорядочения жизни (в сущности же разумом коронованных особ для удовлетворения своих тронных запросов), и хотя их тоже пытаются причислить к естественным, возводя в ранг божественных предначертаний, но, оставаясь плодом венценосного разума, сеющего зло, закономерности эти, как подсказывает элементарная логика, следовало бы прежде всего вынести за черту естественности и, сняв с них налет небесной беспорочности, пересмотреть, изменить или придать забвению, дабы от них не осталось и следа в оздоровленной жизни людских сообществ. Настроение и возможности личности, то есть то сдерживающее духовное начало в человеке, которое мы называем состраданием к ближнему, как и настроение и возможности толпы, масс (воинских армий или разбойных орд), то есть та заряженность на вседозволие и произвол, которая, обретая верховенство над духом сдерживания, выходит в поводь, — это величины постоянные, что подтверждено всем ходом человеческого развития, и если, несмотря на обилие кровавейших уроков, преподнесенных за тысячелетия народам, они так и не смогли ни распознать, ни преодолеть ущербности означенной закономерности, то есть понять ее истинное предназначение (ведь природа, во-первых, не терпит бессмыслицы, а во-вторых, в ней господствуют не разрушительные, а созидательные начала), то венценосцы, которым в схватках за власть нужна прежде всего не созидательная, а разрушительная сила, открыв эту способность толпы (армейских шеренг) к подчинению и безумствам и изучив и засекретив пружины воздействия, подчинили, да, просто-напросто подчинили естественную (и данную людям, возможно, для коллективной защиты) закономерность своим тронным интересам, узаконив армии как некие будто бы стражи национальных, государственных, а по сути, тронных интересов и узаконив войны, то есть грабежи, насилия, убийства, захваты чужих земель и закабаления сопредельных народов как некую предначертанную святость, беспредел — как высший воинский подвиг, а подстрекательские к беспределу речи — как торжество идей, изрекаемых великими мудрецами тронов. Нет, нет, я далек от намерения хоть как-либо осовременить историю или опустить современность до глубин минувших веков, ибо зачем растрчивать усилия на то, что и без этих усилий являет собой целостность, соединенную неразрывной цепью закономерностей, и сколько бы столетий ни отделяло нас от той предгибельной для Карфагена ночи, когда римский стратег в сопровождении греческого историка объезжал когорты своих войск, и какими бы атрибутами древности ни отличалась та картина войскового смотра, но по стержневой сути она за века не претерпела почти никаких изменений ни по форме (прибегаю к этому выражению для краткости), ни по содержанию. Наполеон в ночь перед Бородинским сражением выезжал к войскам, чтобы сказать им, что Франция (история) не забудет их подвига, солдаты разойдутся по домам и на просторах Европы воцарятся мир и благоденствие (думают, что по итогам событий вряд ли нужно здесь что-либо комментировать); столь же безответственно, мягко говоря, витийствовал Гитлер, отправляя отборнейшие немецкие дивизии чуть ли не от Бранденбургских ворот на Восток, на захват Москвы и России, и витийствовали, как это очевидно теперь, лидеры держав, противостоявших фашизму и обещавших своим войскам и народам все тот же вечный мир и вечное благоденствие после разгрома врага; что ж, войска и народы сделали свое дело, враг был разгромлен, но вместо вечного мира и благоденствия народы получили новое и еще более непримиримое противостояние Запада и СССР (России), чему, впрочем, не следует удивляться, поскольку в борьбе за власть, за мировое господство не бывает двух или тем более нескольких рывков, в каких бы приятельских или родственных отношениях ни находились правители этих государств, но бывают только Рим и Карфаген, таков главный канон хищничества, и потому вполне закономерно, что ротозейная Россия, страна-победительница, лежит сегодня поверженной, обессиленной, поставившей себя (по предательству ли правителей, по блаженной ли доверчивости народа) в положение обложенного римлянами Карфагена. Можно привести еще более близкий к нам пример — смотр президентом США своих оснащенных новейшим вооружением войск, подготовленных к отправке в Боснию и Герцеговину с сугубо будто бы миротворческими целями (для ублажения притязаний мусульман, что в общем-то не скрывают американские лидеры и что может привести даже через десятилетия или столетия к еще более жестокому кровопролитию). Сципион, объезжавший вместе с Полибием когорты своих войск, которым наутро предстояло не штур-

мовать Карфаген, нет, а войти в него и, вырезав всех его, от малого до старого, граждан, развалить и сравнять с землей хижины, здания и дворцы,— Сципион (хотя Полибий и не приводит его призывные речи, а отделяется всего лишь общей фразой, позволяющей, однако, воспроизвести многое) был краток и афористичен в своих высказываниях; он говорил о враге человечества, жестом, с коня, указывая на мрачно притихший в своей обреченности город, о том, что это будет последнее, завершающее кровопролитие, завершающее сражение (он называл расправу над беззащитными сражением), после которого наступят мир и процветание народов, и когда, привстав на стременах, выкрикивал ударное: «Карфаген должен быть уничтожен!» — легионеры встречали эти его слова долгим и протяжным восторженным гулом, который, как грохот ошестившихся уже мечами когорт, двинувшихся на штурм, прокатывался по мертвым (при лунном свете и безлюдьи) улицам приговоренного к небытию города и навевал ужас на запершихся в домах и пребывавших в неведении карфагенян. Восторженный гул доносился и до зала дворца, где в прощальном совете при свечах сидели состоятельные отцы города, и заставлял их настороженно оборачиваться на окна.

XXVIII

Утром, когда Сципион вышел из шатра, войско его четырьмя колоннами уже начало втягиваться в город. Движению их никто не препятствовал, город, казалось, еще спал, ни у ворот, ни на крепостных стенах не было ни стражей, ни ратников; лишь несколько юрких фигур, мелькнув между зубцами стен, тут же исчезли, словно растворились под напором надвигавшегося рассвета, и тишина, восприимчивая обычно как предтеча шумного дня,— тишина утра, все еще обволакивавшая город, нарушалась лишь топотом ног вступающих на пустынные улицы римских колонн да характерным бряцанием железных лат, щитов, мечей, копий, которое придавал всему происходившему оттенок зловещего предзнаменования. Из домов, прильнув к окнам, смотрели на это парадно-ужасное зрелище карфагеняне с искаженными ужасом лицами, и лишь немногие смельчаки, а такие всегда найдутся в любой людской массе, самонадеянно полагавшие, что с ними никогда и ничего не случится, выходили к оградкам, чтобы вблизи поглазеть на бодро, в шеренгах, шествовавших легионеров. Колонны стягивались к центру, и ничто вроде бы не предвещало пока большой беды; знатные отцы города, получив от лазутчиков сообщение о движении римлян, поспешили из дворца, чтобы с дарами, присаженными на этот случай, встретить римского стратега, должного царственно, как они полагали, с присущими сану и положению достоинством вступить со свитой и войском на площадь. Одетые в черное, они плотной кучкой стояли на безлюдной площади, держа перед собой подносы с бриллиантами, золотыми и серебряными украшениями и слитками, торопя событие и опасаясь его, но площадь продолжала оставаться пустой, был слышен только гул, доносившийся с прилегавших улиц, и этот гул, и безлюдье, создававшие впечатление некоей будто полной беззащитности и оголенности (оголенности в предстоящем унижении), гул и обезлюденность заставляли отцов города лишь плотнее жаться друг к другу. Теперь трудно сказать, по замыслу ли Сципиона, из простого ли совпадения, но с первым лучом солнца раздались и первые раздирающие душу крики людей, выволоченных на улицу для убийств, и затем, как после поданного сигнала, весь город огласился одним слитым воедино предсмертным воплем. Отцы города дрогнули было, но не побежали; им некуда было бежать, стены дворца не могли защитить их, как невозможно было спастись и у родных очагов, и они, лишь только еще больше съезжившись и переглядываясь, продолжали ждать Сципиона, в то время как римский стратег вместе с подошедшим к нему греческим историком словно бы нехотя поглядывал со своего возвышения на разворачивавшуюся перед ним панораму убийств и разрушений. При свете утра он выглядел не менее величественным в своей монументальности, чем смотрелся ночью, бронзово облитый холодным лунным светом, белая тога его с красными отворотами была точно так же сдвинута на плечо и за спину, и складки ее, крупными ровными линиями спадавшие к ногам, придавали особую выразительность его по-античному складной, мускулистой фигуре. Он словно позировал, позировал векам, которые чередую рассветов и закатов должны будут пройти и пройдут перед человечеством, озаряя деяния венценосцев, великие в

момент, когда совершались, и отдающие лишь злодейством, лишь преступлением перед человечеством, когда истлевают на них их бутафорские одеяния и оголяются суть, как предсмертное для карфагенян утро озаряло его, Сципиона, кровавое из кровавейших деяние, казавшееся ему великим свершением справедливости и мести. Мы не знаем его истинных мыслей и его истинных чувств, римский стратег не оставил для истории своих откровений, как не обозначил их в своих записках и греческий историк хотя бы предположительно, хотя бы чуть приоткрыв полог над тем, что, считаясь от Бога, от Творца, а значит, и должно сеять доброе, приносило лишь зло, источая его в таких объемах, что в мире едва ли найдется прибор, которым можно измерить разлитые в века человеческие страдания; нет, Полибий не приоткрыл этот полог, хотя ему предоставлялась великолепная возможность подать пример служения не трону, а людскому сообществу (пребывающему, впрочем, и ныне, как в античные и доантичные времена, в поисках правды), — не приоткрыл потому, что, как и многие до и после него, не решился взломать властно наложенную на истинные замыслы венценосцев тронноисходную печать запрета. Да и вообще мог ли быть искренним Полибий с его переметной судьбой? Пелопонесский грек, но, возможно, пелопонесский славянин, если принять во внимание его внешний облик — голубизну глаз, профиль носа и светлые волосы, то есть присмотреться к тем характерным признакам, по которым вернее всего может угадываться национальная принадлежность, — Полибий хотя и происходил из состоятельного семейства, но не настолько родовитого, чтобы с пеленок, как говорится, быть своим в среде знатных афинских вельмож; в достаточно еще молодые годы он стал свидетелем тяжелейшего поражения греков (имеется в виду Третья Македонская война, 168 год до н. э.), когда римские легионеры, наводнив греческие города, грабили, убивали и угоняли в рабство людей только за то, что оказывались под рукой; едва ступивший тогда на стезю исторических и философских познаний Полибий воспринял успех римлян как победу сильной, хотя и олигархической, власти над великоглагольным, способным лишь на словесно-зажигательные баталии сонмвождизмом (демократия по-гречески, сдобривающаяся ныне понятием «народная», в то время, как ни в прошлом, ни теперь не имела и не имеет ничего общего с интересами и нуждами простолюдинов), написал резкий осудительный трактат, и этого оказалось достаточно, чтобы окрестить его антипатриотом и вместе с ахейскими заложниками выслать в Рим, дабы мог на себе испытать прелесть восхваляемых идеалов. Конечно, схематическое изложение той или иной жизни не дает да и не может дать целостного представления о ней; в биографии Полибия, как, впрочем, и в биографии многих схожих с ним исторических деятелей, прошедших через благосклонность и неблагосклонность предначертанной судьбы, куда больше белых пятен, чем проясненных страниц; многие исследователи его жизни считают, однозначно ссылаясь при этом на труды самого автора, что заложничество оказалось для него той благодатной средой, в которой греческий изгнанник ощутил себя (разумеется, в согласии со своими воззрениями) как щука, брошенная в реку; но ведь в тех же исторических трудах, писавшихся явно в угоду римским правителям, можно уловить и сомнения, из которых явствует, что и римский миропорядок, как и система великоглагольного греческого сонмвождизма, способного не созидать, нет, а только дробить, дробить и растаскивать по сусекам государственное могущество, воспринимался им неоднозначно и не во всех проявлениях, и эта неудовлетворенность, когда правда страшна, ложь неприемлема, а путь к истине (золотой середине, обычно кажущейся в таких случаях совершенством) чреват уступками и угодничеством, неудовлетворенность эта не могла не возвращать греческого изгнанника к исходной черте, к тем годам молодости, когда, шагнув в мир правды и великих надежд, он обрядился лишь в обольстительные одеяния этого призрачного мира, которые затем, нравственно сгорбливаясь под их тяжестью, так до конца дней и не нашел мужества сбросить с себя. В нем, возможно, как и во многих великих деятелях минувших эпох (и что, по-моему, еще более характерно для деятелей текущего столетия), жили два человека: один пытался служить правде, служба которой, кроме нищеты, горечи и гонений, не могла ничего принести ему, другой служил, условно говоря, трону, от которого имел недостаток и славу (и который, впрочем, за свои щедроты требовал не то чтобы сиюминутного, но исторического предательства интересов общенародной, общечеловеческой жизни), и сколько бы мы ни осуждали великих за подобную преступную, можно и так определить ее, раз-

двоенность, но ведь предмет не исчезает, если человек отворачивается от него; прошедший через позор чужеземной оккупации, через унижения заложничества, когда на родной земле от него отказались, как от блудного сына, через все те, если суммарно обозначить их, насилия, бесчинства, тот произвол, какой чинят и ныне победители над побежденными и из какого люди, как правило, способны вынести лишь один урок — урок приспособленчества к чужой власти, особенно если власть такова, какой обладал тогдашний Рим, а ныне обладает трехбуквие USA, принуждающее всех падать ниц перед своим могуществом, — и этот урок покорства перед силой и угодничества ей как раз и явился для Полибия главным, навсегда определившим его судьбу. Потому-то, наверное, и ночью, и теперь он не мог позволить себе встать на одной линии с римским стратегом, в каких бы дружеских отношениях ни находился с ним, а пребывал на отдалении полушага от него, если и не являя собой (в прямом смысле) тень от великого, то по крайней мере давая понять, что готов стать таковой, чтобы не потерять всех тех тронных щедрот, включая престиж, достаток, положение, славу, которые, в свою очередь, предоставляли ему право на эту роль. За спиной Сципиона, как, впрочем, и за спиной Полибия, стояли телохранители в доспехах и при щитах, готовые каждую минуту броситься на защиту своих предводителей, хотя трудно представить, кто бы мог в такой ситуации угрожать полководцу и летописцу; в рослых и мускулистых телохранителях тоже было что-то от монументальности или, если хотите, от некой античной основательности и физической красоты, повергающих и ныне в восторг наше воображение; бронзовая кожа их, обильно натертая маслами, как и начищенные до блеска щиты, латы, мечи, копья, — все, все в них отдавало атлетической изваянностью ратной силы, мужества и бессмертия. За телохранителями четверо легионеров из так называемых летучих конных когорт держали под уздцы оседланных коней для Сципиона и Полибия. Чтобы угодить другу-историку и расценить его на оценки, в каких предстоявшее событие (предстоявшее чудовищное злодеяние) должно будет шагнуть в века, то есть в свое историческое бессмертие, римский стратег распорядился подать Полибию коня той же вороной масти, что и у него, и под такой же синей, тона ночного неба со звездами, шитыми золотой нитью, и с золотым обрамлением попоной, символизировавшей, как считали в окружении Сципиона и считал сам полководец, неисчерпаемость могущества Рима. Тут следует добавить, что мир прошлого (в данном случае античный), воспринимавшийся людьми обостренно-реалистически как в духовной, так и в физической значимости, в то же время соразмерно дополнялся символической (воображенной) емкостью явлений (в отличие от нашей текущей действительности, когда под напором светских и церковных риторик реализм оказался оттесненным на задворки, а символизм, занявший почти все господствующие высоты в толкованиях бытия, уже примеряет корону единодержавия), и что бы мы ни говорили теперь об ушедших эпохах и как бы ни восхваляли нашу, божественно будто бы помеченную великими и величайшими открытиями, особенно в области вооружений (аки самоубийцы, готовящиеся к последнему ритуалу), но есть же что-то, что вызывает в нас ностальгическое восхищение, когда смотрим на изваянный быт и фигуры минувших веков, и этим что-то, что являлось сутью и выражением тогдашней жизни и что человечество удосужилось столь ротозейно порастерять в ослеплении схваток за богатство, славу, власть, — этим что-то как раз и было то гармоническое сочетание реализма и символизма в восприятии духовных и физических проявлений действительности, когда означенные величины лишь дополняли друг друга и не вступали в соперничество, чтобы занять господствующее положение. Нет, видимо, ничего странного и в том, что и меня охватывает ностальгическое восхищение, когда пишу эти строки и когда, словно бы поднимаясь из глубин веков, оживает передо мной та панорамная картина действий (сфокусированная пока лишь на Сципионе и его окружении), которая в зримом великолепии кажется величественной и непревзойденной, и я чувствую, как поддаюсь искусственно колдовского восторга, какому способны поддаваться все, греша перед совестью, людьми, историей. За коноводами, скобой провиснув к шатру, размещалась свита вельмож; ловцы успеха и славы, всегда в достатке трущиеся возле своих кумиров, они были при латах и в тогах, сдвинутых в подражание полководцу на плечо и за спину, и в этой их трафаретной (от полководца же) зафиксированности поз и одеяний проступала все та же фундаменталистская державность Рима.

XXIX

По замыслу Сципиона расправа над Карфагеном должна была проходить в три этапа: на первом — уничтожались люди, на втором — грабилось их имущество, на третьем — разрушались хижины и дворцы специально доставленными для этого стенобитными орудиями (пороками), какие обычно применялись тогда при штурме крепостей и без которых римский стратег едва ли смог бы до конца исполнить данное ему Римом поручение. С возвышения, на котором находились стратег и историк, они не могли видеть, что творилось в городе, как легионеры, рассредоточившись по кварталам, бросились выволакивать карфагенян на улицы и убивать их с той вроде бы необъяснимой жестокостью, с какой, впрочем, и ныне творится любой санкционированный беспредел, и я не знаю, что предпринял бы Сципион, окажись в центре этих расправ над беззащитным, молитвенно просившим лишь о пощаде людом, и что написал бы в своих исторических заметках Полибий, если бы вместе с когортами легионеров вошли в город и увидели, как рухнула наземь первая женщина, проткнутая копьем вместе с ребенком, которого прижимала к груди, как конвульсивно дернулось тело старика, которому только что отсекли голову, как играючи, прямо в люльках, были рассечены мечом младенцы, не успевшие даже подать голоса, и кровь, кровь, кровь, кропящая стены домов и тела легионеров, с азартом, даже с неким будто удовлетворением исполнявших свое «святое», как им казалось, вернее, как было внушено им, дело; но они не видели этой бойни, этого ада, от которого, возможно, содрогнулись бы их сердца, и пробудившаяся человечность заставила бы остановить это чудовищное (ради властных амбиций) истребление. Перед ними, стелясь от ног к водам залива, открывалась та живописнейшая в переливах форм и красок панорама действий, то есть тот поставленный режиссером от Рима (а если глубже — от мумифицированных владельцев пирамид) драматический спектакль истории, в котором, как при государственных переворотах, в захватнических походах, нашествиях или при сменах социальных формаций, не было зрителей, а были только действующие лица и исполнители, творившие и творящие беспредел, и был связующий всех дух хищничества, продвигающий и ныне сценарно загонять человечество в развратные (с ангельским макияжем) врата ада. Порывы с моря шевелили отброшенную на плечо и за спину тогу римского полководца, обращая красные отвороты в ручейки стекающей крови (крови минувших и грядущих веков, так и хочется добавить), обнаженные солнцу доспехи его — шлем, латы, меч, на который он опирался, словно Творец на свой царский посох, — отсвечивали игривыми торжествующими бликами, выражая то настроение стратега, то торжество, какое уже теперь, в начале дела, испытывал разрушитель Карфагена. Хвосты, то есть замыкающие когорты, колонн продолжали еще втягиваться в город, тогда как в центре и на окраинах кровавое действо уже вовсю набирало своей предельные обороты, отовсюду слышны были только крики, стоны, перемешавшиеся лязганьем мечей, на улицах, во дворах лежали трупы в студнях крови, люди метались, ища спасения от обезумевших легионеров, толпами устремлялись к крепостным стенам, надеясь вырваться на простор, будто что-то могло там защитить их; их нагоняли, закалывали копьями, рассекали мечами, били и добивали упавших, и, если бы не мародерство, захватившее (в этом безумстве) победоносное римское войско, едва ли кому-либо из карфагенян удалось бы прорваться сквозь подобный кровавый заслон. Но и тех, кому удавалось прорваться, ожидала не лучшая участь; Сципион предусмотрел и этот вариант: две волны конников, рассредоточенных по оголенному пространству, ожидали своего часа, когда им велено будет вступить в дело; они то соединялись в группы, то разъезжались, поворачиваясь то одной, то другой стороной к солнцу, и их щиты, мечи, латы, шлемы, копья, словно осколки зеркал, разбросанные по полю, звездно вспыхивали и гасли в лучах дня, поднимавшегося над всей этой картиной великолепия и ужаса, на которую, не отрывая от нее глаз, взирали Сципион и Полибий. За волнами конников тянулись ряды знаменитых (какими были для нас тачанки времен гражданской войны) римских колесниц; на этот раз они оснащены были не столько для боя, сколько для безразборного уничтожения людей; их колеса и остовы были оснащены обоюдоострыми торчащими секачами, так что стоило подобной колеснице вклиниться в людскую гущу, как все вокруг нее (по принципу мясорубки) превращалось в куски изрубленного, истерзанного людского мяса. Поскольку сытые кони нетерпеливы, особенно подготовленные к бою, как туловище некоего живого существа, ряды колесниц то

прогибались, то выравнивались, чтобы парадно замереть под устремлявшимися на них взглядами стратега и историка, и обоюдоострые секачи на их колесачи и остовах, еще не коснувшиеся человеческих тел и крови, как и начиненное до блеска снаряжение, — обоюдоострые секачи и снаряжение, искрясь великоримской державностью, придавали словно некую праздничность разгоравшемуся карфагенскому побоищу. Когда первые карфагеняне, скатываясь с крепостных стен, появились в поле, за ними, как за некими двуногими тварями, началась та резвая охота, которая была столь же зрелищна издали, сколь беспощадна и кровава в эпицентре, где происходило действие; люди метались, падали, заслоняясь от ударов мечей, их поднимали на копья, с гиканьем носясь с ними по полю, иных заарканивали и волокли, прищпоривая коней до бешеного галопа, а когда обреченные горожане прорвались толпой через распахнутые ворота, на них ринулись колесницы, превращая толпу в окровавленный фарш, будто справа чинилась не над безвинным, кинувшимся искать спасение людом, а с достойными лишь этой участи злодеями, которым нет и не может быть места в римском (с эстафетой от египетских фараонов) мире справедливости и добра. Ближе к полудню Сципион решил, что пора направлять стенобитные орудия в город, и когда эти грандиозные по тем временам сооружения, поставленные на колесачи, двинулись в город (их тянули четырех- и шестипарные упряжки лошадей), предложил Полибию проехать к центру событий, чтобы друг-историк мог увидеть в «деле» тех воинов — непобедимых и славных легионеров, — которым он, римский полководец, предоставил безграничное «право» мучить, терзать, убивать безоружных и безвинных людей. Они спустились с возвышения той же тропой, какой спустились ночью к огням когорты, и двинулись к распахнутым воротам города, из которых легионеры выводили им навстречу саженных персон, схваченных на площади перед дворцом, ограбленных и связанных между собой, как вяжут рабов, веревками; черная одежда на них была изодрана и свисала ключьями на сочащихся кровью телах, а лица отделаны, как мы бы сказали теперь, так, что трудно было различить, кто из них был кто. Их подвели ко рву, к которому подъехали и Сципион с Полибием (позднее историк заметит в своих записках, что все это было не случайно), и, едва кони стратега и историка остановились, избитые и плененные отцы города пали ниц перед победителем; надеясь этой предоставившейся последней возможностью вымолить для себя пощаду, они потянулись было сказать что-то Сципиону, но он подал знак, и отцов города, сброшенных в ров, начали засыпать землей. Произошло все это настолько быстро, что не успел греческий историк как следует осмыслить, для чего живьем закапывают людей, как из земли торчали уже только их в кровь разбитые головы, на которые, как косилка на травы, была пущена колесница, чтобы пресрезать и до конца изувечить их. Несчастные кричали страшным предсмертным криком, кони, тащившие колесницу, шаркались и от крика, и от этих окровавленных голов; вслед за колесницей только отлетали расколотые черепа да размазывались мозги по рыхлой, не притоптанной еще ни копытами, ни ногами легионеров земле, и во все время этого безумного действия Сципион позволил себе только раз отвернуться, когда было уже, наверное, невмогуту, и затем опять с холодной на лице маской следил за ходом происшедшего.

XXX

Через три дня приговор Рима был исполнен — Карфагена не стало; впервые в истории наказанию через убийства и разрушения подвергся город, объявленный преступным на том лишь основании, что в схватках за мировое господство, за трон земного Творца не существует понятий пощады или помилования, а есть только либо торжество жизни (торжество сильного), либо торжество смерти (неизбежная участь слабого), и хотели или не хотели римские олигархические правители, держатели (на том этапе развития) эстафеты фараоновского стержня господства и рабства, эстафеты повсеместно насаждавшегося хищнического мироустройства, столь ныне усовершенствованного в своей мертвой (с демократическим макияжем на лице) хватке, что человеческой порядочности и доброте уже не остается места даже на шестке крестьянской избы, — хотели или не хотели того римские олигархические правители, но они подали человечеству поучительный пример кары за посягательство на фараоновское право богоизбранных личностей и народов безраздельно владеть и управлять миром; над простолюдинами всех рас (и утверждение это неоспоримо, ибо за

ним стоят не только факты истории, но и живо говорящие факты текущей действительности) был повешен палаческий топор послушания, готовый пасть на любого, будь то личность или народ, кто осмелится возомнить, что и он наделен теми же правами на жизнь, как и личности и народы, уверовавшие в свою самопровозглашенную богоизбранность, и хотя топор вроде бы незрим, неосязуем, неосезаем (да и мало ли что остается незамеченным за тяготой повседневных буден!), чувство угнетенности, несвободы, подавленности, чувство некоего надвигающегося или, вернее, постоянно подстерегающего нас насилия (насилия над возможным, да, именно возможным проявлением человечности) чуть ли не с пеленок начинает сопровождать и преследовать каждого простолюдина, как сопровождает каждую начальственную персону, не говоря уже о величинах тронных и околотронных, чувство собственного превосходства над серым, усредненным простонародьем, а по сути, чувство некоей (в согласии с масштабом столоначалия) богоизбранности, а значит, и права на вседозволенность и произвол, на месть и кару за проявление своеволия или малейшего непослушания канонам свято узаконенного на земле хищнического миропорядка. Все совершавшиеся в веках (после преподнесенного Римом примера) большие и малые карфагены, когда стирались с лика земли не только ослушники-города, но и ослушники-народы, которым национальную историю, национальную культуру, национальную самобытность (что особенно характерно для нас, для восточного славянства) подменяли чужеродной, способной лишь растлевать и умерщвлять человеческое достоинство духовностью (ибо сказано: закабалив душу, закабалеешь плоть), — все-все затевавшие в веках схватки за богатство, славу и власть, за трон мирового господства заканчивались не наказанием преступных правителей, поднимавших массы на священную и последнюю будто бы битву за всеобщее грядущее благоденствие, но наказанием безвинных, обманутых, оглушенных ливнем посулов народов, как это произошло с римлянами и карфагенянами, втянутыми в кровавое противостояние, происходило до и после них и происходит теперь из одного лишь простого нашего исторического невежества и рогозейства. Ганнибал, давший в Храме Богов перед умирающим отцом Гамилькаром Барки священную, как утверждают историки, клятву отомстить Риму (за неудачи отца, разумеется) и разрушить его, — Ганнибал, заряженный словами этой клятвы, исполнение которой могло бы принести ему мировое господство, а разбогатевшим на торговле и работорговле карфагенянам позволило бы безраздельно — олигархически — править народами подрежимных средиземноморских стран (он уже видел себя воссевшим на этот заветный престол, когда после Канн подступил к стенам Вечного Города и когда только нерешительность, столь же свойственная авантюрным личностям, как и риск, в какой они очертя голову кидаются, надеясь на быстрый успех, только нерешительность, странно вдруг овладевшая им, заставила его тогда снять осаду и отступить от города); Ганнибал, этот величайший, если следовать официальной историографической версии, полководец, так до конца жизни и не простивший себе роковой каннской оплошности, или, точнее, каннского промедления, когда, самонадеянно отклонив доводы старшин марокканских конников, предложивших, не теряя ни часа, начать преследование разбитых римских войск и, ворвавшись на их плечах в Рим, разом покончить дело, — когда, самонадеянно отклонив доводы старшин (он всего-то на сутки задержался в Каннах, дав своим воинам отдохнуть после сражения и труднейшего перехода через Альпы), упустил не только возможность застать римлян врасплох и захватить город, но упустил стратегическую инициативу во всей столь успешно начавшейся для него и оказавшейся затем пагубно-затяжной военной кампании; обманув теперь посланный в погоню за ним отряд легионеров нехитрой уловкой (он свернул в пески и, пропустив погоню вперед себя, беспрепятственно затем спустился к морю), разбитый наголову карфагенский полководец — легенда веков — скрытно, днем хоронясь в заливах под скалами, а по ночам налегая на весла, однако, не просто уносил ноги, как принято говорить о подобных беглецах, но тлел новой надеждой поднять сопредельных правителей, а вместе с ними и их народы на неумный в державных притязаниях Рим (будто притязания Карфагена, теперь уже стертого с лица земли, и притязания самого Ганнибала чем-то отличались от римских), так что, даже побежденный, Ганнибал оставался Ганнибалом, и принудительную смерть его (он выпил яд, как уже упоминалось выше) вряд ли можно считать историческим наказанием или карой народов. Римские правители добивались всего лишь, чтобы не только физически, то есть фактом разрушения города и убиением его жителей, но и духовно (нравст-

венно, политически, если хотите), покончить с притязаниями на господство карфагенян и чтобы никаким иным правителям и народам и в голову не приходило покушаться на священное единовластие Рима. Охранитель же этого единовластия римский стратег Сципион, с блеском, как он полагал, завершивший свое чудовищное злодеяние, вместе с историком Полибием, охраной и свитой, бывшей при нем (что, впрочем, характерно и для нынешних явных и скрытых державных правителей), с мостика флагманского корабля бросал последний взгляд на палачески убиенный им город. Бивачный лагерь под стенами был уже пуст, когорты покинули его, преследуемые запахом разлагавшихся трупов, валявшихся вокруг крепостных стен; превращенные в некие обезображенные куски мяса трупы лежали на улицах, под завалами домов (то там, то тут торчали из-под завалов окровавленные ноги, руки, разрубленные туловища и размозженные головы), их не предавали земле, не стаскивали в общие могилы, они пухли и разлагались под лучами знойного солнца, и исходивший от них густой смрадный дух пугал даже самых отъявленных мародеров. Часть легионеров была уже погружена на корабли, другая, ожидавшая прибытия судов из Рима, разбившись на отряды, кинулась опустошать побережье. Сципион не препятствовал им, разложение войска не страшило его; никогда не изменявший привычке отождествлять себя с могуществом Рима, он и на мостике флагманского корабля стоял в той же монументальной, как на пьедестале, позе, будто перед ним лежали не развалины Карфагена, отдававшие трупным духом (дух этот то развевался, то вновь нагонялся и нависал над заливом), но по меньшей мере текла вечность, поделенная не на часы, дни, годы, а на столетия, эпохи, эры с не меркнущим в них величием Рима, повергающего, как повергнутый Карфаген, всех «врагов» будущей священной империи. Никто не читал, разумеется, ни его чувств, ни мыслей, унесенных им в вечную тишину могилы; ничего или почти ничего не сказал о них и Полибий, всего лишь на шаг (в эти минуты молчаливого душевного торжества) отстоявший от бессмертного полководца, ибо только кажется, что сокровенное в человеке может увековечиваться через риторику слов; ведь любое торжество есть только оборотная сторона трагедии, совершенной победителем над побежденным (ограбленным, униженным, поруганным, обращенным в рабство или убиенным), и точно так же, как во время торжеств не принято оглашать правду (по принципу: победитель всегда прав), которая могла бы нарушить эти торжества и обратить их в суд над преступностью,— в истории, изложенной как торжество монархических личностей, их замыслов и свершений на благо и только на благо человечества, не принято или, вернее, тронно запрещено под видом некой неослушной святости приоткрывать или даже просто прикасаться к обратной, то есть истинной, стороне любых отгремевших исторических событий. Но поза — изваянная ли, воссозданная ли пером или кистью художника, — поза, в какой Сципион смотрел на убиенный им Карфаген, а затем на Рим, вышедший встретить своего кумира-победителя (пристань и все, что прилегало к ней, было забито ликующим людом), хотя и неполно, но все же позволяет прикоснуться к тому источнику всех наших бед и торжеств (ибо нет одного без другого, когда нарушается естественное течение жизни вклинивающимся в нее фараоновским стержнем господства и рабства), каким является душа человека, если материализовать сказанное, вырабатывающая и возводящая в святость, увы, не законы добронравия, но законы хищнического бытия.

(Продолжение следует.)



Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

Непогибшая жизнь

РАССКАЗЫ

С ГОРЫ

Удивительно воздействие группового отдыха вдали от реальной, повседневной жизни, от дома и родственников. Вся тяжесть обыденности как-то исчезает вкупе с проблемой, где взять денег: ты устроен, ты здесь на срок — на неделю, на время отпуска и т. д.

Тут и подстерегает человека иллюзия, что так и должно быть, от завтрака к обеду, от ужина к ночи, и одна забота — выглядеть все лучше и лучше, и уже находится кто-нибудь, кто оценит, восхитится, а отсюда недалеко и до восхищения тем, кто восхитился.

Мы наблюдали — мы, живущие напротив их большого дома отдыха, — эту женщину, которая нам показалась отталкивающе вульгарной и именно что бросалась в глаза.

Она много хохотала, отправляясь, скажем, на автобусе в компании мужчин своего рабочего дома отдыха куда-то на базар за фруктами или к местным за банкой их вина — как мы все делали. Она во главе своей стаи, и вот вам вид: коротковато острижена, какие-то парикмахерские пружинки, дешевая завивка, мертвые волосы после свежесделанной химии, далее: выщипанные и выкрашенные сине-черной краской бровки, рот намазанный, разумеется, но тоже как-то дешево. Вся красота, как говорится, из аптеки рупь двадцать баночка. Короткая юбка, босоножки самого дешевого и пошлого вида, но с покушениями на моду, это слова прошлого века, довольно-таки точные: с поползновениями быть, как все, не отстать. Она покушалась, бедная бабенка, на счастье, хотела вкусить, оторвать себе клочок настоящего и той, недоступной ей жизни, которую они все видели в телесериалах.

Итак, море, солнце, а у нее модные босоножки, крутая завивка, бровки, черные очки, и тут же (внимание!) толпа восхищенных самцов, с ними она едет на базар.

Мужская сторона, как это бывает на собачьих свадьбах, разношерстная, четыре особи, один высокий, во всем праздничном, в сером костюме по такой жаре, то есть надел самое лучшее, далее один дядечка из племени пузатых в простой майке, один молодой ни к селу ни к городу с длинными волосами и некто маленький ни при чем позади, штаны пузырем, видно, с надеждой выпить по такому случаю.

Она, эта всеобщая Кармен, хохочет, но не грубо, как можно предположить, не залиvisto с подвизгом, на манер пьяной веселой бабенки, которая зовет и зовет всех кого ни попадя, всю округу, ибо смех есть их призывный вой. Эта же хохочет коротко и приглушенно, не слишком явно, не двадцать же человек собирать, и так многовато уже. А мужчина в сером костюме идет с ней голова в голову, первым в этой своре, серьезный голодный самец при параде, с самыми жесткими намерениями по поводу остальной стаи.

Серьезность вообще более значима и весит много больше, нежели раскованность и свобода, легкость и веселье. Серьезность правит бал и тут, как везде; и серому так и приклеивается кличка Первый дядечка.

Кармен и Первый дядечка затем всюду мелькают вместе, остальная собачья свадьба пропала, провалилась сквозь землю. Первый дядечка наконец растался с серым костюмом и ходит в серьезных серых шортах, кепке и майке, купленных здесь, видимо, это она ему выбрала, они уже семейники (так называют незаконные пары в лагерных зонах, это те, кто ведет общее хозяйство).

Семейники Кармен и Первый ходят уже спокойно, она не хохочет больше, он носит ее сумочку, они как на работу идут в столовую, серьезно на пляж, как по делу едут в автобусе на рынок, это всегда тесный автобус, они тесно стоят, прижавшись друг к другу в давке, она снизу (маленькая даже на каблуках) взглядывает на него, но достигает глазами только его носа (это видно), в глаза ему не смотрит. Первый признак, что она влюблена, внимание. Он вообще глядит поверх голов, высокий дядечка, оберегающий свою маленькую самку в толпе, и это так становится явно, что эти двое любят друг друга и отделены ото всех; и толпа их тоже как бы отбраковывает, отшатывается, даже в общей свалке они какие-то обреченные, не свои.

Да, это с ними произошло, самое большое несчастье. Печаль светится в их глазах, чуть ли не слезы стоят.

Причем за отчетное время она, Кармен, как-то поутихнув, приобрела некий золотой ореол (то ли юг повлиял, загар). Волосенки выцвели, распрямились слегка, легли белой волной, раз. Второе, что кожа потемнела, глаза посветлели и просияли. Стройенькая, ладная, не хуже никакой топ-модели, наша Кармен вся светилась любовью, жалостью, печалью, а Первый дядечка как раз совсем не изменился, хотя тоже загорел.

Но загар на рабочей кляче, на мужчине, который вечно все тянет, весь мир, — этот загар не меняет ничего. Зимой работяга выцветает, летом чернеет, все.

Но и на нем уже была эта печать страдания, прощания, тоски, которая сопровождает любовь.

Как бы летя с высокой горы, человек сжимает губы и каменеет, сощурены глаза, вся воля направлена на последний толчок о подножие — но не остаться в живых, нет, тут об этом не идет речь, а речь идет о приближении горя, и тут человек одинок. Рядом мчится его любовь, и она должна растаять в другом направлении, сейчас пути разойдутся. Дело не в личной смерти, не о том идет речь, дело в вечной разлуке.

Они еще топчутся, вцепившись друг в друга, на танцах, у него на локте висит ее сумочка, они лежат последние дни у моря, но не где все, где лежаки и зонты, а дальше, пара уходит вдаль, там никого нет, и скоро и они растают в золотом, слепящем свете, исчезнут: новый заезд в доме отдыха.

Их уже нет, на пляже бестолково топчутся новые белые тела, крикливые, ничьи, сами по себе, эгоистические свинюшки, рыла, нашей чудесной пары тут нет, Кармен, золотая блондинка, и ее верный муж, Первый дядечка, высокий, жилистый, черный, — они канули в вечность, летят где-то в разных самолетах домой, в свои места, к своим детям и супругам, в зиму, снег и труд.

Может, Кармен будет бегать на почту до востребования с паспортом, а Первый дядечка вызовет ее на переговорный пункт, и там, по телефону, их души снова сольются, они заплачут вместе через тысячи километров над своей судьбой и будут что-то кричать ровно десять минут, сколько он заказал и оплатил, как тогда, летом, когда они были вместе ровно двадцать четыре дня, обманутые иллюзией отдыха, вечным светом рая, соблазненные и покинутые.

ХЭППИ-ЭНД

Так называемый хэппи-энд жизни наступил у пенсионерки, молодой пенсионерки, причем, когда ей буквально с неба упало наследство от престарелой тети, именно что с неба — эта молодая пенсионерка не ухаживала за теткой, в

больницу ездила только однажды по звонку соседей (тетка, видно, оставила им телефон на всякий случай), и то ей врач сказала, что никто тут не нужен и ей опять-таки позвонят: впечатление от свидания было такое, что тетка никого не узнавала и вышла, как сирена скорой помощи, будоражила больных. Речь шла о каких-то сутках.

И молодой пенсионерке действительно позвонили, что такая-то скончалась, и спросили, будут ли родственники востребовать труп.

Наверно, это уже вошло в практику, если они так спрашивали, времена были тяжелые, середина девяностых годов двадцатого века, т. е. все проблемы, как хоронить, обострились до неузнаваемости.

Пенсионерка Полина ответила, что пока не знает.

Опереться ей было не на кого в материальном смысле, денег таких не водилось, но Полина все-таки поехала опять в далекий городок N, час на электричке и потом автобусом.

Поехала она, движимая здравым смыслом, насчет наследства.

Одно дело, что нет денег на похороны, а совершенно другое, что отдавать псу под хвост семейное добро не хочется, и Полина с помощью милиции вскрыла квартиру якобы для поисков паспорта для похорон и оформления и т. д.

Кому какое дело, где и как будет погребен человек, это дело семьи. Хоть в мешке, хоть в чистом поле, а Энгельса вообще развеяли по воздуху.

У тетки не было ни единой родственной души на свете, это Полина твердо знала еще от своей матери. Кто был, все давно убралось, те поколения, муж даже погиб и так далее, но и Полина всю свою жизнь не считала тетку родней, так как считала своей семьей только сына, и то не всегда (бывало, по месяцам не разговаривали).

А своего собственного мужа Полина ненавидела давно, с той его истории, с поездки в санаторий. Муж приехал тогда и после двухнедельных колебаний заразил свою жену Полину нехорошей болезнью, от чего Полина долго плакала, лечилась и т. д. — много чего было, короче говоря, ни самому посмотреть, ни другим показать, стыдно.

Муж причем опомнился и начал возражать, даже посмел клепать на Полину, что это она его заразила, и в конце концов сам в это поверил.

Короче, одни слезы, с семьей было полное не то, сын женился давно, ушел к жене, прописался, жена попалась базарная, так что он разика два приходил якобы обратно жить (куда? Двухкомнатная квартира, Семен там, Полина тут, а сыну под сорок, и он что, с папой будет спать или с мамой — давно все переставили, разошлись по разным комнатам и лишнюю койку выкинули).

Вадик ночевал, да еще с претензиями, что ему больше некуда идти, последнее прибежище, положили сыночка на полу у отца на матрасе.

Полина любила только внука, виделись по праздникам, иногда его привозили с ночевкой, Полина играла с ним в карты, а дед — в шахматы, Полина клала внука на специальную детскую раскладушечку, читала ему сказки, любовалась им, покуда однажды сын с семьей не вселился к родителям под предлогом протечки, т. е. там у них лопнула вверху горячая труба у соседей и лило двое суток, так как те верхние соседи съехали куда-то на выходные, а слесарей якобы было не найти в те же выходные, а милиция чужую верхнюю квартиру без санкции прокурора не вскрывала, так что лило и лило.

Сын в несчастном состоянии привез свою эту толстозадую Аллу и Николку, а сам дни и ночи сушил, разгребал, ремонтировал, а Алена с Николой спали на раскладушках, занятых у соседей. Ужас.

И маленький Никола, краса очей и зеница ока бабушки, однажды так равнодушно ответил, когда Полина попросила принести стакан воды запить лекарство, он ответил: «У тебя что, ног нет?» — восьмилетний паценок и сын своей матери. Полина не заплакала, еще чего, не подала виду, у нее было слишком высокое давление от всех перипетий, поэтому она слезла со своего дивана-кровати и пошла опухшими ногами в халатике, гордая. А Николка смотрел с мамашей сериал, не хотел отвратиться, понятно.

Поэтому с течением времени Полина начала подумывать об уходе, как-то уйти от обстоятельств. Когда муж вышел на пенсию, стало совсем невмоготу, у

него всегда был громкий голос, как выражалась Полина, «опять раскрыл свой рот и хайло». И ежедневно одно-два события в доме сопровождались грубыми криками, в результате чего слово «трипперщик» падало в ответ и вызывало в ответ непечатные выражения бывшего венерического больного, изменника и клеветника Семена — он и в диспансере изобразил, что его заразила жена.

Со стороны это могло выглядеть комедией, черной комедией и еще чем-то таким, если бы кто записал эти слова и выражения и ежедневные крики, но супругам приходилось туго, и ему, и ей. Трясаясь после скандалов, измученные, с непролитыми слезами, они разбредались по своим комнатам и принимались лечиться, а Полина еще звонила своей бывшей подруге по институту, которая отличалась редкой добротой и терпением, но зато сама, в свою очередь, звонила Полине и клепала ей на свою дочь; такая как бы касса взаимопомощи.

Но Полина со скукой слушала всхлипы подруги Мариночки, даже относилась трубку подальше от уха, когда наступал Мариночкин ответный ход.

Полине — вот что самое главное — наскучили люди.

Раньше она была способна на дружбу, ездила в гости к институтским девчонкам на юбилеи, к бабам из их бюро, даже много лет по воскресеньям они все дружной толпой ходили в бассейн по бесплатным абонементам, а потом с удовольствием обсуждали жизнь подруг по телефону.

Но все рухнуло, когда у Полины произошла та самая болезнь, после которой она стала необычайно брезглива к людям, к женщинам и мужчинам, к молодежи в бассейне, избегала скоплений, возненавидела семейные праздники (Новый год, к примеру): тратишь столько сил, выкладываешься, деньги, тяжести, беготня, приходит сын с женой и ребенком, жрут, пьют, оставляют Николку ночевать и едут в гости с отдельной большой сумкой подарков, а бабушке достаются сувенирчики и гора посуды.

Раньше она о чем-то мечтала, что-то купить, платье, что-то сшить, а теперь никаких таких планов не осталось, ночами Полина металась среди своих мыслей как осажденная, искала выход и не могла найти — разве что лечь в чистом поле зимой и заснуть, как одна мать погибшего ребенка сделала, нашли только весной, а как осудишь?

И Николка, чудо природы с огромными ресницами, нежный, привязчивый ребенок, раньше любивший бабу и деду одинаково (трипперный даже одевался раз в год Дедом Морозом), причем Полина сомневалась, не заразит ли Семен ребенка своими поцелуями, и так неоднократно и говорила Семену вскользь, не заботясь о гостях, Семен не смел возражать, но в кухне мог и кипятком замахнуться, только Полино бесстрашие спасало (она буквально искала смерти, перла на рожон, молодая еще была) — так вот, Николка вырос, огрубел, уже речь не шла ни о каком стакане воды, мальчишка у стариков больше не оставался, ему было скучно с ними — или Алена восстановила, или краем уха он уловил шипение между бабой и дедой... Дети — судьи, внуки — прокуроры.

Так что Николку уже трудно было любить, усишки пробивались ранние, и голос стал как бы простуженный, известные дела, а с родными говорил через силу, еле общался.

И к тому моменту, когда Полина никого не любила и жила впустую, грянуло это событие.

Когда ей последний раз позвонили из больницы, Полина стала размышлять, что делать, не говоря причем никому ни слова, ни Трипперу, ни сыну, которого это тоже не касалось, ни тем более этой его жене, толстой Алле, которая бы с охотой потравила обоих, и Семена, и Полину, чтобы только завладеть их квартирой, а то ей было обидно, что у ее мужа ничего нет, пришел на готовое.

На этом пункте, кстати, Семен и Полина в первый раз за десять лет нашли общий язык: когда сын как-то пришел, остался специально ужинать и за едой, не подавившись, забормотал что-то о завещании, что лучше дарственную.

Семен с Полиной одинаково растревожились, Семен покраснел и положил делу конец словами «умру, умрем, а на это есть закон после нас».

Сын аргументировал свои слова цифрами, сколько берет за оформление — «в случае ЧЕГО».

— В случае ЧЕГО? — бешено спросил отец, а мать сказала, что это бес- тактно, ждать чьей-то ЧЕГО, отец вообще, смотри, давление подскочило, да- вай, Сеня, померяю тебе, а ты мне.

И они тут же дружно померили друг другу давление, с заботой и тревогой, и вместе приняли таблетки, а сыну не сказали на дорожку ни слова прощения.

И даже несколько дней в доме было тихо, но потом опять все поехало по- старому, Семен разорался на Полину, что это-де она не захлопнула на ночь хо- лодильник.

Потом пришлось вызвать на дом мастера, потому что никакая захлопнутая дверца не помогла, мотор приказал долго жить, но Семен не стал платить прин- ципиально и в присутствии мастера «раскрыл рот и хайло», как уже было ска- зано, обвинил Полину, что она сломала вещь.

Ведь у него было высшее техническое образование и диссертация, как он мог не понять, что от дверцы такие поломки мотора не возникают, но он и за свет за этот месяц отказался давать половину денег, мотивируя это тем, что хо- лодильник всю ночь морозил кухню из-за нее.

Полина начала всеерьез подумывать, а не соскочил ли Семен с разума, но это просто он стал мелочным до омерзения, ловил ее после случая с холодиль- ником на пережоге электроэнергии, что она дольше смотрит свой телевизор, не гасит за собой свет и т. д. Полина скандалила с ним как могла, но когда шла платить по счетам, то платила за свет одна. Это была его первая большая по- беда после триппера.

То есть каждый раз, когда Полина отправлялась платить за квартиру, Се- мен недовольно орал — начинал за сутки до события, готовясь не дать ни ко- пейки вообще.

Полина в течение всей своей жизни зарабатывала больше Семена, вкалы- вая на закрытом предприятии как военный чин по телефонному оборудованию, а Семен околачивал груши в нищем НИИ, будучи даже кандидатом каких-то инженерных наук, но в неприбыльной области сельского хозяйства.

Он привык, что она все время трясет мощной, и буянил, чтобы восстано- вить статус-кво, утерянное им после событий в санатории, когда Полина стала питаться отдельно, а Семен в связи с этим начал потаскивать из общего холо- дильника, приговаривая «что тут у тетки есть».

Так смешно — прямо для кинокомедии — развивались события, и Полина много раз угрожала разводом, но удерживал стыд перед сыном, который тер- пел от своей жены те же самые попреки и те же самые приглашения в суд, как Полина догадывалась.

Скучная, тяжелая была жизнь, хотя если Полину скашивали грипп или сердце, Семен, крича и ругаясь, шел в аптеку и кипятил чайник, даже прибирал- ся худо-бедно в прихожей перед приходом врача.

А кричал он и ругался по поводу того, что бывал страшно оскорблен, именно обижен Полининым, к примеру, гриппом: надо закаляться, твердил он и открывал настежь свою большую форточку и свою дверь в коридор, так что больная тащилась в места общего пользования, как Суворов через Альпы, т. е. в пальто и сапогах.

Что касается питания Полины в период гриппа, то тут этот комедийный персонаж имел на вооружении метод «холод, голод и покой», т. е. кричал, что больной человек должен находиться в условиях туберкулезного санатория, с открытым окном в любой мороз, а питаться раз в сутки жидкой кашей на воде, а в качестве покоя он имел в виду покой именно окружающих, чтобы больной не рыпался и ничего не требовал ни у кого, и на все просьбы отвечал «закрой сифон и поддувало», а Полина все ему тут же выкладывала, что она думает, и клялась, что ежели ему придется так вот лежать, то холод, голод и покой она ему обеспечит, да!

Так что крик стоял и по этому вопросу, тут же Мариночка появлялась в те- лефонной трубке, и Полина все ей рассказывала громко и выразительно, пре- рываемая стуком и треском в аппарате Семена, который стеснялся противоре- чить, но с упорством зайца бил по рычажку.

В благодарность за что Полина выслушивала и Маринины бредни о ее престарелой дочери, которая сошлась с греком с рынка, явно с рынка, сухумский грек без жилья, то ли он со стройки, который регулярно приходил по пятницам и ночевал в одной кровати с дочерью Марины (бедная Полина), то есть в запроходной комнате маленькой Мариночкиной квартиры, так что сама Марина должна была валяться неодетая на глазах у грека, незаконные молодые ходили через Марину по ее трупу буквально, молодые в кавычках.

И вот что таким родственникам говорить о тете Леле? Мариночке?

Полина, таким образом, скрыла свою огромную тайну, поехала в далекий городок N (сорок минут до вокзала, час с лишним на электричке, сколько-то ждать автобуса плюс полчаса на нем и пешком через стройку с километр), но все же приехала, все везде узнала, договорилась обо всем, узнала цену похорон, прикинула свои возможности, учла даже продажу сережек, поняла, что в долг никто не даст, ни Алла-Алена, ни Мариночка, поняла также, что тетку она не похоронит, ее увезут куда-то, в братскую ли могилку в полиэтиленовом пакете, а может, без ничего (Полина не дала своей бедной голове лопнуть от вопросов, а сердцу ужаснуться, многих так увозят, им все равно, может, и Полину саму не смогут похоронить, сын опять без работы, Семен денег не даст), и попутно же она выяснила, что квартиру точно можно унаследовать, если собрать все бумажки, и на том покинула N и долго ехала в электричке, плача в полном смысле слова.

Она никого не любила, Полина, и в этом плане не тянула даже на персонажа трагедии, те всегда кого-то любят и от этого страдают. Бывают и злодеи, но Полина, например, посмотрев «Отелло» по телевизору, подумала, что Яго вообще не человек, а выдающийся подонок, ничем не хуже Триппера, который оклеветал неповинную женщину в вендиспансере.

Так что квартира была нужна Полине для себя самой, первое дело в жизни, которое она делала исключительно для себя,— до сих пор она даже убирала для трипперного, готовила с оглядкой на его аппетит и вкус, а в парикмахерскую заглядывала, чтобы только «подровнять», у нее и свои волосы были густые и пышные от природы, брови черные, глаза нормальные, а вся жизнь псу под хвост, один мужчина и тот заразный.

Чувствуя себя в заговоре, Полина летала, собирала бумажки, никак не отвечала теперь на бессильные крики хромого на голову мужа, который что-то заподозрил и явно тосковал, в голосе появились намеки на плач, и спустя два месяца, к весне, впервые вошла в квартирку тети Лели уже не в сопровождении милиционера, а одна, шито-крыто.

Тот же вечный запах корвалола и старых вещей встретил ее, те же отставшие обои и запертые под ключ шкафы, которые легко открывались ножичком, и в шкафах лежали плотно спрессованные платья, юбки и пиджаки всего семейного рода, видимо. Мать Полины приходилась Леле сестрой, тут и бабкины вещи могли быть, и прабабкины еще, одежды тех, кто лежал уже в могиле, в гробу или просто так, как тетка Леля.

Полина всплакнула без повода над этим грузом прожитых жизней, кое-что померила, все было мало, узко, коротко.

Полина в первый раз увидела тетку Лелю в больнице при посещении, увидела ее накрытую одеялом, под капельницей, маленькую, совершенно бесплотную, одеяло приподнималось только на месте ступней. Видно, и вся родня была мелковата.

Полина их не знала — мать со своей сестрой не общалась с юности, какая-то была вражда, какой-то присвоенный дом, неотданные облигации, тетка, кстати, видимо, потеряла и то и другое, жила в беднейшей квартирке уже тридцать последних лет, но терпела и не просила ни о чем богатую родственницу Полину в свои восемьдесят и почти девяносто лет — только вот телефон Полины все-таки откуда-то узнала и держала на всякий случай на виду, так же как и сверток: смертную рубашку с крестиком и новые войлочные тапочки; он лежал в тумбочке у кровати, Полина наткнулась на это дело сразу. Тетка как бы намекала, что все готово, и просила о последней услуге. Там же была и сберкниж-

ка, видимо, с похоронными деньгами, но теперь это были не деньги, все съела инфляция.

Тете Леле не суждено было надеть свое смертное, не суждено. Полина все вещи вынесла во двор к помойке, все узлы, только не выбросила альбом фотографий, старый патефон и пластинки к нему, допотопные, послевоенные, все было завернуто в старые юбки и крепко зашито, как сокровища.

Обрадовавшись, Полина как глупая поволокла эти семейные ценности в Москву, думая удивить родных, дать им послушать старый патефон времен своего детства, а уж про альбом и говорить нечего! Предки!

Она радостно приехала к себе домой поздно вечером, выслушала крик о том, что поблядушку венерическую он не пустит в ванную и сортир, пусть волокет справку из диспансера, где стоит на учете, и что бытовой сифилис заразной всего — короче, все те ужасы, которые вырабатывал воспаленный мозг озлобленного, обиженного Семена.

Полина ничего не ответила на это, ей стало как-то весело и приятно, что у нее есть тайна и мир вдруг открылся, как будто ход в потолке куда-то наверх, где просторы и никто не найдет.

Собственно, на этом можно было бы и закончить эту историю, потому что затем Полина перебралась в свое убежище и никто ничего не узнал (узнают, убьют за наследство, думала она), а мужу Полина все-таки нечто сказала, чтобы он окончательно не съехал с ума, а именно то, что у нее объявилась престарелая тетка, которую жалко, она ходит под себя и т. д., а в больницу не берут и т. д. И лучше всего, добавила хитрая Полина, перевезти бабку сюда, туда слишком далеко ездить, и какая сволочь бабкина дочь, живет недалеко, а за матерью не смотрит, самой под семьдесят, гипертония, даже хоронить отказывается, и дети ее такие же, ждут наследства, и все (т. е. чтобы сам Семен не ждал наследства).

Услышав такие известия, Семен вообще сошел с круга и орал полночи, что не хватало здесь чужого дерьма, пусть сама Полина это дерьмо ест ложками.

Короче, Полина оказалась способной, как шпионка со своей вымышленной версией.

В доказательство Полина как раз и предъявила альбом, патефон и коробку с пластинками, что тетка из благодарности сказала «бери все самое дорогое», но Семен ни на что смотреть не стал, а бешено плюнул и исчез в своей темнице, так Полина называла его комнату, там всегда дул ветер и не горел свет.

В ближайшую субботу Полина справляла свой уже прошедший день рождения, наварила, напекла, пришло трио, сын с Аллой и надутый Никола, и именинница, сияя, решила угостить всех старой музыкой и старыми пластинками. Но родня не проявила никакого интереса, хотя Полина нарочно, севши рядом с Николой (наследник рода), переворачивала картонные страницы альбома, чтобы он посмотрел на все эти тусклые портреты дедов-бабок, то сидящих у фотографа на стуле, то где-то в Сочи у источника по тридцать человек скопом, на эти туманные праздники семьи и ее похороны (с какой-то девушкой немислимой красоты в гробу), но эти похороны, образно выражаясь, снова были погребены, теперь уже, видимо, навеки, поскольку Никола пересел поближе к телевизору смотреть с отцом футбол.

Полина напрасно волновалась, напрасно надеялась, что хоть внучок когда-нибудь ее вспомнит (для такой оказии она вставила в последние страницы альбома и свои фотографии, самые лучшие, даже детские и в молодости, фото в купальнике и снимок свадьбы даже, который она в минуту горя почикала, отрезала Семена вон, оставив только себя в простом бедном белом платье студентческой поры. Туда же она для приманки поместила детские фотографии сына и внука, но никто не взглянул на ее творчество).

Вместо этого молодые снова выступили, теперь уже Вадим просил прописать к ним Николу.

— Ага,— сказал бурно Семен,— чтобы он нас выженил отсюда годов через пять! Чо я, не в курсе? — Образованный Семен в минуты гнева прибежал к

народной лексике своего детства.— У Ляпиных вот так вот прописали Сережку к бабушке, а Сережка, не будь дурак, объявил, что будет делать евроремонт, приснул какой-то химией, лак, что ли, на пол, и под это дело вывез бабуку на трое суток к ее сестренке девяносто лет, да. И тут же продал эту квартиру и свалил за бугор с деньгами. Знаем.

— Все равно все вам останется, жди, сынок,— сказала Полина, улыбаясь.

— Да? А у нас на этаже одна такая бабушка схоронила мужа и вышла замуж за какого-то деда, нашла себе, и его прописала в свою квартиру! Дочь чуть с ума не сошла, у них все надежды были на нее, на бабушку.

— Это запросто! — бодро крикнул Семен.— Я тоже женюсь! Чем с этой венерической по диспансерам ходить.

— Хорошо же,— сказала Алла и пошла одеваться, а за ней хмуро отвалили мальчишки.

— Твоего тут нет ничего,— заметил ей вслед дедушка Семен,— пасть-то не разевай.

— И в моей квартире Вадима нет ничего,— отрезала Алла,— я его прописала к себе и теперь за свое добро расплачиваюсь.

— Тебе бы без него эту квартиру не дали,— сказал дед гневно.

— Ни одно добро не остается безнаказанным,— заметил Вадим,— имей в виду, Алена! Шутка.

Она им себя, эта Алла, велела называть Аленой, видали?

Так он униженно пошутил, и они удалились, унося в своих животах салаты, винегрет и мясо с картошкой, вино и компот.

Полина напоследок спросила: «Вадим, хочешь взять альбом, там ваши предки?» — но ей никто не ответил.

Она слегка поплакала, моя посуду, а утром отъехала в городок N, и здесь можно тоже было бы поставить точку, но жизнь богаче, она все продолжается, и наступила весна.

Полина вскопала у себя под окном участочек, клоч земли размером в две простыни, еще тетка, видимо, тут городила огород и посеяла что попроще — морковку, редиску, укроп и цветочки календулы.

Она так увлеклась своими грядками, она жила с таким счастьем в душе, вставала и ложилась в тишине, ходила за баночкой козьего молока в деревню, на луг за щавелем, собирала сухие коровьи лепешки в ведро и т. д.

Через два месяца довольно постанной жизни (хлеб, щи, молоко) она потратила все свои деньги и поехала в Москву за пенсией.

Она уже забыла, что такое скандалы, вечное унижение и жизнь от удара до удара.

Она забыла Триппера и думала, что навсегда.

Тем не менее, получивши пенсию, Полина все-таки заставила себя зайти в бывшее семейное гнездо, надо было взять каких-то припасов, муку, сахар, пустые банки для варенья и соленья.

Надо было запастись на будущую зиму.

Полина рассчитывала сварить земляники — уже скоро-скоро должно было созреть по лесочкам вокруг, затем она надеялась на малину и грибы.

По-деловому, гремя резиновыми сапогами, Полина вошла в свою квартиру и обнаружила Семена в чужой комнате, т. е. в ее собственной, сидящим на ее же диване-кровати.

Семен был в грязном тренировочном костюме, небритый, как Плюшкин, совершенно седой, он смотрел на Полину и по-детски улыбался.

Подбородок его слегка трясся.

На полу лежал телефон, провод с телефонной вилкой находился в руках у Семена.

— Что у тебя аппарат отключен? — спокойно сказала Полина, ожидая взрыва.— Звоню, не могу дозвониться.

Семен кротко кивнул и стал тыкать вилкой в лежащий на боку телефон. Руки его крупно дрожали.

— Дай-ка,— сказала Полина и включила телефон в розетку.

Тут же раздался междугородний звонок, это пробился сын, который находился в командировке и беспокоился, три дня телефон не отвечает, Алена с Николкой в деревне, что происходит?

Полина кратко ответила, что телефон не работал, а с отцом плохо, он ничего не сообщает и не говорит.

Сын ответил, что вернется через недельку и хорошо, что ты приехала.

Связь оборвалась, и Полина пошла по квартире, увидела, во что превратил свою темницу Семен, тут же сняла белье с его кровати, бросила в ванну, потом вошла в страшную кухню, где на полу лежала разбитая банка прошлогодних помидоров, уже все засохло, поставила на огонь грязный чайник, огляделась...

Когда Полина кормила Семена с ложечки и он лежал у нее весь чистый, в белой рубашке, и смотрел в пространство, жуя пустую кашку беззубым ртом, то произошло следующее: он перестал жевать, медленно перевел на нее свой взор и сказал:

— Поешь сама, ты голодная.

И тут Полина заревела.

НЕПОГИБШАЯ ЖИЗНЬ

Трудно, очень трудно писать об этой погибшей жизни, хотя что значит погибшая жизнь? Кто скажет, что добрый и простой человек сгинул не просто так, оставил свой след и т. д., а злой, вредный и нечистый человек пропал из жизни особенно как-то, с дымом и на дыбе? Нет.

Итак, совершенно не погибшая жизнь и абсолютно полная победа на всех фронтах была у Альбины, почти дочери министра. Почему почти — какой-то второй брак, первые дети от предыдущего, короче: почти дочь почти министра. То есть в любых условиях полная дорога вперед, все горизонты открыты, даль ясна, что делать-то?

Она работала, допустим, в газете, вела какие-то, к примеру, рубрики об искусстве в отделе информации, но не это главное. Главное была ее нечистота, грязь, распутство, неутоленная распутинская похоть, что выражалось в постоянной лихорадке и стремлении тратить, тратить и тратить деньги и добывать их и добывать, а что добудешь в газете, кроме ряби в глазах и полного упадка сил к вечеру: колготня, толкотня, информашки, редко материалы побольше, искусство ведь всегда в последнюю очередь, раз в месяц копеечный гонорар, слезы.

Альбина тем не менее тратила как миллионерша, шубы, костюмы, сапоги, машина, квартира в центре с уймой комнат, серьги и кольца, грудь навывкате из декольте, все время примерки, народ бегаёт, что-то продает ей: Альбиночка, не хочешь бабушкино кольцо?

Альбина — центр внимания, Альбина на приемах у послов, везде ее резкий профиль, носик клювом, рот дудочкой, глаза с поволокой и накрашены, хотя всегда не очень аккуратно, намазаны, короче говоря. Женщина до мозга костей.

А тут редакционные бабы, затрюханные, всеобщая парикмахерша Светка Рубина раз в неделю по понедельникам, к пятнице уже все, хоть ходи прикрывайся платком, волосы грязные, это раз. Помада вечно слезает и остается только по краям, дешевенькая губная помада. Зубы не сказать какие, после обеда в ход идут спички, погружаемые в дупла, три. Одежда куплена то ли с рук, то ли у подруг по дешевке, то ли у самой Альбины, хотя у той нестандартные сиськи, пятый размер, как у Софи Лорен, естественное богатство, а у журналисток все отложения копят больше в районе желудка и седалища. Сидячая работа называется.

Альбине же несут и несут продавать, вал растет, она роется в куче тряпок, стонет, бегаёт за шкаф мерить, все видят ее черный кружевной корсет и загорелые ножки, слегка косолапые, и чудовищную грудь, вываливающуюся из чашечек (силикон, что ли, спрашивают себя журналистки).

Кое-что из этих куч перепадает и журналисткам, но они бедные, хотя Альбина должна абсолютному всем; занимает с миру по нитке, и где-то через годик

по рядам идет ропот, что Альбина долгов не помнит и не понимает урона. Но хоть три копейки, а болит и саднит, что богатая Альбина не возвращает долг.

А Альбина то и дело приглашает коллектив по очереди домой, и тут все вообще немеют, пьют и едят смущенно, а Альбина еще весело рассказывает всякие истории, типа как одна подруга пришла и намазала морду из тюбика тем, чем она, Альбина, снимает мозоли с пяток: тут же в ход идет нога, босая, розовая, глянцевиная на подошве, как мрамор, и торчит эта подошва на столе пальцами вверх, пошевеливая ими, сама Альбина хохочет.

Как после этого напоминать о трех копейках год назад? С мужчинами Альбина, что называется, в поиске, тут дела темные, никто ничего не знает, как она берет и кого за ширинку и где это происходит, все же люди служилые, подневольные, почти министр и его почти дочь много что могут. Так что из мужчин и тот, и другой, и третий уже побывали там, и внешне все спокойно, хотя Альбина — плохой работник, писать не умеет и на работу приходит регулярно во второй половине дня, в вечернюю как бы смену (все остальные вкалывают в утреннюю), и тут начинается обычная вакханалия, Альбина бегаёт мерить за шкафы, в промежутках что-то звонит и пишет, и заводделом, морщась и роняя пепел с папироски, правит эту ее плешь, вздыхает и отдает Альбине, чтобы она несла машинисткам. И кому какое дело, кто у нее назначен на этот вечер и где все произойдет (дома ведь дети и муж), и никто ничего не выдаст, сам герой сегодняшнего приключения в последнюю очередь. На самом-то деле все дела обстоят несколько иначе, но о том после.

Вот Альбина беременна, тоже всеобщее стояние на ухах, телефон бурлит, Альбина звонит, устраивается на ультразвук, чтобы узнать пол ребенка, если девочка, будет сделан аборт.

Делается аборт, опять все кипит, люди идут к Альбине в роддом с передачами и цветами, Альбина принимает делегации в розовом кимоно, при полной косметике, томная, зелено-желтая, клюв заострился, у нее осложнение. Где-то там в помоях увозят ее нерожденную девочку. Вечная память. Позже приезжает муж Альбины, отец ее второго сына, солидный дядя, шофер несет пакеты и кульки, трам-тарарам и никакого стыда. Аборт же, аборт, граждане, не роды ведь, но каждый раз у нее сабантуй, все превращается в событие и выпить коньячку.

Это прошел год с момента воцарения Альбины в коллективе газеты.

Дальше пошли другие события, такие, как исчезновение профсоюзных взносов у Старухина, пальто у Ярослава и чужого долга из-под телефона у Ревической.

Сначала Ревицкая, молодуха в очках, стриженная под мальчика (Светка Рубина лимитэйд), курящая и басовитая, симпатяга плотного телосложения, она приняла от этого Ярослава из отдела науки (к которому Ярославу была явно неравнодушна) — приняла деньги для Лены, долг Ярослава, тот собирался уезжать в командировку. В спешке она положила этот долг под свой телефон, и когда вызванная из отдела выпуска Лена пришла, телефон подняли — денег не было. Ревицкая, вся в пятнах, курила стоя, локоть на отлете, другая рука уперта в бок, помада слезла с пухлых губ, выражение под очками вытарашенное. Ревической дали валидола, Лене тоже.

Затем у Старухина, профорга, который как раз собрал взносы, вынули из ящика письменного стола все (все!) деньги, предназначенные к сдаче.

Старухин тоже бегал пятнистый, как в лишаих, собирал в долг у кого мог, и все, с одной стороны, сочувствовали ему, Альбина даже дала из своего раздутаго, как ее бюстгальтер, кошелька, и довольно много, и бегала, тоже занимала в отдел преступлений к преступникам, а затем в отдел науки к тому же ограбленному Ярославу с доверительным возгласом «У нас опять попятители деньги!», то ли Ярослав у нее стоял в списке как следующий кандидат на ночь Клеопатры, сказала вслух Ревицкая.

Значит так: Ревицкая, сцепив зубы, отдала полдолга Лене, а полдолга должен был добавить Ярослав из следующей зарплаты. Старухин получил от профорганизации материальную помощь, собрал недостающее и вернул вместе со своей должностью профорга.

Причем та же Альбина как-то неловко сказала, что знает, что Старухин собирался покупать чью-то библиотеку и срочно искал большие деньги.

Народ был подавлен. Все косо смотрели на Ревницкую и на Старухина. Работники отдела развлекала только все та же Альбина. Оказалось, что ей в женской уборной во время примерки молодая Федотова сделала непристойное предложение пойти с ней в кабинку.

По другим сведениям, молодая Федотова вперлась за Альбиной прямо в кабинку, твердя «не надо, не надо сигареты».

Альбина, по ее словам, просто офонарела, слушатели тоже.

Молодая Федотова была на самом деле Оля Иванова, референт отдела преступлений. А у преступников работал тоже один скромный Федотов, фотограф, не очень молодой трудоголик, не очень даровитый, но всю жизнь в газете, непьющий, некурящий холостяк и т. д. Это была тоже милая история о Ромео и Джульетте, причем с разницей в возрасте 15 лет, а Монтекки и Капулетти была скопом мамаша Федотова, оперная певица из хора Большого театра, когда-то получившая хорошенькую квартиру в кооперативе этой организации. Молодые родители Оли Ивановой тоже были Монтекки или Капулетти, со своей стороны, папа — водитель автобуса, мама — учительница начальных классов, антисемиты (Федотов по матери был наполовину еврей).

Оля и Федотов сняли комнату, родили девочку, разбились в лепешку и получили маленькую квартиру от издательства, ура! Все были на новоселье, все преступники и часть отдела выпуска, где Оля работала теперь машинисткой компьютера.

И вот теперь такое!

Оля Иванова-Федотова всегда ходила очень гордая, неизвестно с какого переполоха, гордая, голова вверх, рост под сто восемьдесят, тонкая как палка, лицо маленькое, волосы пышные, и бабы-пехотинцы из отдела информации ее не очень любили за ясно выраженную надменность, чего гордиться-то. Одинадцать классов с компьютерным уклоном, делов-то куча.

Теперь все стало понятно. Молодой отец Федотов тоже стал ясен до мозга костей, до снятых трусов: импотент, стало быть, при молодой жене! Жена кидается теперь даже на баб в возрасте (Альбина была при своих тридцати семи годах чуть ли не мамашей для Оли).

Вот тут все волновались долго, чуть ли не неделю, провожая горящими глазами Федотову, которая как ни в чем не бывало вышагивала надменной походкой в буфет со своим мужем, красивая все-таки девка, бедняга.

И Федотов бегал со своим вечно воспаленным видом, обвешанный аппаратурой, бегай-бегай, бедняга тоже, провожал его мысленный хор голосов.

Еще через неделю у Ярослава пропало его кожаное пальто.

Дело было в конце дня, довольно поздно, даже Альбина укатила домой — а она сидела у научных долго, обсуждая казус с молодой Федотовой, не она ли еще и поворовывает? Ярослав даже воодушевился и много рассказывал о ясновидении. Альбина слушала его с редким вниманием, обычно она сама солировала, а тут примолкла. Глазки ее светились. Альбина сидела в отделе с Ярославом практически одна, все уже разбрелись, а потом она позвонила домой, сунула сигарету в рот и умчалась. Ярослав тоже вышел ненадолго, вернулся — пальто нет.

Ярослав был парень не промах, тут же побежал к преступникам, вообще собрал трех ребят, взяли редакционную машину и поехали домой к Альбине.

Дверь открыл ее муж, на вешалке висело пальто Ярослава.

— Здорово я пошутила? — сказала, войдя в прихожую, Альбина.

А это кожаное пальто, кстати, было у небогатого Ярослава, как у Акакия Акакиевича шинель, он собирал на него деньги и т. д., и Ярослав гневно забрал свою эту шинель и умотал с друзьями, и жалко, что не в милицию.

После этого случая кое-что выяснилось, кто-то из баб умудрился расколоть неразговорчивую Олю Иванову-Федотову, и та обронила несколько слов про Альбину, что та действительно попросила у нее в туалете сигарету, а потом со словами «не надо, не надо сигареты» поперла на нее буром и хотела даже

войти за ней в кабинку. А Оля тут же вышла, больная женщина у вас эта Альбина, что ли?

Альбина забюллетенила, потом была в отпуске, потом вообще ушла, перебралась на киностудию, где начала брать откровенные взятки с приезжих сценаристов за сам факт принятия сценария под расписку. Сценаристы ведь просят дать почитать их сценарии режиссерам, и Альбина работала как посред-бюро.

Но все уже погибло, вся Альбинина жизнь, ее замминистра вскоре был переведен на другую работу, и, хотя Альбина цепко держалась на киностудии, ее в чем-то быстро обвинили и уволили.

Что касается Ревической, то она получила после всех событий микроинсульт, когда девки втихую ей сказали, что Альбина намекнула, будто видела, как Ревическая прячет в сумку деньги, вынутые из-под телефона. «Я?!» — возопила тогда Ревическая и получила микроинсульт, и даже разоблачение Альбины не облегчило ее состояния.

Ярослав наконец женился на бабе из отдела писем, но пьет, как пил, Федотовы живут в мире и согласии, хотя он уже клонится к зрелому возрасту, а она все так же стройна и молода, но тем не менее они верны друг другу. Все идет без Альбины обыкновенно, да и у нее все идет, как шло, она не застрелилась, не отравилась, где-то кувыркается, пристроилась к проблемам розового движения, читает лекции за границей в каких-то университетах, даже, говорят, пишет книгу о своем полуотце, хочет раскрыть кремлевские тайны отчимов.

Так что ни о какой погибшей жизни речь не идет, только у Ревической профессиональные проблемы, головная боль и иногда забывает фамилии, и все, и Старухин работает нормально, хотя как-то озлобился на посту завотделом, но это тоже в порядке вещей.

Но ничья жизнь не погибла.

КАК АНГЕЛ

Как в насмешку, ей дали имя Ангелина. Очень любили, видимо, друг друга и дочь называли ангелом. Однако родили эту дочь слишком, видимо, поздно, отцу было за сорок, матери близко к этому, вообще это был поздний брак двух химиков, двух одиноких немолодых и некрасивых людей, обычных работников агрохима по вопросу борьбы с вредителями хлопчатника, они нашли друг друга в одной экспедиции под Ашхабадом и родили через девять месяцев своего ангела, ангел был любим и балован всей огромной семьей немолодого отца: его престарелой матерью, его пятью замужними сестрами и их семействами тоже.

Чуть праздник — а при двадцати с лишним членах семьи (старшие постепенно умирали, младшие росли) каждый месяц все собирались и собирались на дни рождения, — чуть праздник, и маленькая Ангелина кочует по родственным коленам, ее возили на закорках, ей всегда тоже дарили подарки, чей бы ни выдался день рождения, Ангелина к этому привыкла и каждый раз ждала своего, и дождалась: к пятнадцати годам она не только не унялась, но стала открыто требовать свою долю на празднике жизни: а где мой подарок? А мне?

Так она кричала и во дворе, куда ее отпускали одну погулять, а мне? Ей в ответ подавали раз и два по башке, но Ангелину было не укротить, она требовала и себе тоже мороженого, тоже автомат как у трехлетнего, требовала прямо на месте — и не у своих отца с матерью, а разевала клюв, как взрослый птенец, адресуясь к самим детям и к их родителям, которые угощали своих потомков кто чем, выносили им во двор новый велосипед, баловали их, а Ангелина тут как тут и тоже требует — а мне?

Как-то не входило в ее бедную больную головушку, что нет добра и справедливого распределения между всеми жаждущими, нет того, о чем мечтали мыслители всех времен и народов, нет общего, делимого поровну, а каждый сам по себе, нет равенства и братства, нет свободы подойти и взять, подойти и съесть все что хочешь, войти и поселиться на любой кровати,

остаться в гостях где понравилось, чтобы и завтра угощали и бегали вокруг с тарелками, наперебой кормили и хвалили, сажали бы на почетное местечко и гладили по большой голове, а потом подарили бы еще и игрушку.

Все это, однако, было в детстве Ангелины и продолжалось во взрослом состоянии, но только среди родных.

Как Ангелина ни старалась понравиться людям, например, на улице, как ни кидалась долгие годы с открытой душой ко всем, кто ел пирожки и мороженое, конфеты, бублики и апельсины, как ни разевала свой клюв на манер птенчика — ничего не получалось в итоге.

Но она забывала об этом каждое утро, прихорашивалась перед зеркалом, требовала завязать ей пышный бант на макушке, распускала свои волосенки, жидкие и спутанные; как пух и перья из подушки (она не выносила расчесываться), затем, тоже каждое утро, она хорошенько красила рот красным цветом, веки — синим, брови — черным, у нее для этого стояла коробка с гримом, кто-то из родни подарил, видя, как ребенок кидается на губную помаду и красит рот и щеки до ушей и плачет, когда убирают подальше, при этом всячески отвлекая Ангелину, а вот пойдём сейчас мультики смотреть, а вот Ангелине сейчас что подарят и т. д.

Ангелина украшала себя всем чем могла: бусы, клипсы, банты, какие-то кольца на пухлых пальцах, браслеты, дешевенькие брошки,— только платыв она не меняла, носила, какое в данный момент было, таскала, не снимая, и туфли любила старые, стоптанные, а новые не терпела, отказывалась даже мерить. Матери приходилось разношивать обувь на своих старых, больных ногах.

И вот, надеясь понравиться миру на этот раз, волнуясь и спеша, она собиралась с раннего утра и выводила мать на прогулку в любую погоду, в мороз и солнце, в дождь и ведро, в бурю и туман — причем пешком: Ангелина не выносила подземелий метро, там она начинала тосковать, нервничать и раза два кидалась с кулаками на пассажиров, которые не так на нее посмотрели.

Поэтому мать все-таки таскала ее подальше от любых видов транспорта, в автобусе и трамвае все тоже пялились на Ангелину, она все это тут же отмечала и могла ответить на обиду, перед тем блеснув особым взглядом из-под своих толстых очков.

К тридцати годам она носила сильнейшие очки, многослойные, как фары, а передние восемь зубов она потеряла, не желая ходить к врачам, да и зубки с детства были слабые, плохие.

Ее сильно раскрасенное синим и красным лицо с постоянно зияющим беззубым ртом, в котором по углам торчало четыре клыка, производило сильное впечатление на всех — только родня, особенно старшая родня, помнившая все страдания Ангелины, страдания ее отца и матери, помня обостренное чувство справедливости у маленького ангела, когда она пыталась печенье поделить на всех и всем раздать — и это еще в ту пору, когда она была бессмысленной крошкой, толстенькой, слабенкой и смешной.

Все они ее тогда любили и делали вид, что все в порядке, они просто разбивались в лепешку, не делая разницы между своими нормальными детьми и бедной дурочкой, которая так и не научилась считать и все думала, что 0,5 — это 50, и громко волновалась, как же это молоко 50 литров помещается в маленьком пакете, а ее утешали, объясняли ей, были предельно тактичны и добры, но это свои.

Чужие же не отзывались ни на какие просьбы, сверстники называли крокодиллом и просто били Ангелину по голове сразу, без обиняков, что и привело к тому, что так же без обиняков Ангелина била людей кулаком прямо по голове в метро, учтя уроки детства.

К тридцати годам она созрела в крепкую, мощную, буйную женщину, которая отвечала немедленно действием на все возражения отца или матери, так что мать, даром что семидесятилетняя, с семи утра водружалась на свои большие, сырые, опухшие ноги и выступала в многочасовой поход по городу, шла с дочерью из дома, чтобы она не была семидесятипятилетнего отца просто

так, крича: «Встань с кровати, хватит хандрить!» (Ей так говорили в детстве.) Отец лежал после больницы, после инфаркта.

Денег в семье было мало, две пенсии химиков по ядохимикатам, а Ангелина просила ей купить то и то, стояла часами над прилавками, пожирая глазами дешевые бусы, а то и бриллианты, зыряка бешеным взглядом на продавщиц и крича матери со слюной во рту: «Ма-а! Ну, ма-а! Купи мне, ма-а!»

Мать сбегала опозоренная, Ангелина гналась за ней, накрывала ее могучей спиной, волокла обратно, спасу не было никакого, хорошо еще, что мать таскала с собой полную сумку хлеба и все время давала Ангелине куски, обмакивая их в кулек с сахаром, затыкала ей голодную глотку, как ласточка птенчику.

Вечером, после закрытия магазинов, они возвращались все так же пешком домой, там Ангелина ела руками холодную кашу, сваренную отцом, и ложилась спать в чем была на свой диван, даже в пальто. Мать караулила момент и снимала с Ангелины обувь, накрывала несчастную одеялом, а у самой часто тоже не было сил раздеться окончательно, она, бывало, так и задремывала, сидя за столом при полном свете, с глазами, полными слез, похожая на свою дочь, т. е. тоже без зубов, почти без волос, но закаленная, как в огненной печи.

Все у них было подчинено этой вечной гонке, а в больницу, в сумасшедший дом родители не отдавали свою Ангелину, боялись ее оскорбить навеки, испугать ужасом решеток и запертых дверей, чего Ангелина не выносила, как животное часто не выносит замкнутого пространства.

Родители, видимо, в глубине души считали, что Ангелина ничем не хуже других людей, она просто больна, а больных не судят. И родители все реже и реже ходили по гостям, боясь чужих взглядов, опасаясь окружающего несправедливого мира, который издевается над самым обездоленным человеком, над инвалидом, над дурочкой, а она тоже творение Божье и имеет все права на место на земле.

Но Ангелина упорно тащит мать на люди, в магазины, в толпу, может быть, надеясь, что ее снова возьмут на руки и будут передавать друг другу как любимое дитя, будут кормить, дарить подарки и перестанут таращиться на эту толстую тупую морду клыками наружу, ведь она там, внутри, осталась все той же маленькой слепенькой девочкой.

Беда еще, что Ангелина мало спала, несмотря на долгие прогулки, но мать спала еще меньше. Днем и ночью ее глодал один и тот же вопрос: «За что ей это?» Тихие, любящие были они с отцом, любящие и заботливые были все дядьки-тетки Ангелины и ее двоюродные, а также их детки, они все привыкли к ужасной морде вечной гостьи, к ее голодным глазам, рышущим по полкам, к ее всегда грязным рукам, которыми она хватала пищу, к ее частым слезам, которые лились у нее из-под очков по раскрашенному лицу.

Со временем, придя в гости, Ангелина довольно быстро начала уводить мать снова на улицу, едва насытившись, а если ее уговаривали остаться, она куксилась, уходила и пряталась лицом в одежду, висящую в прихожей, размазывая грим и все выделения глаз, носа и рта по чужим пальто, то есть опять-таки вынуждала мать уходить, не побыв в тепле и покое среди нормальных, милых, добрых людей, среди своей родной семьи. Ангелина глухо говорила, что опять болит голова и хочется кого-нибудь ударить, и мать уходила с ней и получала тумака на улице от плачущей Ангелины неизвестно за что: то есть известно за что — Ангелина догадывалась, что мать отдыхает от нее среди тех, кого по-настоящему любит, и это у дочери были слезы о несправедливости, слезы о неверии, неравном распределении любви и добра: всем все, а мне опять ничего.

Кроме того, может быть, Ангелина понимала, что мать в глубине своей кроткой души надеется когда-нибудь отдохнуть, скинув ее на руки двоюродной родне пожить, попитаться, повоспитаться, но они хвалили и кормили ее только до определенного часа, дальше стоп, дальше надо было двигаться домой, и это тоже чувствовала больная душа Ангелины, эту ложь всеобщей якобы любви до определенного часа — на улице же ей никто не врал, все откровенно глазели или смеялись в лицо, это была правда, и Ангелине не надо было притворяться,

вот это и была свобода, и она, видимо, рвалась на улицу, как в театр, где от души исполняла роль городского пугала.

Она идет против всего человечества, вольная и свободная, свирепая, нищая духом, про которых ведь сказано, что их будет царствие небесное, но где — где-то там, где-то там, как поется в одной психоделической песенке, а пока что ее жизнь охраняет ее ангел-хранитель, мать, отрывая ей от батона огромные куски, а Ангелина все требует — дай-дай-дай, и мать хлопочет, чтобы не обидели, не убили ее ангела-дочь, чтобы эта дочь не убила ее ангела-мужа, лежащего в кровати, все невинны, думает мать, а я так и буду бегать с ней, пока не сдохну окончательно, но вот свежий воздух и движение, думает мать-ангел, моя-то матушка дожила до девяноста трех.

Она надеется — смешно сказать, — что они все умрут как-нибудь вместе.

ПУТЬ ЗОЛУШКИ

Одни говорили о Нике так: она гордится, что у ее подруги сын от любовника известной актрисы. И сама Ника тоже родила от брата этой подруги, так что ее ребенок оказался двоюродным братом сына любовника известной женщины.

Другие говорили, что все не так: Никина подруга была замужем, но родила от другого, от известного человека, и тогда Ника родила от брата этой подруги, у которой сын от известного человека, и теперь-то сын Ники является двоюродным братом сына знаменитости, то есть племянником знаменитости! И так называемая известная женщина тут ни при чем, известных женщин тогда было всего несколько: певица Пугачева, поэт Ахмадулина, Валя Терешкова-космонавт да академик Нечкина девяноста трех лет от роду.

Значит так, Ника гордилась тем, что ее сын — двоюродный брат сына знаменитости и т. д. (см. выше), но сама Ника жила со своим-то сыном одна, не прося ни о чем никого, в том числе и эту свою подругу (у которой брат как раз и являлся отцом сына Ники, если мы с вами не запутались окончательно).

Однако жизнь прижимала эту Нику, одинокую мать, и хоть она и породнилась через роды со своей подругой и подруга об этом знала прекрасно, но, как ни странно, на этом их дружба почти прекратилась, Ника в одностороннем порядке звонила, поздравляла с праздниками, но всегда потом, днем позже, а затем даже стала слать телеграммы, и все. А по телефону в таких случаях все разговоры были о детях, кто научился читать, кто чем увлекается и т. д. Подругин сын развивался быстрее.

Сама Ника жила довольно скромно, в коммуналке, сначала в одной комнате, потом хлопотала, и ей дали освободившуюся от старухи Сары комнату и ее же чуланчик; соседка эта, Сара, по рассказам других соседей, была когда-то знаменитой актрисой во Франции, до революции, и в чулане лежал зашитый в черные сатиновые трусы альбом с ее фотографиями: богатые волосы, белые платья, возведенные в небо глаза. Фамилия ее была Беднар, по паспорту Беднарова, армянка. Старуха Сара как-то вдруг исчезла, пойдя зимой за хлебом (90 лет), пошла, но споткнулась и сломала шейку бедра, поместили в больницу, оттуда позвонили троюродной, что ли, родне, родня же и приезжала в Сарину комнату, хмурые мужик с дочерью, эта родня приезжала найти что-то типа паспорта и сказала, что у Сары как всего, она так в больнице, видимо, и останется, причем, что характерно (сказал мужик), Сарочка после перелома вообще стала неуместно смеяться, лежа в хирургии, и встал вопрос о ее переводе в Кащенко в соматическое отделение, более того (сказал мужик), у нас у самих теща лежит такая же красотка дома, ста двух лет, а у нее есть старшая сестра, та все контролирует и сидит на связи по телефону. Как-то позвонила: «Соня, ты знаешь, кто умер?» Теща: «Сталин, как же». А ее сестра: «Дура ты, Прокофьев умер».

Но Сара затем, видимо, довольно быстро скончалась, все еще смеясь над своим положением, и другая родня приехала теперь уже с мешками и веревками, двое суток горели огни по всей квартире, родня собирала какие-то тряпки и палки, и наконец Ника получила ордер на Сарину комнатушку и вошла туда

как хозяйка, в царство окаменелых тарелок с кашей, желтых слежавшихся газет, деревянных ящичков и гниловатых старческих подушек.

Это было большое счастье для Ники, вставшей к тому времени в немилосердную бедность со своим сыном, двоюродным братом сына подруги, а стало быть, родным племянником знаменитости, но не пойдешь же к этой знаменитости доказывать на пальцах, кто кому любовников сын, а уж тем более племянник на киселе. Тут было не до просьб, самой бы продраться сквозь эту мешанину, в которой путем двух скрещиваний родилось два двоюродных внебрачных брата, а сама Ника теперь могла числиться родней знаменитости как мать его племянника и чуть ли не как двоюродная теперь сестренка? О, если бы он узнал, но он ведать ни о чем не ведал, гуляя где-то опять. Подругу Ники он давно покинул, так же как Нику покинул брат подруги, опять все в рифму.

Итак, Ника стала хозяйкой двух комнат и чулана, и она радостно и трудолюбиво все пересортировала, как бомж на помойке, газеты сюда, ящички сюда, даже прикарманила мешок лоскутков (мало ли, сшить половики), выудила из угла разболтанное креслице, вернее, деревянный скелетик от него, скелет с пружинами, которые торчали из волосяного покрова, как ребрышки, Ника прислонила его сломанной ногой к стенке, принакрыла тряпицей, тоже Сары Беднар наследием, потом помыла окна, простудилась, хворала, а сама все искала и наконец нашла жиличку, дворничиха прислала женщину, которая бродила по двору в поисках комнаты. Жиличка дала деньги вперед за три месяца, ура! Безработная Ника смогла заплатить за квартиру, но тут случилось ЧП, и остатки жильцов еще не вымершей окончательно коммуналки, старые тени, все собрались на кухне и пригласили Нику, чтобы она пригласила жиличку, короче, хотели доказать, что эта снявшая конуру есть проститутка и водит. «Это мой любовник», — защищалась женщина, невидная из себя, стандартная баба с улицы лет под сорок, да еще нечесаная и помятая, средь бела дня спала, что ли. Она так защищалась, вертя головой, пока какие-то вызванные мужики выгоняли из комнатухи сонного парня кавказской национальности, стоя над ним, надевающим все необходимое. Короче, проститутка (или она не была проститутка, мало ли, одинокая женщина с больным мужем, познакомилась с одним, дальше с другим, с третьим, комната теперь есть, никаких препятствий нет, волосы покрасила в белый цвет и т. д., ее личное дело). Итак, проститутка с черным парнишкой оба ушли, бледно улыбаясь, деньги, правда, в суматохе не потребовали обратно.

Ника и тут проиграла, комната стояла пустая в ожидании какого-нибудь одинокого мужчины без вредных привычек (как написала Ника в объявлении), о мужчине уж никто бы не посмел сказать, что он проститутка, даже если бы он водил и водил к себе ежедневно новых и новых, кстати, есть такая форма импотенции, разовые связи, и больше никогда с той же партнершей (как, видимо, было в случае с подругиным братом у нее самой, Ника читала о такой форме невроза).

Но, в сущности, хотя звонки и были, довольно игривые, но Ника боялась мужиков и боялась иметь с ними дело, тот случай с братом подруги был последним знное количество лет назад, причем и этот случай произошел не без подначки подруги, которая пригласила Нику на свою дачу провести лето, там же должна была жить свекровь с внучком (это был самый первый сын подруги), однако свекровь не явилась, на тот момент у подруги с ее мужем (сыном этой свекрови) было что-то не то. Свекровь не явилась, зато Ника явилась с рюкзаком и с мыслями о том, как она будет пропадать в окрестных лесах, ягоды, грибы, она даже взяла с собой сахар и пару трехлитровых банок, пока заполнив их крупой и тем же сахаром, все очень экономно было у Ники. Она решила сама питаться, варить можно в лесу на костре, ничем не одалживаясь — встал утром и ушел в леса! Котелок Ника тоже прихватила, нож, спички, соль. Мыло. Полотенце. Стирать можно в ручьях, сушить в кустах.

Но подруга, встретивши Нику с дико расстроенным видом и с ребенком за ручку, тут же и оставила Нику с этим ребенком, а сама срочно умотала в Москву.

Итак, вчера Ника приехала с рюкзаком, подруга показала Нике ее комнату на втором этаже, даже с балконом, было тихое счастье, чаепитие, бутылка, но буквально на завтра эту подругу вызвали к телефону к соседям, была паника, подруга похватала вещички, попросила Нику пересидеть с ребенком (ему три года десять месяцев, не маленький), обещала прислать своего брата в помощь и отчалила на месяц, как потом выяснилось, к знаменитости в поселок Форос на южном побережье Крыма. Ника за месяц обессилела до крайности, тут еще неизвестность, где подруга, что с ней, звонить к ней домой Ника не решалась, а вдруг продашь ее и т. д., если бы что крайнее, смерть, гибель, то они бы явились. Так, в ожидании, текли совершенно безумные дни и ночи, ребенок то плакал, то болел, брат подруги не приехал, никто не приехал; правда, брат все-таки явился через три недели, оценил обстановку, пожалел Нику, назвал сестру сволочью, тут же посидели, тихо выпили водочки, и возник маленький роман, почти семья: гуляли втроем, ребенок у мужчины на плечах, Ника рассеянно рядом, жуя травинку, она шла как человек и женщина, этот брат привез еды и вина, тоже какой-то нелепый товарищ, продавец газет и легкой литературы с благородной внешностью альпиниста, но сестре все-таки помог, племянника протаскал на закорках четыре дня.

Отгулявши месяц, блудная мать явилась, Ника встретила ее хмуро, сразу собралась уезжать, так называемый брат покинул дачу тоже якобы по звонку, срочно понадобилось, и он уехал.

Однако подруга явилась такая благодарная, исхудавшая, такая виноватая, бес попутал, позвала страсть, и привезла Нике деньги, браслет, купальник и шляпу: чтобы она тоже съездила на юг.

Ника ничего не взяла, уехала с похудевшим рюкзаком, а через месяц благодарная подруга позвонила, что она беременна. Ника уже тоже знала к этому моменту, что беременна, и на предложение подруги пересидеть с малышом, пока она сделает аборт, ответила, что ее рвет при одной мысли о детях, прости.

Подруга, однако, не сделала аборт, ее муж как-то уговорил, муж считал, что бедняга просидела с ребенком одна на даче, в то время как его мать наотрез отказалась ей помочь. Муж жалел свою жену и хотел еще ребенка, чтобы совсем уже ее захомутать. Он хотел, как Пушкин, чтобы, что ни год, то Сашка, то Наташка, жена вечно с пузом и никакой личной жизни, никаких дантесов. Так он сказал, ликуя. Подруга все это передала Нике во время следующего сеанса телефонной связи, когда и Ника сообщила ей свою замечательную новость. Сестра под пыткой вынудила брата сознаться, было еще несколько звонков, а затем обе подруги затаились, каждая со своим животом. Роды произошли в одну неделю, но уже тут судьбы младенцев разошлись, поскольку подруга оказалась с мужем и двумя теперь детьми на зимней даче, а Ника с ребенком в одной комнате в коммуналке 12 м в квадрате, и то спасибо, мама подкинула деньжонок и привезла их сама, прожила с Никой месяц, как-то подмогла. Эта комнатуха досталась Нике от первого беспутного мужа, они разошлись, и муж получил комнату в коммуналке же в соседнем подъезде, еще долго потом приходил и совершенно серьезно требовал от Ники денег за эту доставшуюся ей комнатку. Однокурсник пытался стать дельцом, но его вечно опережали, как он говорил, армяшки и евреи, так что он пытался взять деньги хоть с Ники, парадокс. Ника, видите ли, должна была возместить ему потери на национальном фронте. И она его любила когда-то, подумать только!

Ребенок, родившись, подтолкнул Нику к жизни, а то она все прозябала, делала какие-то грошовые рефераты с английского, болталась в поисках цели в жизни, и теперь цель жизни кричала и требовала есть.

Как раз к тому моменту, когда цели жизни стукнуло восемь лет, Ника начала торговать газетами, как неведомый и сгинувший где-то отец ее ребенка — но он-то достиг вершин, у него было свое книготорговое предприятие (как сообщила подруга), и он также занимался антиквариатом — купил себе квартиру и т. д.

И вот Ника, владелица двух комнат и чулана, газетчица в метро со своими двумя столиками, и сын — солидный Вася, вылитый отец, — Ника идет наконец на день рождения к своей подруге Светочке, той самой, которая родная тетка

Васи. Ника идет, ведет Васю за ручку и напарывается там на всю смеющуюся семью — муж Светочки, рогагоносец с двумя неизвестно чьими сыновьями, а также улыбающийся брат Светочки, антиквар, солидный, уже не похожий на поджарого альпиниста. И посреди этого тарарама два двоюродных брата, почти близнецы с разницей в два дня, довольно похожие, Вася и Вадик, и сама Ника, усталая и в очках, у которой сердце сердито колотится в ребрах, не ожидала такого подвоха, что тут этот брат, а то покрасилась бы, надела костюм.

В таком виде, как пришла, она садится со всеми за стол, не выказывая никакой особенной радости, а дети повели себя чопорно, даже надуты, действительно похожие и этим, видимо, недовольные. Но тут же взрослые, легко вздохнув, сдвинули бокалы за дружную семью и за деток, и Светочка, погладив Васю по голове, сказала:

— Вот твой отец, познакомьтесь.

И он, и все чуть не заплакали, когда Вася и его папа Дима, оба солидно и одинаково, подали друг другу руки, похожие до смешного. Маленькая копия потолковала с большой, сели играть в шахматы, и уже на следующее воскресенье Ника отвезла Васю к отцу. И там, потерявшись среди экранов, мальчик забыл мать-отца, а они, в свою очередь, мирно выпили водочки, как тогда. Ника была все-таки при параде, в синем с белым костюме, но это, как видно было, ничего не значило.

Затем Ника ушла, оставив ребенка отцу, и помчалась домой наводить Потемкина, так как Васю должны были привезти вечером в родные апартаменты на машине.

Ника все вылизала, напекла пирожков с капустой и с вареньем, но Вася позвонил в дверь в одиночестве — папаша высадил его у подъезда и укатил дальше.

На все вопросы Вася ответил так:

— Отец — нормальный мужик. Купил жвачки блок.

Теперь его рассказы в школе должны были круто поменяться: раньше он имел отца, погибшего в авиакатастрофе еще до Васиного рождения. Теперь Вася готовился рассказать о папаше, который гоняет на «вольво», у него компьютер, факс и радиотелефон. Да, он остался жив, но мать скрывала, так как они разошлись, а она не хотела, чтобы ребенок знал об отце и т. д. Вася был очень умный малый, весь в папаню.

Ника же, таким образом, благодаря Васе вошла в круг семьи, породнилась со Светочкой как бы на полном серьезе, и Вася оказался племянником знаменитого человека, хотя и побочно.

А зачем их с Васей вызвали на день рождения, Ника узнала позже. Брат Светочки в результате операции пострадал, то есть у него с какой-то там женой надежд на потомство не могло быть никаких, он стал мечтать усыновить ребенка, и тут Светочка подсказала ему: ты, мол, забыл, есть готовый сын.

Ника мало что понимает в сложившейся ситуации, зачем судьба так обошлась с нею, почему за нее все решили и Вася стал медленно, но верно отплывать от мамы в страну своих снов, с компьютерными играми, гаражами и какими-то будущими путешествиями вдвоем, при собственном живом отце.

Но что, однако, в этой фантастической истории все же согревает Никино внезапно озябшее сердечко — это ее родство (двоюродное) со знаменитым человеком, она теперь следит за его подвигами, и все в ее небогатом собственном окружении знают, кто она такая, хотя объяснять, как все вышло, не приходится, можно задеть интересы других безвинных людей. Ника гордится, ничего не объясняя. Типа двоюродной сестры, и все. Я его кузина.

Как объяснить, если все это вышло через Васю и через грешную Светочкину постель, но что же не через постель получается в семье, что же не через постель — спросите вы и будете правы.



Бесстыдно жизнь обнажена,
Где черным крепом
ночь
нависла...

3

...И задохнуться
нежностью густой,
Тупой как боль
(уж лучше б — острым клином),
Как летний полдень,
плавленый,
пустой,
Сухим
бесплотным
пухом
тополиным...

Так суждено
(а слышать — только «но»...)...
Фонетика,
зачем ты мне послушна!
Щекой бы в грудь!
«Солдатином» — в окно!
...Ничком в подушку...

Господи, как душно...
Как будто мышцы — тот же вязкий пух, —
Удара!
Звона!

Брякнуться об камень!
Но что-то обволакивает слух...
Как страшно
становиться
облаками...

Теперь я понимаю,
почему
Ее рисуют в белом,
а не в крепе,
В тумане, а не в пепельном дыму:
В нем горечь есть...
Что может быть нелепей,

Чем так!
В нем запах, привкус, что знаком,
Хотя бы тень разбавленного цвета...
(Так — ширпотребный кофе с молоком —
Уже не то...)

...Но только бы не это!)
В костер печной!
Дотла — в песок речной!
Не может быть, чтоб нами правил случай
В последней мысли,
в памяти ночной...
...Сверкнуть звездой,
разбившейся в падучей!

Вломиться ночью!
Спутанная прядь...
Где жизнь своя, а где уже чужая?

Летит себе аэроплан

СВОБОДНАЯ ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАРКА ШАГАЛА

Возвратившись пешком в «Улей», Шагал швырнул папку с отвергнутыми акварелями на стол и сел на единственный стул, опустив голову на ладони.

— Что делать? — повторял он. — Что делать? Может, оседлать химеру на Нотр-Дам и подняться в небо над Парижем, моим вторым Витебском? Жить в небе, где не требуется оплачивать еду и комнату и не нужны новые штиблеты, потому что по мягким облакам можно ходить босиком?

Раздался стук в дверь.

— Господин Шагал, вы у себя? — спросила Соня.

— У себя, — устало сказал Шагал, — но не надо сейчас прибираться ателье.

— Я не за этим, господин Шагал... Тут к вам приходили.

— Кто приходил?

— Какой-то богатый господин.

— Богатый господин? — оживился Шагал. — Это, наверно, мосье Мальпель, который обещал у меня купить картину. Он сказал, когда опять придет?

— Они здесь в саду ожидают, — сказала Соня. — Я им сказала, что вы вот-вот должны прийти.

— Я пойду к нему. — Шагал вскочил, но потом остановился на пороге. — Нет, я все-таки художник, а не торговец зеленью. Пойди, скажи, я жду его... Все-таки, Отче, ты не оставил меня... Починю башмаки или куплю даже новые, отдам кое-какие долги. — Он суетился, развешивая свои рисунки и расставляя акварели.

В дверь застучали, похоже, тростью.

— Прошу вас, — сказал Шагал.

Вошел господин в строгом сюртуке.

— Чем могу служить? — спросил Шагал.

— Марк, — закричал господин с тростью, — не узнаешь друга детства?

— Аминодав! — Они обнялись. — Откуда ты? Как ты меня нашел?

— Ну, нашел, — сказал Аминодав и сел на стул. — А где ты сядешь? — спросил он.

— Я постою или сяду на пол.

— Твои родственники волнуются, — сказал Аминодав, — твоя сестра встретила на рынке мою маму, и моя мама обещала, что я тебя найду и посмотрю, как ты живешь... Почему ты не пойдешь домой?

— Суета, проблемы, переезды. Я жил сначала на Монпарнасе, но потом переехал сюда. Сам понимаешь, деньги.

— Ты ведь хотел быть художником, — сказал Аминодав, — а самые бедные художники, как мне объяснили, живут в этом доме. Что, плохи дела?

— Плохи.

— Ну, ты не падай духом, мы ведь друзья, земляки, евреи, мы должны помогать друг другу. Это твои рисунки?

— Мои.

— Хорошие рисунки. Конечно, если б за них платили, они были бы еще лучше.

— У меня один француз обещал купить картину за двадцать пять франков.

— Обещал, но пока не купил?

— Не купил.

— Хочешь, я куплю у тебя картину?

— Разве ты любишь живопись?

— Иногда люблю. Чтоб помочь другу, я люблю. Вот эту возьму.— И указал на ближайший свернутый рулон.— Сколько тебе обещал француз? Двадцать пять франков? Я тебе дам пятьдесят.— Он вытащил бумажник и протянул банкноту. Шагал был так ошеломлен, что даже не обратил внимание, что именно купил у него Аминодав.— Знаешь, Марк, я человек скупой, деньгами не бросаюсь, но у меня хорошее коммерческое чутье.

— Ты меня очень выручил,— радостно сказал Шагал.— Меня сегодня на балет пригласили, а обувь разбитая, даже не знал, как пойду. Тут недалеко есть маленький польский магазин, там можно за несколько франков купить приличные туфли.

— Туфли мы пойдем покупать вместе, и пиджак у тебя, похоже, с чужого плеча, и штаны, извини меня, потертые.

— Все я купить не могу,— сказал Марк,— мне надо отдать долги.

— Это не твоя забота,— сказал Аминодав.— Выберешь, что тебе нравится, остальное — мое дело. Ты не возражаешь, если вечером мы вместе пойдем на балет? Коммерческому человеку тоже хочется когда-нибудь развлечься. А после балета пойдем в публичный дом. Это тоже за мой счет. На Рю Шабанэ есть очень приличное заведение, называется «Общество наций». Там, помимо французских, есть испанские, английские, немецкие, японские, русские и прочие комнаты, на любой вкус.

Войдя в широко распахнутые двери магазина, заполненного покупателями, Марк оказался в огромном зале. Около дверей была выставка товаров.

— Глаза разбегаются.— Марк схватил туфли лимонного цвета.— Сколько это?

Приказчик с карандашом за ухом наблюдал за публикой, кричал:

— Цены написаны, выбирайте сами, товары продаются по случаю.

— Нам не сюда,— сказал Аминодав.

По чугунной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь публики было мало, и приказчики ходили в черных фраках.

— Мосье,— обратился пахнущий духами приказчик к Марку,— помочь вам?

— Мосье — художник,— на ломаном французском языке сказал Аминодав,— мосье выберет на свой вкус.

Марк выбрал фиолетовый пиджак, малиновый жилет, зеленые брюки и желтые туфли.

— По-моему, прекрасно,— сказал он, вертясь перед зеркалом.

На площади Большой Оперы в нарядной толпе сновали барышники, предлагали билеты.

— Однако дорого,— сказал Аминодав, осведомившись о цене.— Публичный дом вдвое дешевле, а об удовольствии еще можно поспорить. На кого попадешь. В прошлый раз я попал на японку...

— Нам сюда,— сказал Шагал, оглядываясь, не слышит ли кто Аминодава.

— Ах, служебный вход,— сказал Аминодав,— это хорошо. У тебя здесь знакомства? Послушай, Марк, не познакомишь ли ты меня с какой-нибудь балериной? Балерина, конечно, будет стоить дорого, и может оказаться, что впустую потратишь деньги...

— Вам к кому, мосье? — спросил дежурный в проходной.

— У меня пропуск от мосье Нижинского,— сказал Шагал.

— Проходите,— заглядывая в бумаги, сказал дежурный.

— Что сегодня показывают? — спросил Аминодав, когда шли каким-то длинным коридором.

— «Видение Розы»,— ответил Марк.— Это балет.

— Балет из еврейской жизни?

— Почему из еврейской?

— Как же, Роза, помнишь в Витебске Розу Князевкер? Меня к ней сватали, а теперь к ней сватают Зуси, который работает учеником у ее отца, парикмахера.

— Нет, тут имеется в виду цветок,— сказал Марк.

Вышли за кулисы, откуда видна была сцена, разрисованная красным и розовым.

— Красное и розовое,— сказал Марк,— значит, Бакст где-то недалеко.

— Здесь очень красиво,— сказал Аминодав.— Смотри,— он указал трос-тью,— та балерина, ты не можешь меня с ней познакомить?

— Я с ней сам не знаком,— сказал Шагал,— прошу тебя, не указывай трос-тью.

— Ах, прости, я понимаю, высшее сословие, манеры, но все-таки, может быть, я ей понравлюсь... Конечно, не для того, чтоб жениться... Мой отец, портной Шустер, в любом случае был бы против. Ноги у нее красивые, но, наверно, глупа как пробка.

— Не знаю, я с ней не разговаривал,— едва сдерживая раздражение, сказал Шагал.

Подошел Нижинский, обнял за плечи.

— Рад тебя видеть,— сказал,— пришел к Баксту?

— Пришел на тебя посмотреть,— сказал Шагал,— и кое-что Баксту показать, кое-какие акварели.

Нижинский начал листать папку.

— Замечательно,— сказал он,— глаз отдыхает после всех этих застоявшихся, изманерничавшихся рисунков.

— Никто не покупает,— печально говорит Шагал,— никому это не нужно.

— Придет твое время.

— Спасибо за утешение, Ваца, но тебе легко говорить. Твое время пришло, а мне уже больше двадцати.

— Богу богово, а кесарю кесарево,— улыбается Нижинский и поворачивается к сцене, где его ждет балерина Карсавина.

Подходит Бакст.

— Постой, Ваца, подожди.— Заботливо поправляет у Нижинского широкий шейный платок, потом поворачивается к Шагалу и, поздоровавшись, говорит: — Так вы все-таки приехали.

— Лев Самойлович,— смущенно говорит Шагал,— я все-таки приехал и даже принес вам свои новые акварели.

— А помните, что я вам не советовал ехать в Париж? — говорит Бакст.— Помните, я вас предупреждал: на мою помощь вы рассчитывать не должны.

— Помню, Лев Самойлович.

— Извините, что я вмешиваюсь,— подходит Аминодав,— но, пока у Марка есть друзья детства, он всегда может рассчитывать на их помощь. Разрешите представиться, Аминодав Шустер, коммерсант,— и протягивает руку. Бакст нехотя пожимает ее.— Марк еще в Витебске хорошо рисовал, он очень хороший художник. Когда-нибудь весь мир это поймет. Посмотрите картину, которую я у него купил за приличные деньги, а у меня рука легкая.— Он разворачивает рулон, холст пуст.— Ах, бывают ошибки,— смущенно говорит Аминодав,— но ты мне нарисуешь что-нибудь на этом... А вы,— обращается он к Баксту,— насколько я понимаю, тоже художник. Нет ли у вас чего-нибудь веселого? Я люблю веселые картины. В «Обществе наций», это такой замечательный бордель, на стенах висят очень веселые картины. Не хотите ли, господа, туда вместе со мной за мой счет? У меня там знакомства, как у Марка в опере, и мне всегда дают самых свежих девочек.

— Господин Бакст занят,— потупив глаза, говорит Марк.— И я тоже не могу.

— Понимаю,— обиженно говорит Аминодав,— я здесь не к месту... Извините, пожалуйста, я пойду.— Аминодав раскланивается и уходит. Наступает неловкая пауза в сопровождении оркестровой увертюры из балета «Видение Розы».

— Простите, Лев Самойлович,— говорит Марк,— это мой знакомый по Витебску. Мы с ним давно не виделись и встретились случайно.

— Да, человек дурного общества,— говорит Бакст,— конечно, черту оседлости нельзя одобрить, но представляете, если б все витебские и бердичевские портные и сапожники приехали в Петербург или тем более в Париж... Какой бы это был позор, и какая находка для антисемитов... Да, ваш знакомый ужасно бестактен.

— Лев Самойлович,— сказал Шагал,— бестактность не всегда связана с бездушностью.

— Что вы имеете в виду?

— Это единственный человек, который помог мне материально, ничего не понимая в моей живописи.

— Ах, вот вы о чем! Вы имеете в виду меня?

— Лев Самойлович, не обижайтесь, я тоже сын грузчика из черты оседлости. Но, наверно, вы все-таки правы, и мне не следовало приезжать не только в Париж, но и в Петербург. Жил бы в Витебске рядом со своими родителями, братьями и сестрами. Женился бы. Стал фотографом. Может, в этом и было бы мое счастье.

— Покажите свои акварели,— сказал Бакст.

— Конечно, Лев Самойлович.— Марк раскрыл папку.— Я испытал в Париже и счастливые минуты. В Лувре, например, или на улице Лаффит, где выставлены Ренуар, Писсарро, Моне. Жаль, в магазин Воллара я боюсь заходить, потому что там сердитый хозяин и он не любит, когда просто смотрят и ничего не покупают, а у меня не всегда даже есть несколько франков на репродукции. Что уж говорить о деньгах на билет до Витебска! Только большое расстояние между Парижем и Витебском удерживает меня здесь. Вы были правы, Лев Самойлович, я ничего не добился в Париже, и мне не следовало приезжать.

— Кое-чего вы все-таки добились, Шагал,— сказал Бакст, просматривая акварели.— Вот теперь ваши краски приобрели свой голос. Здесь, в Париже, во Франции, вы возмужали... Только побольше вкуса, Шагал... Акварели ваши хороши, а одеты вы, извините меня, нелепо, как попугай... И избегайте дурного общества, которого, признаюсь, нам всем все труднее избежать и которое поворачивает искусство в сторону неуклюжести, резкой вульгарности и фатальной неискренности. Вкус, Шагал, может, единственный спаситель в наступающее народно-демократическое время. Посмотрите, что такое вкус. Зрительная зала, битком набитая в продолжение всего вечера, наслаждается ритмичным, однообразным на первый взгляд приплясыванием танцовщиков и танцовщиц. Почему? Потому что задача новой хореографии в наше время — приковать внимание зрителя красотой линий, художественно изогнутой человеческой ногой, лишенной вульгарной, безвкусной эротики. Пусть художник будет дерзок, несложен, груб, примитивен. Новое искусство не выносит утонченного. Оно пресытилось им. Это и есть новый вкус. Элементы недавней живописи — воздух, солнце, зелень. Элементы будущей — человек и камень.— И, улыбнувшись Шагалу, Бакст пошел в глубину кулисы. Исчез навсегда. Звучала музыка. На сцене господствовал балет «Видение Розы».

В публичном доме на Рю Шабанэ было множество зеркал и висели на стенах картины фривольного содержания. Большой пестрый попугай в золоченой клетке сидел нахохлившись. Но когда вышел всклокоченный, с набрякшими глазами Аминодав, попугай вдруг захлопал крыльями и крикнул по-немецки:

— Мой сладенький, угости шампанским! — А потом запел по-испански какую-то песенку.

— Что случилось? — спросил Аминодав ожидавшего его Симича.

— Я вас с трудом нашел,— сказал Симич.— Вы читали сегодняшние газеты?

— Не успел, я был слишком занят.

— Ваша поездка отменяется. Вчера в Сараево убит эрцгерцог Фердинанд. Поговаривают о войне.

— Боже мой, до чего люди глупы! — сказал Аминодав и взялся руками за голову.— Чем больше их узнаешь, тем больше это понимаешь. Во всем глупы: и в делах, и в забавах, и в грехах, и в святости... Вот хотят затеять войну.

— Знаете, кто убил эрцгерцога? — спросил Симич. — Брат члена правления нашего банка, Гаврила Принцип.

— Видите, как получается, — горестно сказал Аминодав, — я ведь обещал господину Принципу поговорить с его братом. Может, мне удалось бы его убедить не горячиться чересчур. Вот не поехал в Сараево, подвел себя и весь мир.

— Не терзайтесь так, — усмехнулся Симич, — вряд ли он бы вас послушал. Или другой бы выстрелил. Австрию ненавидят многие в Сербии.

— О, господин Симич, — сказал серьезно Аминодав, — вы не представляете себе, как важно слово, сказанное вовремя и в нужном месте. Разве людям говорится такое слово? Оно говорится Богу, да простит меня Всевышний, что я употребляю Его святое имя в непотребном месте, куда привели меня мои слабости и грехи. Из-за моих слабостей, может, и начнется мировая война. Ах я идиот!

— Идиот, — вдруг внятно произнес попугай и посмотрел на Аминодава.

Ночью Марку принесли телеграмму. Он допоздна работал, совсем недавно заснул. С трудом открыв сонные глаза, прочел: «Твой брат Давид умер. Ялта. Папа Захария».

— Несчастный Давид, — дрогнувшим голосом сказал Марк. — Туберкулез. Теперь будет покоиться под кипарисом в далекой Ялте.

В Ялте было солнечно, волны били о набережную. Только что прибыл пароход, и множество гуляющих пришло его встречать.

— Погода к вечеру стала лучше, — сказала молодая дама своему спутнику. Она посмотрела в лорнетку на пароход, потом перевела лорнетку на дорогу, по которой двигались похороны. Белый шпич у ног дамы залаял на лошадей, тащивших катафалк.

— Странные похороны, — сказала дама, — мне кажется, что человек, возможно, отец умершего мальчика, танцует за катафалком.

— Похоже, это еврейские хасидские похороны, — сказал ее спутник. — У писателя Анского в «Еврейских рассказах» описан этот хасидский обряд.

— Господи, — говорил Захария, танцуя за гробом, — Господи, Ты вверил мне сына, чистого духом, и таким же я возвращаю его Тебе.

Белый шпич продолжал лаять вслед похоронам.

Серый берлинский вокзал содрогался от многолюдного топота. Сплошным потоком шли мобилизованные солдаты. Царили суета и толкотня.

— Мы, немцы, живем как на вокзале, — сказал Рубинер, встречавший Шагала, — никто не знает, что будет завтра. Может, завтра все загорится.

— Я родился во время пожара, — сказал Шагал, — и такова уж моя судьба, что пожар преследует меня по пятам. Но что делать, как быть, если мировые события настигают нас, словно из-за натянутого холста, и, подобно ядовитым газам, проникают сквозь ткань и краски?

— Ты надолго в Берлин? — спросил Рубинер, когда они сели на извозчика и поехали по украшенным имперскими флагами улицам.

— На несколько дней, — сказал Шагал, — только на выставку. Потом я собираюсь поехать в Россию.

— Я тебе не советую, — сказал Рубинер. — После выставки возвращайся назад в Париж. Посмотри, что делается вокруг. Неужели твоя интуиция не предостерегает тебя, не удерживает от поездки в Россию?

— Я хочу повидать свою родню, — сказал Шагал, — побывать на свадьбе сестры и встретиться с невестой, если она еще мне невеста после моего долгого отсутствия. Я всего на три месяца.

— Три месяца! — усмехнулся Рубинер. — Кто знает, что будет через месяц. Похоже, Европа вступает в войну. Безумие возобладало. Значит, безумие возобладало и внутри нас. У Рихарда Демеля в его поэме «Два человека» сказано: «Я так един со своим миром, что без моей воли ни один воробей не упадет с крыши».

— Безумие мира можно ощутить и в живописи, — сказал Шагал. — Кубизм раскалывает ее, импрессионизм выкручивает. Мне иногда кажется, что если действительно случится война, то причиной и виновником будет Пикассо со своим кубизмом.

— Не следует все-таки сбрасывать со счетов и грубый политический натурализм нашего кайзера,— сказал Рубинер.— Но если Пикассо и кубизм разжигают войну, то какая же живопись созидает мир?

— Не знаю,— сказал Шагал,— может, я вообще не художник. Я часто говорю себе: я не художник. Так кто же я? Не бык ли? Я даже подумываю напечатать этот образ на своих визитных карточках. Бык Шагал. Летающий бык рядом с летающей короной. Чисто экспрессионистский образ. По крайней мере экспрессионизм отражает истинное состояние мира, в то время как кубизм— это та же буржуазность, только более рафинированная. Это направление, оторванное от реальной жизни, от реальных событий, которые все настойчивей и грозней дают о себе знать...

В небольшом помещении редакции газеты «Штурм» необрамленные картины Шагала были развешаны на стенах, а акварели размещены просто на стульях и столах. Вальден со своим птичьим носом и длинными волосами говорил:

— Старый мир кончается. Во Франции господство импрессионизма. На передний план выступает передача не отдельных предметов и подробностей, а передача света, воздуха, движения, впечатление целого. Макс Либерман пытается пересадить это на немецкую почву, но я не думаю, что это искусство будет иметь у нас большой успех. Нам, немцам, ближе экспрессия. Вместо расплывчатых линий и красок ясность линий и определенность распределения красочных масс. Это более соответствует нашей национальной психике. Поэтому ваши картины, Шагал, именно в Германии будут иметь успех. Может, не сразу, но ваш успех начнется именно в Германии.

— Хорошо бы,— сказал Шагал.— Пожив в Париже, я уже не мечтаю о большом успехе. Хотя бы покупали картины.

— Нет, поверьте мне, будет большой успех,— сказал Вальден.— Ваше стремление не отражать будничную действительность, которая перед глазами, а переноситься из будничной жизни в идеальную сферу, в область чистой красоты, имеет в немецкой живописи давние традиции. Я бы назвал этот стиль неоидеализмом. Такие традиции не только в германской живописи, но и в германской архитектуре. Например, наше здание берлинского рейхстага архитектора Поля Валлота. Людвиг, хорошо бы повезти Шагала посмотреть рейхстаг.

— Там сейчас слишком противно,— сказал Рубинер,— сплошные патристические манифестации.

— Жаль,— сказал Вальден,— но в следующий приезд обязательно посмотрите рейхстаг. Мне кажется, живопись Шагала соответствует архитектурному стилю Валлота. Хорошо бы, если бы когда-нибудь Шагал расписал рейхстаг изнутри. Его роспись соответствовала бы цели сооружения, тому порядку чувств, который дала новая культура.

— Ты с ума сошел,— засмеялся Рубинер,— представляю, как чувствовали бы себя в рейхстаге Циммерман, Бекль и прочие депутаты от Немецкой антисемитской народной партии под еврейскими росписями!

— Я думаю о культуре,— сказал Вальден,— а не о диких кабаках, у которых шерсть дыбом. Наступят и другие времена, и мы еще увидим расписанные Шагалом немецкие здания.

Пошли в расположенную рядом галерею «Штурм». Висевшие на стенах полотна были яркими, краски словно вопили. Один из холстов назывался «Симфония крови». Второй — «Цветовая гамма конца света».

— Душевный разлад требует новых форм,— говорил Вальден,— это уж скорей не экспрессионизм, а неоэкспрессионизм или дадаизм.

Вечером на открытии выставки Шагала было много народа. Пили, курили, читали стихи.

— Мы отрывали глаза от собственной крови,— читал Рубинер,— небо летело над каждой улицей города. На мощеной улице предместья седая потаскуха поджидала солдат у забора. В мебелированных комнатах русские говорили о пользе террора.

Но в передней было тихо, и какой-то молодой человек говорил другому в пене:

— Всюду еврейское влияние. Все галереи в Берлине заняты евреями. И в Мюнхене, и в Гамбурге. Повсюду. Вальдену мало немецких евреев, так он еще организовал выставку еврей из России.

— У нас в Австрии не лучше,— говорил господин в пенсне,— мне это хорошо известно как преподавателю венской академии художеств.

— Как же, знаю, это в Вене на Шиллерплатц. В свое время я пытался туда поступать, но безуспешно.

— Не вы один. Мы, христиане, чувствуем себя чужими. На моей памяти все провалившиеся были католиками. Гайнц Альс, Вольфганг Швамбергер, Адольф Гитлер поступал дважды, Иохим Вунд и так далее.

— Единственное место, где еще не господствуют евреи,— это картинная галерея в Дахау возле Мюнхена. Все остальное захвачено сынами Иуды. Иногда просто впадаешь в отчаяние.

— Отчаяние — это не арийское чувство,— сказал господин в пенсне,— приходите завтра вечером на Байеришеплатц. Депутат рейхстага Бёкль любезно предоставил молодым немецким художникам залу в помещении своей антисемитской народной партии. Ради этого я специально приехал из Вены в Берлин.

В зале «Штурма» Рубинер читал:

— Берлин чавкает буря. Свет уже не горел за пестрым стеклом заката. Не горели огни в бумажных фонарях. Огненный зонтик неба раскрылся над головой. Воздух, плаваясь, летел порывами ветра за поле. Внизу лежал жесткий песок, красноватый, как растоптанная толпа. С воем мы врывались на Темпельгофское поле.

Послышался грохот, все затряслось. По Потсдамерштрассе двигалась артиллерия. Сытые огромные лошади тащили орудия, на солдатах были тяжелые каски.

— Цивилизация кончается,— сказал Вальден, держа в руке стакан коньяка,— разум больше не пригоден для жизни, надо жить интуицией.

В восемь вечера на Байеришеплатц и на примыкающих к ней улицах разом зажглись фонари. В довольно большом зале антисемитской народной партии по стенам развешаны были картины, рисунки, акварели.

— Выступает депутат бундестага от антисемитской народной партии господин Бёкль,— объявил председательствующий.

— Дамы и господа,— сказал Бёкль,— выставка молодого немецкого искусства открывается в великие дни для нашего немецкого отечества. Весь народ, за исключением небольшой кучки объевреившихся предателей, объединяется, находит почву для взаимного примирения перед лицом внешнего врага. Наш кайзер Вильгельм сказал: я не знаю партий, есть только немцы. (Аплодисменты.) Я рад видеть здесь среди собравшихся художников только немецкие, арийские лица. (Аплодисменты.)

Потом выступил профессор венской академии.

— Дамы и господа! Мы рождены в эту великую эпоху и должны пройти до конца назначенный нам путь. Мы, арийцы, должны стоять до конца, как тот римский солдат, кости которого нашли у ворот Помпеи и который погиб, так как его забыли сменить перед извержением Везувия. В этом величие, в этом сказывается раса. Это честный конец патриота. Расовый характер наисильнейшим образом определяет свойство национальной культуры, здоровой, ясной, лишенной еврейского гнилостного разложения. (Аплодисменты.) Посмотрите на эти картины, господа. В них духи, близкие природе, земле. В них хранится старая вещь немецкого истинного натурализма...

Среди висевших на стенах картин была и акварель молодого мюнхенского художника Адольфа Гитлера.

Утром Шагал и провожавший его Рубинер ехали в трамвае на вокзал. На перекрестке трамвай надолго задержался: шли войска.

— Я опоздаю на поезд,— нервно говорил Шагал,— надо было выехать раньше.

— Кто мог предположить? — сказал Рубинер.— Militarизм совершенно парализовал берлинскую жизнь. Просто трудно дышать. Посмотрите вокруг на голубые, цветущие от восторга лица патриотов.

— Да здравствует кайзер! — высунувшись в окно, крикнул один из пассажиров. — Да здравствует отечество! Слава немецким солдатам!

Проезжающий на фэзтоне офицер улыбнулся и взял под козырек. Публика на тротуарах размахивала национальными флажками.

— Я старый немецкий социал-демократ, — сказал какой-то седой господин, — но в это роковое время мы, немецкие социал-демократы, поддерживаем нашего кайзера против врагов Германии.

— Этого я уже не могу выдержать, — сказал Рубинер и закричал седому господину: — Я тоже социалист! Истинные немецкие социалисты выступают против кровавой бойни, на которую толкают народ ради интересов кайзера, ради интересов помещиков и капиталистов.

— Нет, истинные немецкие социал-демократы поддерживают кайзера за исключением небольшой антипатриотичной клики Карла Либкнехта, к которой вы, очевидно, принадлежите.

— Социал-предатель! — нервно крикнул Рубинер. — Вы подкуплены капиталистами, которые начинают войну ради своих барышей.

— Сегодня так ни один честный немец говорить не может, — сказала дама Рубинеру. — Вы либо поляк, либо еврей, либо мошенник.

— Я хотел был возразить этой уважаемой даме, — сказал человек с курчавой черной бородкой. — Мы, немецкие евреи, активно поддерживаем кайзера. Мы организовали сбор средств в поддержку немецкой армии. Мой сын добровольно записался в армию. Мы, немцы иудейского вероисповедования, готовы трудиться на благо нашего немецкого отечества, во имя немецкого патриотизма.

— Где ваш патриотизм, — спросил Рубинер, — в сердце или в кармане?

— Высадить их из трамвая, — предложил один из пассажиров. — Антипатриотам нет места в немецком трамвае.

— Господа, — обратился кондуктор к Шагалу и Рубинеру, — прошу вас покинуть трамвай.

— Но мы заплатили за билет, — робко сказал Шагал, — я, господа, тороплюсь на вокзал.

— Молчать! — вдруг закричал краснолицый пассажир. — Молчать! Пьяная свинья!

— Господин кондуктор, — сказала дама, — пьяным запрещено ездить в трамвае.

— Дать этим иностранцам в морду, — флегматично посоветовал молчавший до того пассажир.

Войска, шедшие мимо, запели песню:

— Ин дер хаймат, ин дер хаймат, да гибтс айн видерзейн...

Миновав перекресток, солдаты пошли параллельно трамвайным путям.

— Скорей выходите, — сказал кондуктор, сверля Рубинера и Шагала глазами.

Шагал, согнувшись под тяжестью чемоданов, пошел к выходу. Следом за ним двинулся Рубинер.

— Ин дер хаймат, ин дер хаймат, да гибтс айн видерзейн, — запели вслед за войсками пассажиры, кондуктор и вагонножатый. Поющий трамвай унесся.

— Зачем вы с ними спорили? — раздраженно спросил Шагал.

— Как, я должен молчать? А мои принципы? Я пацифист.

— Из-за вашего пацифизма мне теперь придется тратиться на извозчика, — сказал Шагал.

Германия осталась позади. Потянулись поля австрийской Польши, потом австрийской Галиции. Здесь тоже было много солдат, но австрийские солдаты в своих голубых коротких шинелях и высоких кепи не выглядели столь гнетущие. Берлинские впечатления постепенно рассеялись в пути, тем более ехал Шагал в одном купе с красивой француженкой Вивьен. Пили принесенный проводником чай с печеньем.

— Что ждет меня в России? — говорила Вивьен. — Чужая, незнакомая страна, чужие люди, чужие нравы.

— Таких, как ты, Вивьен, хороших женщин всюду ждет одно и то же, — сказал Шагал.

— Ах, какой ты шалун! — засмеялась Вивьен.— У меня в Париже остался жених.

— А у меня в Витебске невеста.

— Ты ее любишь?

— Не знаю, мы давно не виделись. Может быть, она уже невеста или же на другого и наш роман благополучно скончался.

— Вот какие вы, мужчины! Вам никогда нельзя доверять. Я уверена, твоя невеста тебя ждет.

— Почему ты так уверена? Ты ведь ее никогда не видела.

— Зато я вижу тебя, этого достаточно для женского чутья. Ты красивенький, у тебя такие мягкие волосы.— Она погладила его по волосам.— Ты такой хороший, совсем еще не испорченный. Ты и целоваться правильно не умеешь.

— Нет, умею,— сказал Шагал и, подавшись вперед, поцеловал ее неловко, расплескав чай.

— Ну я ж говорила, не умеешь,— сказала Вивьен и, притянув к себе, поцеловала в губы.

— Варшава, дамы и господа! — проходя по коридору, прокричал проводник.

— Варшава — это уже Россия? — спросила Вивьен.

— Это Польша,— сказал Шагал.— Слышишь, на перроне кричат «пся крев»? В России кричат по-другому.

— Мне говорили, в России вообще азиатчина,— сказала Вивьен,— там мужья бьют жен казацкими нагайками.

— Ну, тебя бить не будут,— сказал Шагал.— Этот сенатор в Петербурге, к которому ты едешь гувернанткой, может быть, будет к тебе приставать, но бить он тебя не будет.

Поезд давно уже миновал Варшаву. Неслись мимо поля, перелески, разьезды, где у шлагбаумов стояли подводы.

— Это уже Россия? — спрашивала Вивьен.

— Может быть. Я едва знаю ее, Россию.

— Разве Россия не твоя родина? — спросила Вивьен.

— Я родился в России, но моя ли это родина, не знаю.

— А где же твоя родина?

— Я и сам часто думаю, где моя родина. Может, моя родина в Лувре, в круглом зале Веронезе, в тех залах, где висят Мане, Делакруа, Курбе? Когда я думаю о Европе и России, то Россия в моей фантазии уподобляется корзине аэростата, который все больше и больше сморщивается. Он еще парит над землей, но неминуемо на нее опускается. Таким вот представляется мне и русское искусство. Стоит мне обратиться к нему в мыслях или в разговоре, как я начинаю испытывать все то же смутное и запутанное чувство, полное горечи и раздражения, как и тогда, когда я думаю о России. Кажется, будто и над Россией и над русским искусством тяготеет какой-то рок: они всегда тянутся на буксире за Западом. Но если русские художники осуждены оставаться учениками Запада, то они, по-моему, это заложено в их природе, ученики не слишком усердные. В сравнении с реализмом, допустим, Курбе, самый яркий русский реалист производит впечатление неуклюжести. А сопоставляя русский импрессионизм с импрессионизмом Моне или Писсарро, просто теряешься. В Париже в Лувре я понял, что если когда-нибудь мои картины будут признаны, то это случится именно в Европе. Только перед картинами Мане, Милле и других я уразумел, почему мои связи с Россией столь непрочны, почему русским непонятен и чужд мой язык. Почему ко мне нет доверия в стране, где я родился, почему меня не признали художнические круги, почему в России я пятое колесо в телеге. Все, что я делаю, кажется им странным, а все, что они делают, кажется мне лишним. Мне не хочется больше говорить об этом. Я люблю Россию.

— Ой, чемодан! — закричала Вивьен.

Кто-то с крыши вагона пытался крючком вытащить чемодан Шагала.

— Это уже мои родные места,— сказал Шагал и, ухватившись за чемодан, сорвал его с крючка вора.

— Ужасная страна,— сказала Вивьен,— несчастные люди, несчастный ты! Зачем ты едешь в такую страну, если тебе не обещают хороший заработок?

— Я еду в свой родной город Витебск. Не знаю, Россия это или не Россия, но это мой родной город. Город дюжины синагог, город мясных лавок и прохожих. Если б еще можно было перенести по воздуху из Парижа в Витебск Лувр... Я знаю, мне в Витебске будет не хватать Парижа, как в Париже мне не хватало Витебска. Вот он, мой город, который я снова обрел. Я возвращаюсь в Витебск с растроганным сердцем.

Поезд подошел к витебскому вокзалу. Марк и Вивьен обнялись и поцеловались на прощание.

Шагал остановился у дома, увешанного вывесками: гостиница «Тиволи», кофейня Альберта, ювелирный магазин Розенфельдов. Войдя в подъезд, Шагал позвонил. Открыл привратник.

— Тебе кого? — спросил он, оглядывая человека с вещами.

Вышел отец Беллы с золотой цепью от карманных часов на большом животе. В приоткрытые двери слышались звуки скрипки, кто-то играл гаммы.

— Мне знакомо ваше лицо, — сказал отец Беллы, взглянув в Шагала, — но помощь нуждающимся мы оказываем через синагогу. Впрочем, возьмите рубль.

— Я его возьму как сувенир, — сказал Шагал. — Я пришел свататься к вашей дочери.

— К Белле? — Он захохотал. — Весьма трогательное событие. Кто вы?

— Я Марк Шагал.

— Теперь вспомнил. Ваш отец, кажется, грузчик на мебельной фабрике.

— Нет, в селечной лавке. Я еще не был дома, я только что с поезда.

— М-да... Конечно, у молодых людей бывают всякие фантазии, но вы должны понимать, что все эти фантазии переменчивы. И почему, между нами говоря, вы так спешите под свадебный венец? Успеете жениться. Главное, молодому человеку стать на ноги, чтоб иметь возможность прокормить свою семью. Вы не обижаетесь, что я с вами говорю так откровенно?

— Почему же, ребб Розенфельд, я понимаю вас. Вашу семью не устраивает мое происхождение. Мой отец простой рабочий, а вы владеете тремя ювелирными магазинами, в которых блистают и сверкают во всем великолепии кольца и перстни, пряжки и браслеты, тикают часы и будильники. Может, вы правы. К чему мне, бедняку, связываться с такими знатными людьми? Я привык к совсем иному порядку, а у вас три раза в неделю пекут огромные пироги с яблоками, с творогом, с маком. Завтраки в доме моих родителей кажутся по сравнению с этим великолепием скромными натюрмортами в стиле Шардена.

— Вы имеете в виду Шардмана, — мягко поправил Розенфельд, — владельца мясной лавки... Сын Шардмана действительно сватался к Беллочке.

— Нет, Шардена, я имею в виду Шардена... Дайте мне воды.

— Принеси ему клюквенного морса, — сказал отец Беллы служителю. — Вы устали с дороги и немного возбуждены, — обратился он к Шагалу, — приходите через несколько дней со свежей головой. Так будет лучше для вас, и для Беллы, и для всех.

Служитель принес стакан холодного морса. Выпив залпом, Шагал пошел к выходу. Приоткрылась дверь, и Шагал увидел отраженную в зеркале Беллу, играющую на скрипке гаммы.

Голубой свет проникал в комнату с холма, на котором стояла церковь. Комната была небольшая, на стенах картины, единственный стул, колченогий стол, железная кровать. Белла лежала обнаженная на кровати, и Марк ее рисовал.

— Эта комната напоминает мне парижский «Улей», — сказал Марк, — но только почище, потому что здесь Белла.

— Стоит лишь раскрыть газеты, чтобы понять, что мы не в Париже, — сказала Белла и подобрала лежащие на полу у кровати газеты. — Послушай, что пишут в газетах. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич требует выгнать евреев из России в двадцать четыре часа, или ставить их к стенке, или то и другое. Газеты обвиняют в поражении русской армии евреев. Все евреи — немецкие шпионы.

— В такое время невозможно писать,— говорит Шагал.— Если б не ты, моя живопись стала бы совсем тупой.

— В городе полно дезертиров,— сказала Белла,— мои родители хотят временно закрыть магазины и спрятать наиболее ценные вещи. Говорят о возможном погроме.

Ночью Шагал проснулся от выстрелов. Белла заворочалась, спросила спросонья:

— Стреляют?

— Каждую ночь стреляют... Спи.

Белла повернулась на другой бок и уснула. В эту ночь стреляли, однако чаще и ожесточенней. Шагал оделся и вышел на улицу. Падал редкий колючий снег. Фонари не горели, но ярко светила луна. Вдали слышны были выстрелы, крики и пьяные песни. Пробежал какой-то мужчина, крикнул испуганно:

— В городе погром!

Шагал пошел к центру. У моста какие-то оборванцы сбросили вниз на лед реки прилично одетого, ужасно вопившего человека. По улице шли солдаты и матросы, увешанные оружием, но были среди них и мастеровые, и крестьяне, кто с топором, кто с дубиной. Впереди толпы на пулеметной тачанке ехал матрос с черными усами, играл на гармошке и пел:

— Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали,

Товарищ, мы едем далеко, подальше от грешной земли...

Как бы подыгрывая песне, пулеметчик давал время от времени очереди в разные стороны. Рядом с матросом на тачанке стоял подросток, почти мальчик, в солдатской папахе и шинели не по росту, румяный, с веселыми глазами.

— Еврей идет! — радостно, звонким голосом закричал он, увидев Шагала, и прыгнул с тачанки.— Можно, я его пристрелю?

— погоди! — говорит матрос и обращается к Шагалу: — Еврей?

— Я... я... н-нет... — заикается Шагал.

— Врешь, Мойша! — смеется паренек.— Можно, я его штыком?

— погоди,— опять говорит матрос и спрашивает Шагала: — Умирать не хочешь?

— Н-не-не хочу... Я художник... По-моему, мы с вами в Петербурге жили, черные усы...

— Так ты меня знаешь! — смеется матрос.— А как меня звать?

— За-забыл.

— Становись к дереву да вспоминай. Вспомнишь — может, отпущу. Не вспомнишь — сам понимаешь, тебе хана... Этого пока не трогать!

Приволакивают какого-то старика.

— Я православный,— лепечет старик.

Подбегает подросток и с ходу бьет старика прикладом по голове.

— Ах ты, мешок кишок! — говорит крестьянин.— Гляди, кровью мне онучи забрызгал.

— Спешись,— говорит матрос,— он, и верно, православный, крест на шее.

— Это я нечаянно! — смеется подросток.

— Вспомнил? — обращается матрос к помертвевшему Шагалу.

— С-Степан,— говорит Шагал.

— Врешь! — смеется матрос.— Ах ты сволочь! Честные люди на море живут, а на земле основались сволочи. Вспоминай, не вспомнишь — хана.

Слышны крики и звон стекла.

— Хорошо мужики еврейское добро бьют! — смеется крестьянин.

— Скажи своим мужикам,— командует матрос,— чтоб крупную вещь: шкафы, сундуки, кровати — не ломать. Они народу достанутся. А мелкое, пустяки разные бей в пыль. От пустяков все горе наше.

Солдаты приволакивают еврея.

— Жида поймали,— говорит солдат,— вроде бы в синагоге поет...

— Ну-ка пой! — говорит матрос и растягивает меха.— Калинка-малинка, малинка моя — пой.

— Калинка-малинка,— начинает дрожащим голосом кантор.

— Хреново поешь.

— Я, господин матрос, только молитвы петь могу.

— Ну пой молитвы.

Под звуки молитв погром продолжается. Звучат выстрелы, падают тела.

— Вспомнил? — спрашивает Шагала матрос.

— Иван, — бормочет Шагал.

— Врешь! — смеется матрос. — Меня Вакула зовут. И в Петербурге я никогда не бывал, на Амуре служил кочегаром на военном судне. Однако хороша у тебя, художник, привычка дурака крутить в опасный час. Такая привычка и меня выручала... Беги домой да штаны перемени. — И тут же бьет по лицу очередную жертву рукояткой маузера.

Дома Шагала ждала встревоженная, плачущая Белла.

— Я уже хотела идти тебя искать...

— Этого еще не хватало, — отвечает бледный, дрожащий Шагал.

— Зачем ты туда пошел?

— Не знаю... Мне было любопытно... Мне хотелось увидеть погром вблизи. — Он припал к плечу Беллы и зарыдал.

— Пойдем, пойдем, — говорит, тоже плача, Белла, — пойдем, я тебя помою... Я нагрēju воду...

— Честно говоря, мне в Петербург не хочется, — говорит несколько успокоившийся Шагал, — но куда деться? На фронт? А на фронте что я буду делать? Смотреть на поля, на деревья, на небо? На облака? На кровь, на человеческие кишки? Нюхать запахи фронта? Табак, вши, мужики в лаптях едят и воняют. А я никому не требуюсь, меня даже погромщики не убили. Меня нельзя принимать всерьез, я ни на что не гожусь, даже в жертвы. Да и мяса на мне мало. А мои цвета — розовые щеки, синева вокруг глаз. Какой из меня солдат?!

— Мой брат работает в петербургской комендатуре, — говорит Белла, — он тебя устроит писарем.

— Ты права, жена моя, — говорит Марк, усаживаясь в принесенный Беллой таз, — ты предпочитаешь большие города и культуру. Сколько огорчений я тебе доставляю! Но лично я никогда не пойму, почему люди так стремятся жить кучно, в одном месте, если за пределами города слева и справа бесчисленные километры пустого пространства. Меня вполне устроила бы какая-нибудь дыра, какое-нибудь укрытие, я чувствовал бы себя там прекрасно. Я уселся бы в синагоге и оглядывался вокруг.

— Но где ты возьмешь в поле синагогу?

— Ну, хорошо. Я сел бы на скамейку на берегу реки. Просто так... А то можно было бы и ходить в гости, если бы рядом жили хорошие люди... Конюдо, Вальден, Рубинер... Но они далеко, за линией фронта, там, где в плену остались мои картины... И Берлин далеко, и Париж далеко... Все теперь далеко. Только канонада в Себеже, в Могилеве, только солдаты в окопах, только погромщики — это близко. Но у меня есть одна просьба к Господу и к немецкому кайзеру. Я молю Вильгельма: хватит с тебя Варшавы и Ковно, не трогай Витебска. Это мой родной город. Я хочу писать здесь картины. Русские дерутся отчаянно, но на радость Вильгельму воюют скверно. Отбросить врага им не удастся. И за это, как всегда, должны расплачиваться евреи. Знаешь, Белла, иногда мне хочется стереть евреев с моих картин и спрятать в безопасное место.

Белла подала махровое полотенце, поставила на стол стакан чая с клубничным вареньем. Марк вытерся, выпил чай и утомленный уснул.

Петербург, продуваемый сырым ветром. Много нищих с котомками. Очередь у булочных. У общественных бань охрана проверяет пропуски. Солдаты с женами или подругами входят туда с березовыми вениками в руках.

— Я не пойду, — говорит Шагалу Белла, — мне страшно и стыдно идти в такую баню.

— Но ведь пропадут талоны, — говорит Шагал, — на талоны выдают банное мыло.

— Позор — идти в такую баню, — говорит Белла.

— В нынешней России это не позор, а почет и привилегия. Читай объявление на дверях: «Лицам дворянского происхождения вход в баню запрещен». Видишь, мы теперь принадлежим к высшему сословию. Ленин поменял в России верх и низ, как я на моих картинах.

— Шагал! — выкрикивает дежурный у бани.

— Я, — четко, по-солдатски отзывается Шагал, одетый в старую солдатскую шинель без хлястика.

— Банный мандат есть?

— Так точно... На двоих с женой.

— Два куса мыла... Проходи.

С коридорах Наркомпроса, как во всех советских учреждениях, было столпотворение. Ко всякому, кто носил кожаную куртку, бросались со всех сторон с протянутыми бумагами. Сделав несколько подобных попыток, Шагал искал место подальше от многолюдства, уселся на скамейку, погрыз припасенный черный сухарь и от усталости задремал. Ангел с удивительно знакомым лицом спустился сверху и сказал:

— Шагал, вас здесь не понимают. Вы благородная душа, честный, возвышенный человек. Но придет время и весь мир признает вас как великого художника.

— От души благодарю за такие слова, — сказал Шагал.

— Считаю за честь пожать вашу благородную руку...

— Товарищ Шагал.

Марк открыл глаза. Перед ним стоял улыбающийся Луначарский.

— Рад вас видеть, Анатолий Васильевич. Я от усталости немного вздремнул, и мне приснился ангел, очень меня ободривший. Но признаюсь, Анатолий Васильевич, я ныне нуждаюсь в ободрении не только сил небесных, но и сил земных... А вы, Анатолий Васильевич, среди земных теперь сила...

— Да уж, сила! — засмеялся Луначарский, поблескивая пенсне. — Пойдемте ко мне.

Луначарский ведет Шагала тихими, пустыми коридорами мимо молчаливых часовых.

— У меня в кабинете, правда, небольшая репетиция, — говорит Луначарский, — актеры уточняют текст... Пьеса в духе библейском, что-то вроде конца Содома. Король влюблен в свою дочь.

— Я где-то когда-то уже видел подобную пьесу.

— Сюжет бродячий. Но у меня все по-другому. Нам, марксистам, не нужен реалистический бытовой театр, театр небольших мещанских идей. Нам нужны громадные прекрасные полотна. Марксизм — это ведь романтика.

— Может быть, — сказал Шагал, — но мои сведения о марксизме ограничиваются тем, что Маркс был еврей и носил большую белую бороду. А марксистские идеи, марксистская мораль мне неизвестны.

— Что такое мораль? — сказал Луначарский, останавливаясь посреди коридора. — О какой морали вы говорите? О морали, которую проповедуют в церкви, в синагоге, в мечети? Пока благочестивые иереи проповедуют мораль буржуазии и мещанству, в каждом городе процветают дома терпимости, пьянство и в центре каждого города стоит храм наживы — биржа. Мы, марксисты, раз и навсегда намерены покончить с такой моралью. И на женщину буржуазия смотрит как на собственность, лицемерно. Соблазнить мою жену — ужасное преступление, но если я соблазну твою — это не так плохо! — Луначарский засмеялся. — Пойдемте...

Шагал и Луначарский вошли в кабинет. Там стояли большой письменный стол и обеденный стол поменьше, за которым сидели грузный седовласый человек и молодая женщина, хлебная картофельный суп. От запаха супа у Шагала закружилась голова.

— Знакомьтесь, — сказал Луначарский, — артист бывшего императорского театра Андрей Петрович Шуваловский и артистка Анна Карловна Остроумова. А это замечательный художник Марк Захарович Шагал.

— Очень приятно, — улыбнулся Шуваловский, продолжая есть суп.

— Нынешние эксплуататорские классы, — сказал Луначарский, — прежде всего буржуазия, являясь пожирателями детей рабочих на своих фабриках, сня-

ли свои веселые разноцветные одежды, которые они носили во времена Возрождения, сменили их на черные и серые пиджаки с белым бельем, прикидываясь скромниками.— Луначарский засмеялся.— Я в своей пьесе постараюсь вновь одеть этих хищников и развратников в их прежние феодальные одежды...

Зазвонил телефон. Луначарский взял трубку.

— Да. Это вы, Феликс Эдмундович? Обязательно буду... У меня сейчас важное совещание... Кстати, как насчет списка, который мы передали с Горьким? Ну благодарю вас. До встречи.— Он положил трубку.

— Мы готовы,— сказал актер, тщательно вытирая тарелку куском булки.

— Начнем,— сказал Луначарский.— Итак, король и его дочь, к которой он пылает предосудительной любовью. Король подходит и берет дочь за руку выше локтя.

— Что если бы тебя в соборе венчал архиепископ сам? — продекламировал Шуваловский.

— Отец мой, непристойно слышать речи подобные. Должны вы пощадить стыдливость дочери. О! Как вы оскорбили неслыханно любовь мою подобной злою, злою, злою шуткой! — Остроумова технически заплакала.

Вошла буфетчица с подносом, забрала пустые тарелки и поставила две миски, полные дымящейся гречневой каши, положив рядом деревянные ложки.

— Бланка, я не шучу,— дрогнувшим, изменившимся голосом произнес король, невольно глядя через плечо возлюбленной на дымящуюся кашу,— люблю тебя, люблю.

— Боже мой, вы обезумели,— произнесла Остроумова,— о Боже, страшно! Мне страшно.

— Что с вами, товарищ Шуваловский? — спросил Луначарский.— Вам не хорошо?

— Этот человек,— произнес Шуваловский, указывая дрожащим пальцем на Шагала,— ест мою кашу.

— Простите,— сказал Шагал с набитым ртом, торопливо пережевывая кашу,— я совершенно машинально, увлеченный вашей игрой... Я никогда раньше не любил гречневую кашу. Это была для меня самая противная еда на свете. Я бесился только от одного представления, что у меня во рту крупинки чего-то наподобие спичечных головок.— И он отодвинул от себя тарелку.

— Доедайте,— сказал Луначарский.— Это я виноват, я сейчас закажу третью порцию.

— И если можно, Анатолий Васильевич,— сказал Шагал,— мне тарелку картофельного супа. Я с детства обожаю картофельный суп. Но не буду вам мешать.— Он взял миску с гречневой кашей и отошел к окну.

Вся огромная площадь была густо заполнена народом. Начинался митинг.

— Не кричи,— с пафосом произнес Шуваловский,— а то запрю тебя в глухое подземелье, света там не увидишь! Вспомни, что я сказал тебе: есть воли в мире, повиновение которым счастье, сопротивление — гибель...

На площади толпа криками приветствовала оратора с темной бородкой и в очках.

— Я уверен, вы могли бы замечательно оформить этот спектакль,— говорил Луначарский Шагалу, пока они шли по коридору. Подошли к какой-то двери, из-за которой доносилась странная какофония, словно несколько роялей играли разную музыку.— Здесь сдают экзамены в консерваторию наши народные таланты.

В комнате стояло действительно три рояля, и на всех трех играли разную музыку, а в углу кто-то пел басом.

— Для меня немного шумно,— сказал Шагал,— я подожду вас на свежем воздухе.

— Когда поворачиваются новые страницы истории? — говорил Луначарский, раскинувшись на заднем сиденье автомобиля рядом с Шагалом.— Новые страницы истории поворачиваются тогда, когда новый класс приносит новые взгляды на законы, новую политическую практику, новую мораль. Тогда можно сказать: разумное становится бессмысленным, добродетельное — злом.

У массивного здания с зарешеченными окнами стояли часовые. Луначарский и Шагал прошли гулким сырым коридором, по ржавой лестнице спустились в подвал, едва освещенный тусклыми фонарями. За ржавой решеткой во множестве стояли люди, под ногами хлюпала холодная вода. Завидев Луначарского, они толпой бросились к решетке, отталкивая друг друга.

— Ну-ка, буржуазия,— крикнул охранник,— свинцовой каши захотели?

— У меня список на десятерых,— сказал Луначарский.

— К коменданту надо,— сказал охранник.— Товарищ Софья, к вам.

Подошла женщина в кожанке с большим маузером на боку и папиросой, зажатой в углу рта.

— Опять, Анатолий Васильевич, буржуазию выручать приехали,— сказала она, недобро блеснув глазами.

— Революционный гуманизм, Софья.

— Бумажка есть? — Луначарский протянул бумагу.— Ну, выкликайте. А этот чего? — глянула она на Шагала.

— Этот со мной,— улыбнулся Луначарский.— Не узнаешь, Соня?

— Нет. У меня много таких умников сидит.

— Что ты, Соня, на умников так зла? — спросил Луначарский.— Дураки тебе более по душе?

— Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам простую нашу жизнь не путали.

— Узнал Сою из «Улья»? — спросил Луначарский у Шагала.— Моя ученица, я ею горжусь при всех ее излишествах. А это Шагал. Узнаешь, Соня?

— Теперь узнала,— сказала она помягче.

— Вас, Соня, узнать трудно,— сказал Шагал.

— Это не я переменялась, это мир переменялся,— сказала Соня.— Видите, кто был всем, тот стал никем.

— Актриса Устюгова, эссеист Борхгейм, художник Ожогин...— вызывал Луначарский.

— Ладно,— зло говорила Соня, глядя на отпущенных,— ступайте прочь, сукины дети! Молите своего Бога за нашу революционную доброту.

— Анатолий Васильевич,— кричали из толпы арестантов,— господин Луначарский, я приват-доцент Нерсесов. Мы встречались с вами в Киеве...

— Передайте, профессор Идельсон и профессор Железновский протестуют против своего ареста...

— Анатолий Васильевич, я Будунов-Будзинский...

Луначарский добродушно разводил руками. Вдруг какой-то взлохмаченный, с густой седой шевелюрой человек оттолкнул охранника и побежал по скользким ступеням.

— Скажите Горькому,— отчаянно закричал он,— арестован Луньков! Арестован Луньков. Здесь расстреливают невинных!

Соня коротким резким движением ударила Лунькова коленом в пах. Тот, скорчившись от боли, покатился по ступеням вниз. Шагал отвернулся.

Ехали в автомобиле и молчали.

— Горький,— наконец сказал Луначарский,— я повезу вас к Горькому. Он сейчас болен, но он нас примет.— Шагал ничего не ответил.— Конечно, всякий глубинный поворот связан с перебором, с излишествами. Вспомните историю любого общества. Государство, по мнению Маркса, есть органическое насилие над подчиненными.

— Но можно ли насильем добиться всего? — спросил Шагал.— Не напрасно в Священном писании мы находим фразу, что хорошо, когда слуга служит не за страх, а за совесть.

— Вот-вот,— сказал Луначарский,— эксплуататорские классы всегда стремились сделать совесть моральным полицейским. Тем более что именно они объясняют, что такое совесть: трудиться, терпеть, ждать награды за гробом. Выгоды совести заключаются в том, что при ней нет нужды следить за человеком. Совесть — это недремлющее полицейское око, которое учит, что существуют всевидящий Бог и незримые духи. Но наша новая пролетарская мораль заменяет совесть, которая дана милостью Божьей, революционным долгом. Мы нашли совершенно иной путь, чем тот, который предлагал Достоев-

ский, а вместе с ним и вся буржуазная мораль. Мы отвергаем путь, при котором совесть грызет зубами провинившуюся душу.

— Но каков же ваш путь? — спросил Шагал.

— Путь, при котором судьей всякого поступка должен стать не индивидуум, а общество, все общество.

В большой, оклеенной розовыми обоями комнате с лепным потолком, видно, бывшей купеческой спальне, Горький лежал на кровати, окруженный секретарями, и харкал попеременно то в плевательницу, то в платок. Шагал сел в предложенное ему мягкое кресло, стараясь не смотреть на безвкусные картины, украшавшие стены.

— Позвольте, многоуважаемый и всегда дорогой мне Алексей Максимович, — говорил Луначарский, — представить вам, собирателю и ценителю новой революционной культуры, этот самородок, которого зовут Марк Шагал.

— Мне уже говорил о нем Исай Добревейн как об очень талантливом скрипаче.

— Нет, я художник, — сказал Шагал.

— Это очень талантливый художник, — сказал Луначарский, — я еще до революции опубликовал о его картинах статью в киевской газете.

— Да, да, теперь я вспомнил, — сказал Горький, — вы из декораторов-машинистов.

— Нет, я предпочитаю индивидуальную живопись.

— Я знаю, у каждого живописца есть любимые краски. Какие ваши любимые краски?

— Лиловая и золотая.

— Очень индивидуалистические краски. Краски пессимизма. Я лично предпочитаю красное и голубое.

— Я это понял, — сказал Шагал.

— Откуда? — удивленно спросил Горький.

— По картинам, которые висят у вас на стенах.

— Они вам не нравятся?

— Это не мое искусство.

— А революция вам нравится? — неожиданно спросил Горький.

— Я полагаю, что революция могла бы стать великим делом, если бы она сохранила уважение человека к человеку, — сказал Шагал.

— Мы только что были в тюрьме, — сказал Луначарский, — очевидно, из-за этого у Марка Захаровича такой пессимистический тон.

— Вы ездили туда со списком? — спросил Горький.

— Да, Алексей Максимович. Но Дзержинский сократил его больше чем наполовину. Говоря точнее, на две трети. Выпустили только десять человек.

Горький вздохнул.

— Русская действительность — не то лекарство, которое могло бы излечить молодого человека от пессимизма. И тем не менее надо работать. Надо дело делать.

— Марк Шагал не марксист, — сказал Луначарский, — но он талантливый и порядочный человек. Я хочу послать его в родной Витебск комиссаром по делам искусств.

— Это хорошая идея, — сказал Горький, — кстати, у меня есть интересный проект, составленный Луньковым, о создании в каждом крупном городе академии живописи, музея, консерватории, литературного объединения. Милый Анатолий Васильевич, я хотел бы, чтобы вы как можно скорее созвонились с Луньковым и попросили его, чтобы он составил подробный проект для Наркомпроса.

— Луньков в тюрьме, — тихо сказал Луначарский, — Дзержинский вычеркнул его из списка.

Горький закашлялся, харкнул в плевательницу, потом в платок.

— Карп Тимофеевич, — сказал он одному из секретарей, — немедленно соедините меня с Дзержинским... В моменты великих преобразований мы должны быть особенно чужды пессимизму, который навевают нам силы прошлого... Человек имеет право и обязан защищать свои интересы, ибо нет ничего выше человека, все для человека. Все ради человека... — Зазвонил телефон. Горький

взял трубку.— Да, да, Алексей Максимович. Я просил Феликса Эдмундовича. На совещании у товарища Ленина? Надолго? Я насчет товарища Лунькова.— Горький слушал несколько минут, потом повесил трубку.— Луньков пять минут назад расстрелян,— сказал он глухо и, отвернувшись к стене, вытер глаза.

Луначарский вынул карманные часы.

— Они обычно расстреливают перед ужином,— сказал он,— сейчас пять минут восьмого.

— Алексей Максимович утомлен,— сказал секретарь, давая понять, что аудиенция закончена.

— Где ты пропадал? — тревожно спросила Белла.— Я уже думала, тебя арестовали. Я сама чуть не попала сегодня на рынке в облаву, но зато достала морковный чай и пшеничную крупу.

— Я устал, и у меня болит голова,— сказал Марк,— у меня был тяжелый день. Но теперь окончательно решено — мы бросаем Петербург и возвращаемся в Витебск. Нарком Луначарский назначил меня туда комиссаром искусств.

— Вместо того чтобы мирно писать картины, ты становишься комиссаром,— сказала Белла.

— Я не просто становлюсь комиссаром, я еще основатель и директор художественной академии. Я очень рад. Какое счастье!

— Какое безумие! — сказала Белла.

— Товарищи,— торжественно произнес Зуси,— как председатель союза витебских парикмахеров рад объявить, что на нашем профсоюзном собрании, которое проводится без отрыва от производства, в качестве клиентов-содокладчиков присутствуют комиссар по делам искусств товарищ Марк Шагал (аплодисменты) и комиссар ЧК товарищ Соломон Виленский.

В парикмахерской, украшенной флагами и плакатами, сидели клиенты с красными бантами на груди, и парикмахеры с красными бантами стригли их, брили и мыли головы.

— Товарищи,— продолжил Зуси, намыливая щеку Шагалу,— прежде чем перейти к нашим достижениям, хочу по-большевистски сказать о наших недостатках. Правильно ли выполняются постановления о борьбе с эпидемическими заболеваниями для парикмахеров. Нет, товарищи. За примерами недалеко ходить. Парикмахеры, страдающие кожными заболеваниями, не должны допускаться к работе, а Князевкер Фима, имея сыпь на теле, брил клиента. То же самое можно сказать о Шраеме Лева.

— Товарищ председатель,— сказал Шраем Лева,— моя сыпь не заразная, а, как объяснил фельдшер, от большого потребления редьки.

— Прошу не перебивать докладчика, товарищ Шраем Лева,— сказал Зуси,— лучше обратите внимание, как вы стряхиваете волосы с клиентов. Стряхивание волос с клиента должно производиться осторожно, без образования пыли от костюма. Вот так, как я стряхиваю волосы с костюма товарища Шагала. Товарищ Душкин Иуда, напрасно вы улыбаетесь. На вас мне уже писали жалобы, что во время бритья вы суете свои грязные пальцы клиенту в рот.

— Мыла не выдают,— обиженно сказал Душкин.— Вы, товарищ Локшинзон, должны лучше заботиться о нуждах профсоюза.

— Товарищи,— сказал Зуси,— прекратим ненужные разговоры и, как учат большевики, сделаем правильные выводы из своих недостатков. Слово имеет наш уважаемый комиссар по делам искусств товарищ Шагал.

— Товарищи,— сказал Шагал,— сограждане мои! Я счастлив, что накануне празднования первой октябрьской годовщины возвратился в Витебск, свой родной город, чтоб создать здесь академию искусств. Отныне все малярные и вывесочные работы будут производиться только через нашу академию искусств. И я тоже всю мою живопись отдам нашей витебской академии, нашему народу. Пусть мои эскизы перенесут на большие холсты. Пусть маляры, бородатые старцы и юные подмастерья, копируют моих коров и лошадей. Двадцать пятого октября мои пронзительно-яркие животные будут покачиваться над городом, вздуваемые ветром революции под пение Интернационала. (Аплодисменты.) Я уверен, что рабочие своими улыбками покажут: они понимают меня и мое искусство.

— Товарищ Шагал, скажу вам прямо, по-большевистски, — произнес Соломон Виленский, которому парикмахер Князевкер мыл голову, — по этому поводу у нас на заседании губисполкома были серьезные сомнения. Почему, товарищ Шагал, у вас корова зеленая? Почему лошадь летит в небесах? Я сын простого биндюжника, вырос среди лошадей. Все это, товарищ Шагал, буржуазные фантазии. Что это вы себе позволяете? При чем тут Ленин и Маркс? Кстати о Марксе. Я знаю, что вы прибыли в наш город с важным мандатом, но почему вы до сих пор не выполнили заказ по изготовлению к Октябрьским праздникам шести бюстов Маркса для установки на улицах города?

— Мы не можем лепить великих людей из цемента. Бюст, который мы установили на вокзальной площади, превратился в бесформенную кучу, пугая лошадей извозчиков, стоянка которых находится напротив.

Зуси засмеялся, найдя слова Шагала забавными, но под ледяным взглядом Виленского замолк.

— За такие слова и такой смех можно понести наказание по всей строгости революционного закона, — сказал Виленский. — Товарищи, несмотря на успехи революции во всем мире, образовании советской Баварии, советской Венгрии, советской Латвии, в нашем городе Витебске контрреволюция подняла голову. Русские, белорусские и еврейские контрреволюционеры. Особенно бундовцы и сионисты. Так, дочка еврейского сиониста доктора Литвака, бежавшего в Палестину, Анна Литвак, ведет спортивную гимнастическую секцию. И все это делается на средства, собираемые синагогой. Товарищи, губисполком постановил все средства, собираемые синагогой, конфисковать. Нам, товарищи, срочно нужны средства на нужды революции, и комбеды постановили обложить штрафом все буржуазные элементы.

— А почему вы оштрафовали цирк, который я пригласил для выступления на детских праздниках? — спросил Шагал.

— Цирк оштрафован на десять тысяч, — сказал Виленский, — за то, что своими афишами он заклеил объявление о партийном собрании. Мы будем беспощадно бороться с любым проявлением контрреволюции. Никакой пощады врагу! Скоро у Николаевского собора состоится публичная казнь поручика Загоржицкого, создавшего в лесах контрреволюционный партизанский отряд. Наше профсоюзное собрание в полном составе немедленно должно отправиться на это важное мероприятие. — Виленский решительно пошел к выходу. Парикмахеры и клиенты потянулись за ним.

— Ты не идешь? — тихо спросил Шагала Зуси.

— У меня щека недобрита, — тихо сказал Шагал.

— Я вынужден идти. — Зуси развел руками.

Шагал молча сидел с намыленной щекой в опустевшей парикмахерской. Было тихо, стучали настенные ходики. «Ку-ку», — выкрикнула из футляра часов кукушка. Раздался залп.

Звучал Интернационал. Октябрьские колонны демонстрантов шли мимо трибуны. Вожди города приветствовали их. Шагал как комиссар по делам искусств тоже стоял на трибуне, но в задних рядах.

— Да здравствует мировая революция! — кричал в рупор председатель губернского совета Жигарев.

— Ура!!! — хором отвечали из колонн.

В шествии участвовало несколько легковых и грузовых автомобилей, телеги, запряженные лошадьми, всадники. По площади шли рабочие с молотами, крестьяне с серпами. Профсоюз парикмахеров держал в руках бритвы и помазки. Наконец показались студенты академии искусств. На грузовике ехали преподаватели и студенты, одетые в разнообразные костюмы и маски, и хором декламировали:

— Дыр, бур щил, ущебур, скум вы со бу эр эл э з...

Председатель губсовета рассмеялся.

— Мне нравятся эти молодые революционные хулиганы, — сказал он, — вспоминается собственная революционная молодость. Баррикады. Дымящиеся лужи алой крови. Огонь браунингов. А кто этот, в костюме авиатора?

— Это Казимир Малевич, — сказал Шагал, — преподаватель нашей академии.

— Тот, который красил нам трибуну,— сказал Жигарев.— Такой истинно революционный красный цвет. Только непонятно: почему он всюду нарисовал аэропланы и рыбы?

— Это супрематизм,— сказал Шагал,— освобождение предметов от их первоначального смысла.

— Вам это нравится?

— Признаться, не очень,— сказал Шагал,— но я хочу, чтобы в моем училище были представлены все художественные направления, поэтому пригласил Малевича и дал ему квартиру. Я надеюсь, что со временем наша академия станет широко известна. Но нам не хватает денег. Я много раз обивал пороги исполкома, ходатайствуя о кредитах.

— Что ж, по-вашему, товарищ Шагал,— сказал Жигарев,— мы в первую очередь должны отремонтировать мост или тратить деньги на искусства?

Мимо трибуны шли физкультурники и пели.

— Дерзости слава! — крикнул в рупор Жигарев.— Да здравствует красный спорт!

— Товарищ Жигарев,— тихо сказал Виленский,— среди красных физкультурников шагают и сионисты из общества «Паолей цион» во главе с Анной Литвак. Это сионизм, освеженный в советских условиях, покрытый позолотой покорности. Давно надо закрыть все сионистские организации в городе, а заодно и синагогу превратить в дом атеиста.

Раздались выстрелы. По площади шли красноармейцы и стреляли в воздух. Везли орудия.

— Мировому коммунизму, — крикнул Жигарев,— ура!!!

— Ура! — подхватили сотни красноармейских глоток.

Послышался рокот мотора. Низко над демонстрацией летел аэроплан и волочил за собой плакат «Красный 1919 год».

— Аэроплан, аэроплан! — закричали вокруг.

— Аэроплан,— сказал Зуси, глядя на небо, прикрыв глаза ладонью, как козырьком.

— Аэроплан — это победа над солнцем,— скандировали Малевич и его окружение.— Аэроплан, как Маяковский, летит вне пространства и времени. Когда, приход его мятежом оглашая, выйдете радостные. Вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя.

Повсюду были слышны крики приветствия и звуки оркестров. От мощных воздушных струй гнулись деревья, у некоторых слетели с головы шапки, лошади становились на дыбы. Вдруг выбежал седой старик с развевающейся бородой, с безумными глазами и поднял руки к небу, что-то крича. Это был Захария Шагал. Милиционер пытался увести его, но он, отталкивая милиционера, продолжал кричать.

— Люди, опомнитесь! — кричал Захария Шагал.— Ведь Бог тоже может испугаться.

— Пойдем домой, отец,— сказал Марк, подбегая.

Захария обнял Марка и заплакал. Слезы текли по его белой бороде.

— Что ты плачешь, отец? — спросил Марк.

— Я скоро умру, мне это не страшно,— сказал Захария,— но ты еще долго будешь жить с идолами. Мне тебя жалко...

В переполненном зале академии искусств на сцене расположились участники предстоящего диспута между Шагалом и Малевичем. В центре председатель, слева Малевич, несмотря на свой радикализм, в строгой пиджачной паре при галстукке, справа Шагал в косоворотке и кожаной куртке. За спиной обоих участников располагался небольшой хор для поддержки основных идей. У Малевича в хоре преобладали женщины. На стенах были развешаны образцы живописи обоих дуэлянтов. Акварели Шагала и геометрически выстроенные фигуры Малевича.

— Начинаем театрализованный диспут на тему «Формы и краски» между товарищами Шагалом и Малевичем. Дуэлянтов ко мне. Орел или рещка?

— Орел,— сказал Малевич.

— Ваше начало, Казимир Малевич,— сказал председатель.

Малевич и Шагал разошлись по местам и стали впереди хоров.

— Моя основная идея,— сказал Малевич,— самостоятельная жизнь красок и форм. Супрематизм — освобождение живописи от предметов и в конце концов от красок.

Хор, в котором преобладали женские голоса, подхватил:

— Освободим живопись от предметов и красок!

Раздались бурные аплодисменты почти всего зала.

— Моя основная идея,— сказал Шагал,— писать инстинктивно, так, как поют птицы. Супрематизм Малевича — не живопись, а геометрия, все продумано головой и писано циркулем, а не создано живой рукой и сердцем.

— Супрематизм — не живопись, а геометрия,— подхватил хор Шагала. В зале раздались нестройные хлопки.

— Для живописца недостаточно быть умелым и ловким ремесленником,— сказал Шагал,— надо любить холст, на котором пишешь. У Ренуара по этому поводу есть замечательное высказывание о Веласкесе.

Его картины дышат радостью, которую художник ощущал, работая над ними. Этой радости не доставало ван Гогу. Ван Гог — очень хороший живописец. Но его холст не обласкан влюбленной кистью.

— Какая еще влюбленная кисть?! — крикнула из зала девушка в кожанке.

— Долой птичью живопись! — крикнул взлохмаченный юноша.— Нас не удовлетворяют картины, писанные киселем и молоком. Мы живем в революционное, бурное, но разумное время. Мы живем в познаваемом мире, а не в мире придуманных сказок Шагала.

— Да, сказка — это неправильность,— сказал Шагал,— но эта неправильность противостоит однообразию, которое несут в себе правильности кубизма и супрематизма. Супрематизм стремится ввести в искусство науку, но искусство отличается от науки именно неправильностью.

— Что вы понимаете под неправильностью,— выкрикнул кто-то из зала,— неумение?!

— Нет, я имею в виду именно неправильность,— сказал Шагал,— например, весь дух готики в неправильности. Возьмите готическую колоннаду, главный мотив которой капустный лист. Вы не найдете ни одного листа, который был бы похож на другие. В этой непохожести особая природная гармония. Как бы вы ни колдовали линейкой и циркулем в своем супрематизме, вам не достичь такой гармонии, вам не избежать однообразия.

— Однообразие — это хорошо,— сказал Малевич.— Новая архитектура в будущем примет вид строгой супрематической симметрии. Все архитектурные ансамбли будут строго связаны с формой и краской. Супрематизм — это вариации и пропорции цветных форм.

— Супрематизм — вариации и пропорции цветных форм в архитектуре, скульптуре, живописи!

Бурные аплодисменты.

— Для меня живопись — это капустный лист, а не квадрат,— сказал Шагал,— но капустный лист свободной окраски, голубой, лиловой, синей.

— Голубым капустным листом можно отравиться,— выкрикнула дама,— здоровый человек таким листом лишь расстроит себе желудок.

Смех зала.

— Случайно ли, что у товарища Малевича на картинах летают аэропланы,— сказал лохматый студент,— а у товарища Шагала — ангелы, коровы и влюбленные мещане?

— Вам, товарищ Шагал, наверно, нравится стишок: по небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел.

— Нравится,— сказал Шагал.

— А нам, молодежи, нравятся футуристы. По небу полуночи ангел летел — это стихи, построенные на па-па-па пи-пи-пи ти-ти-ти. (Смех.)

— Безголосая сливочная тянучка, литературщина, как и в ваших сказочных картинах, Шагал,— сказал лохматый.

— В одной строчке Крученых больше национального, чем во всем Пушкине! — выкрикнули из зала.

— В геометрии товарища Малевича больше национального, чем в сказках Шагала! — выкрикнула дама.

— Товарищ Шагал упрекает меня и супрематизм в том, что я ввожу в живопись геометрию, — сказал Малевич. — Да, в супрематизме предметы разделяются на геометрические формы, режутся на геометрические формы, на динамические конструкции, из которых они состоят. Природа не умеет совершать то, что умеет совершать естественная наука. Задача живописи, задача искусства — не отражение жизни, а познание ее. Жизнь нельзя познать, не разрезав на части, как человека нельзя познать, не анатомируя его. Вот почему важным атрибутом моих картин является пила — символ разрыва предмета на отдельные куски. Так живопись уходит от предмета.

— Живопись уходит от предмета, живопись уходит от предмета! — подхватил хор. (Бурные аплодисменты.)

День уже померк. В зале было накурено. Малевич расстегнул рубашку, галстук у него сбился. Шагал снял кожаную куртку, говорил охрипшим голосом.

— Я никогда не уходил и не уйду от предмета, — говорил Шагал. — Вы, товарищ Малевич, хотите освободить живопись от предметов, а я освободил предметы от тяжести.

— Не только от предметов, но и от красок, — сказал Малевич, — задача живописи — преодоление. Как аэроплан преодолевает закон всемирного тяготения, так современная живопись преодолевает классическую перспективу Ренессанса, которая со времен Пауло, Учелло и Джотто влечет ее к земле. Мою картину «Авиатор» я считаю программной. Авиатор поднимается в воздух, преодолевая прошлое, навстречу черному затмению солнца, навстречу черному квадрату. Земные законы больше не касаются его, и потому портрет Джоконды, построенный по земным законам, перечеркнут.

— Портрет Джоконды перечеркнут! — скандировал хор Малевича. (Аплодисменты.)

— Я начинал как импрессионист, — сказал Малевич, — чтобы прийти к футурокубизму и, наконец, к супрематизму. В импрессионизме и кубизме цвет еще служил предметам. Супрематизм даст краске и форме самостоятельную жизнь. Отсюда черный квадрат. Предмета нет, живет краска.

— Предмета нет, живет краска! — подхватил хор.

— Одна только черная краска сама по себе жить не может, — сказал Шагал, — импрессионисты вообще отказались от черной краски, которую они не считали цветом.

— Черная — не цвет?! — воскликнул Малевич. — Даже Ренуар превозносил черную краску. Самая красивая краска — это черная, особенно изготовленная из жженой слоновой кости. Я пробовал заменить черную краску смесью красной с синим кобальтом, но из этого ничего не вышло.

— Преодолевая краску и предмет в живописи, вы в конце концов преодолете саму живопись, — сказал Шагал. — Следующим шагом после вашего черного квадрата должен быть чистый лист бумаги.

— Это была бы гениальная картина, — сказал Малевич. — К сожалению, я этого еще не достиг, но стремлюсь к этому. В отличие от вас, товарищ Шагал, я никогда не слушал отцов живописи, ни Ренуара, ни Рембрандта, ни Веласкеса, ни других, хотя знаю их достаточно хорошо. Вы, Шагал, идете по ступеням, а я сам ступень. (Бурные аплодисменты.)

— Долой Шагала! — послышались крики из зала. — Да здравствует Малевич, Крученых, Маяковский!

Шагал трясущимися руками собирал бумаги в портфель.

— Ура! Bravo, Малевич! — кричали из зала.

Председательствующий звонил в колокольчик.

— Прошу внимания присутствующих, — заговорил он, — завтра в пролетарском клубе концерт балалаечного оркестра еврейских коммунистов в пользу профсоюза обработчиков кожи. В антракте американская лотерея. Будут разыграны галоши и продукты продовольствия.

— Вот благодарность людей, — мрачно говорил Шагал, идя по улице рядом с Беллой, — я выбиваюсь из сил, добывая необходимые для училища, пышно именуемого академией, пособия, деньги, краски, я обиваю пороги, чтоб освободить студентов от военной службы. И что я слышу в ответ? Долой Шагала!

— Я говорила тебе, что это плохо кончится,— сказала Белла,— ты художник, тебе надо писать картины, зачем тебе нужна была эта глупая академия?

— Ты, как всегда, права,— печально сказал Шагал.— Когда я научусь слушаться тебя? Но все-таки мне хотелось собрать молодых людей и приобщить их к искусству.

— Ты собрал вокруг себя полукультурных учеников и хотел в двадцать четыре часа превратить их в гениев. Вот тебе и результат.

— Нет, замысел был хороший,— сказал Шагал,— но меня погубила моя доброта. Стоило лишь кому-нибудь высказать желание преподавать в моем училище, как я сразу же такого человека приглашал. Даже Малевича, хотя я знаю, что он меня ненавидит.

Подходя к дому, Шагал увидел Зуси и еще какого-то человека в извозничьем плаще.

— Я тебя давно жду,— сказал Зуси.— А это Моисей Грубман, представитель профсоюза извозчиков.

— Нам, извозчикам, товарищ Шагал,— сказал Грубман,— очень нравится, как вы рисуете лошадей. Конечно, есть некоторые несознательные. Один мне говорит: «Лошадь зеленой не бывает. Дурак так рисовать может». А я ему отвечаю: «Хороший человек всегда немного дурак».

Шагал засмеялся.

— Это правда,— сказал он.

— Мы присутствовали на вашем собрании,— сказал Зуси,— и считаем его буржуазной вылазкой. От имени наших профсоюзов мы хотим написать об этом в горком.

— Не надо, Зуси,— улыбнулся Шагал,— я сам разберусь.

— Но ведь хочется как-то тебе помочь, что-то для тебя сделать.

— Подари мне свои новые стихи.

— Откуда ты знаешь, что я пишу стихи?

— Я читал в «Витебском листке».

— Да, действительно, я напечатал свои стихи про парикмахера. Но теперь я написал стихи про аэроплан, они тоже скоро будут напечатаны. Вот послушай: «Летит себе аэроплан, он завоевывает воздух. А я имею маленький план — ух! — подняться немного на воздух».

— Замечательные стихи,— сказал Шагал,— спасибо тебе, Зуси.— И взял листок со стихами.— И вам спасибо, товарищ Грубман.

— Как фамилия того, кто про вас сегодня нехорошо говорил? — спросил Грубман.

— Малевич.

— Хотите, мы его побьем?

— Нет, спасибо,— улыбнулся Шагал,— но я обязательно сделаю доклад о законах живописи в профсоюзе извозчиков. Мне кажется, я найду там более достойную аудиторию, чем в академии искусств.

— Правда, замечательные стихи? — сказал Шагал, когда сели ужинать.— «Летит себе аэроплан, он завоевывает воздух. А я имею маленький план — ух! — подняться немного на воздух».

— По-моему, идиотские стихи,— сказала Белла.

— Ты ничего не понимаешь! — сердито сказал Шагал.— Это Маяковский и Крученых пишут идиотские стихи. А в Зусиных стихах про аэроплан искренний порыв темной, безграмотной души к поэзии, к свободе. Истинная свобода возможна только в воздухе, в полете. Свобода от давящих на нас законов бытия. Это мне так понятно, я сам так начинал. Ты этого не понимаешь, потому что выросла в буржуазной семье.

— Нам с тобой еще не хватает классовой борьбы внутри нашей семьи,— сказала Белла.— Тем более что я уже давно не дочь богачей. Пролетарская власть конфисковала у нас даже ложки. Моих родителей несколько раз арестовывали, вымогая деньги, и ты так ничем и не помог им. Ведь ты комиссар.

— Я комиссар по делам искусств, а искусство им не нужно. Поэтому я ничем не могу помочь и незачем меня упрекать.— Он отодвинул тарелку с недоеденной кашей и подошел к мольберту.— Давно не брал в руки кисть,— сказал он,— отчего так темно?

— Я сейчас еще зажгу свечи, — торопливо сказала Белла и начала расставлять их вокруг мольберта.

— Теперь очень ярко! — раздраженно сказал Шагал. — Ты хочешь меня ослепить? — Он задул свечи. — Пойду пройдуся, голова болит.

Шагал надел поверх куртки солдатскую шинель, подпоясался ремнем и вышел.

Он остановился около единственной пока еще работающей кофейни Гуревича. Большие витрины и окна были ярко освещены, и за стеклом сидели люди из давно исчезнувшей, забытой жизни. Женщины были с большими декольте, мужчины курили толстые папирсы, официанты носили на подносах кофейники, чашки, булочки, печенье. Сквозь приоткрытую дверь доносились звуки аргентинского танго. Остановился извозчик, сошла пара. Он — скрипя английскими желтыми крагами, в кожаном кепи и сером плаще. Она — завитая, в обтягивающем гибкую фигуру пальто. Шагал глянул на свою шинель, пересчитал деньги в тощем кошельке и пошел дальше во тьму.

На одноэтажном оштукатуренном доме была надпись: «Спортивный клуб Паолой Цион». В длинном спортивном зале, освещенном керосиновыми лампами, Анна в спортивном коротком платье, обнажающем стройные ноги, руководила упражнениями девушек-гимнасток, подавая команды на иврите.

— Какой сюрприз! — сказала она, улыбаясь. — Я так рада тебе. Подожди, сейчас закончу.

Переодевшись, Анна вышла к нему в вязаном свитере и длинной суконной юбке.

— Что-то вид у тебя невеселый, Марк. Я слышала, у тебя какие-то неприятности на работе.

— Когда пытаешься насадить искусство, обратив дома в музей, а обывателей в художников, то приходится выслушивать пошлости.

— А как у тебя в семье?

— В семье? Нельзя сказать, что я глубоко несчастлив.

— Но и счастливым назвать себя не можешь, — сказала Анна. — Я знала, что тебе с Беллой будет тяжело.

— Ну почему тяжело? Я так не говорю.

— Не перебивай, не перебивай, послушай меня, все-таки я долгое время была подругой Беллы. Впрочем, почему мы стоим посреди улицы? Пойдем куда-нибудь, посидим. Хотя куда еще пойдешь, кроме Гуревича! Альберта на днях закрыли. Помнишь Альберта с черными от сахара зубами? А какие у него были сладкие рогаики и кофе настоящий! Гуревич, скажу тебе, подмешивает в тесто картошку, а в кофе — цикорий. Но, если ему хорошо заплатить, он подаст настоящие пирожки и настоящий кофе.

— В том-то и проблема, — сказал Шагал, — насчет хорошо заплатить я не очень.

— Это не твоя забота, — сказала Анна.

— И одет я не слишком хорошо для кофейни.

— Тебе обязательно быть одетым, как нам, простым смертным. Ты великий художник.

— Какой я великий, меня витебские маляры освистали.

— Ну, будешь великим и знаменитым, если, конечно, поведешь себя правильно и слушаешь меня.

Они вошли в кафе. Столики были заполнены, но официант улыбнулся Анне и подвел ее к свободному, к самой эстраде.

— Сейчас принесут настоящий кофе со взбитыми сливками и пирожные. Ты ведь любишь эклер?

— Не знаю, я уже и вкус его забыл.

— Вспомнишь. Ты многое забыл, тебе надо многое вспомнить. Вспомнить, что существует и другой мир, кроме России... Америка, Франция, наконец, наша Палестина, где мы можем обрести родину, землю. Только там ты сможешь стать настоящим национальным еврейским художником.

— Извини меня, — сказал Шагал, — но я не совсем понимаю, что такое национальное искусство. Прежде национальное искусство действительно существовало, но со времен Ренессанса искусство все более становится делом индиви-

дуальности, питающейся общими соками земли и общим воздухом. Да и как я поеду в Палестину, если все мои довоенные холсты остались в Берлине и Париже?

— Ну, хорошо, может быть, придет время, и ты, а также многие другие поймут справедливость идей сионизма. И я молю Бога, чтобы ты понял не слишком поздно. Но то, что тебе отсюда надо уехать, ты, надеюсь, уже понимаешь?

— Это утопия. Всюду войны, восстания, вражда. И кто меня отсюда отпустит?

— Мы, сионисты, считаем — прежде всего нам, евреям, надо собраться вместе. Собраться, чтоб убраться. Неужели ты по-прежнему веришь в интернационал? В дружбу с погромщиками?

— Не все погромщики, — сказал Шагал.

— Не все... Но во время погрома достаточно тех сотен или тысяч, или десятков тысяч. Мой отец теперь в Палестине. Он пытается помочь мне выехать через Польшу. Если хочешь, я могу тебя взять с собой.

Принесли кофе и пирожные.

— Теперь я действительно вспоминаю Европу, — сказал Шагал. — Хоть я там тоже голодал, но это другой голод — в богатой цивилизованной стране.

Оркестр заиграл старый сентиментальный вальс.

— Пойдем потанцуем, — сказала Анна. — Извини меня, — говорила она, положив Шагалу голову на плечо, — я вижу, тебе с Беллой тяжело. И дело не в том, что она выросла среди сытости и излишеств. Она не способна беречь твой талант, потому что сама считает себя талантом. Она окончила петербургский университет, работала в известных газетах. Она не способна пожертвовать своей личностью ради тебя.

— Я не нуждаюсь в таких жертвах, — сказал Шагал, — я нуждаюсь только в понимании.

— Понять другого — это и значит пожертвовать собой, — сказала Анна.

Сели за стол, на котором стояли принесенные пирожные и печенье.

— Возьми пирожное, это тебе, — сказала Анна.

— Можно, — сказал Шагал, — я отнесу одно пирожное Белле?

— Ты неисправим, — вздохнула она.

Вдруг двери кофейни резко распахнулись, и вошли люди в кожанках, держа в руках револьверы.

— В чем дело, товарищ? — испуганно спросил хозяин кофейни Гуревич. — У меня разрешение комиссара по продовольствию.

— Постановление губсовета, — сказал чекист, — кофейня закрывается из-за наличия в ней тараканов.

— Каких тараканов? — сказал бедный Гуревич.

— Всем приготовить документы, — не слушая Гуревича, сказал чекист.

Шагал подошел к чекисту и предъявил ему комиссарский мандат.

— Эта женщина со мной. — Он указал на Анну.

— Спасибо, Марк, — сказала Анна, когда они вышли на улицу. — Лишний раз с этим учреждением мне встречаться не хочется. Но и тебя долго ли будет выручать комиссарский мандат? Подумай об этом.

— Я подумаю, — сказал Марк.

Подходя к дому, Марк вдруг увидел Беллу с ребенком, сидящую на чмо-данах. На балконе, освещенный фонарями, стоял Малевич, а за его спиной ровным полукругом небольшая кучка преподавателей и студентов.

— Постановлением общего собрания преподавателей и учащихся витебской академии искусств, — торжественно произнес Малевич, — учитывая ложность концепций и отсталость творческих взглядов директора академии искусств Марка Захаровича Шагала, общее собрание постановило изгнать Шагала Марка Захаровича в двадцать четыре часа из академии.

— Изгнать в двадцать четыре часа! — подхватил хор.

— Пойдем переночуем к моим родителям, — сказала Белла.

— Хорошее постановление, — сказал Шагал. — Это вы сочинили, Малевич? Чувствуется ваша рука. Подкрепившись всем, что я вам добыл, получив хлеб и заказы на работу, вы взбунтовали учительский коллектив и перетянули на свою сторону незрелых, обманутых учащихся. Но как же двадцать четыре часа, если вы изгнали мою жену с ребенком немедленно?

— Это была художественная гипербола, — усмехнулся Малевич. — Квартира нужна нам немедленно для одной молодой преподавательницы.

— Для какой? — спросил Шагал. — Не для той ли, которая развлекается с городскими комиссарами и весьма любезно уступает их домогательствам?

— Это я делаю для пользы академии! — выкрикнула преподавательница.

— Ах, вот оно что! — закричал Шагал. — Что ж, пусть теперь академия получает хлеб, краски и деньги с помощью женщин определенных профессий. Я умываю руки.

— Пойдем, Марк, — сказала Белла.

— Нет, подожди, я им хочу еще кое-что сказать, — произнес Шагал.

— Хватит разговоров! — крикнул один из учащихся. — Теперь мы говорим! Прежде вы не давали нам рта открыт!

— Признаюсь, я не отличался терпением и, зная наперед, о чем вы будете говорить, не давал вам высказаться до конца. Но, едва я уйду, вы тут же успокоитесь. Вам не с кем будет спорить, а собственных мыслей у вас нет, одни лишь невразумительные вымыслы.

— Кто говорит о вымыслах? — насмешливо произнес Малевич. — Человек, который способом своего художественного воздействия избрал раскрашенную теологию и сказочную чертовщину?

— Что касается моих ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, — сказал Шагал, — то они входят в состав материала художника, чтобы не дать больше земной тяжести перевешивать и поработать свободу всех иных образов. Вы же, Малевич, пытаетесь загнать свободу в геометрические клетки.

— Геометрия создала аэроплан, — сказал Малевич, — особенно геометрия Лобачевского, геометрия не плоскости, а пространства. А аэроплан показывает, что можно преодолеть закон природного тяготения. В новом, переделанном аэропланами пространстве вашим ангелам, Шагал, делать нечего. В новом пространстве ваши ангелы, лишённые моторов, упадут на землю.

— Ангелы без моторов упадут на землю, — подхватил хор.

— Вы, Малевич, очевидно, говорите о бутафорской земле из «Мистерии «Буфф» Маяковского или о рафинированно-тошнотворной земле из оперы «Под солнцем» на слова Крученых, который бормочет пьяные нечленораздельности, думая, что расшатывает синтаксис. Вы, Малевич, намалевали для такой земли свои супрематические декорации, так тешьте себя и далее этим тухлым мясом, как тешит себя гиена эгофутуризма, следующая за львом ушедшей классики. Да, над такой гнилью ангелы не летают. Но пока будет существовать настоящая земля, независимо, какого цвета: красного, синего, лилового, — над ней будут летать ангелы.

— Пойдем, Марк, пойдем, — сказала Белла, — ты совершенно охрип.

Марк взял два чемодана и пошел следом за Беллой.

— Пся крэв! Пся крэв, лайдак! — негромко и зло выругался Казимир Малевич.

Проснувшись среди ночи, Белла увидела Марка, сидящего у окна.

— Не могу заснуть, — тихо сказал он, заметив взгляд Беллы, — смешно, право же. Все, что сегодня случилось, — это уже старый хлам. Не стану я больше вспоминать ни друзей, ни врагов. Они запечатлены в моем сердце, как маски, выжженные из дерева.

— Ложись спать, — сказала Белла, — ты выглядишь очень утомленным.

— Да, конечно. — Марк пошел к постели, но на полдороге остановился и сказал, обращаясь к освещенному луной окну: — Выгоняйте меня, срывайте мои вывески и плакаты! Не бойтесь, я не вспомню больше о вас. Но и в вашей памяти оставаться не хочу. Если я пренебрегал собственной работой, посвящая всего себя общественным задачам, то делал это не из любви к вам, а из любви к моему городу, к моему отцу, к моей матери, к моим родным. А вы, все прочее, оставьте меня в покое. Меня не удивит, если через какое-то время мой город уничтожит мои следы и даже не вспомнит о человеке, который здесь мучился и страдал. Все вы отделились от меня, как плохой пластырь от раны. Нет пророка в своем отечестве. Я покидаю Витебск и уезжаю в Москву.

— Но прежде я хотела бы, чтобы мы хоть месяц пожили в деревне, — сказала Белла. — Тебе надо окрепнуть и прийти в себя после всего этого безумия.

— Наконец мы одни в деревне,— говорил Шагал, сидя с Беллой на деревянной скамье за деревянным столом перед домом,— и Господь нам помогает. Теплая осень, наступающее бабье лето. Посмотри: лес, ели, одиночество. И по осеннему рано взошедший месяц за лесом. Свинья в загоне, лошадь в поле, лиловое небо. Как красиво, как хорошо, как шагалисто вокруг!

— Я рада наконец видеть тебя счастливым,— сказала Белла.

— Какая замечательная картина перед нами! — сказал Шагал, вставая и глядя вдаль.— Пейзаж хоть на большую парижскую выставку.

— Кстати, Марк, во время стирки твоей старой куртки я нашла это твое парижское удостоверение,— сказала Белла.

— Действительно, мое парижское удостоверение! — радостно сказал Шагал.— Я его искал и не мог найти. Мой Париж! А что, если нанести визит поэту Демьяну Бедному, который живет в Кремле, и попросить у него и у Луначарского протекции к Троцкому? Может, на основании парижского удостоверения Троцкий разрешит мне вернуться в Париж, где осталась моя живопись? Я как-то видел Троцкого. Высокий, нос фиолетовый. Что понимает в живописи такой человек? Нет, он не разрешит мне выезд.

— Какие-то люди направляются к нам,— сказала Белла, глядя в бинюк,— похоже, это немцы.

— Немцы? — сказал Шагал.— Может, попытаться через немцев выехать в Германию? У меня давно написаны письма к Вальдену и Рубинеру. Попытаться бы через кого-нибудь из немцев передать.

Немцы шли как-то не по-немецки, неровным строем, переговариваясь, и что-то ели на ходу. У многих из них на касках и на рукавах была красная материя, а у одного к палке был привязан красный платок.

— Пойдем им навстречу,— сказал Шагал,— у них ведь тоже революция.

Шагал пытался заговорить с одним из солдат, но тот молча прошел мимо. Второй тоже.

— Солдатам запрещено общаться с местным населением,— сказал фельдфебель,— особенно с евреями, чтобы избежать революционной пропаганды.

— Но ведь ваши солдаты маршируют с красными повязками,— сказал Шагал.

— Это наша немецкая революция,— сказал фельдфебель,— чужая революция нам не нужна.

— Что такое? — спросил офицер, который ехал рядом с колонной верхом на лошади.

— Господин майор,— сказал фельдфебель,— этот человек пытался говорить с солдатами, что запрещено инструкцией.

— Что вам угодно? — спросил майор у Шагала.

— Я хотел бы передать письма в Берлин,— сказал Шагал.

— Вы немец? — спросил майор.

— Нет,— сказал Шагал,— просто я хотел узнать о судьбе моих картин, оставшихся в Берлине.

— Вы художник?

— Да, я художник, моя фамилия Шагал.

— К сожалению, не слыхал,— сказал майор,— но я большой любитель живописи. Вы здесь живете?

— Временно. Мы здесь отдыхаем.

— А далеко ли до станции?

— Полчаса обычным шагом,— сказала Белла.

— Это моя жена Белла,— сказал Шагал.

— Очень приятно,— сказал майор,— Генрих фон Гагедорн.— Он вынул карманные часы и скомандовал привал.

Солдаты, весело переговариваясь, разбрелись, повалились на траву.

— Господин Гагедорн, мы хотели бы пригласить вас в гости,— сказал Шагал.

— С удовольствием,— ответил майор, слезая с лошади. Усевшись за деревянный стол, он снял каску с шишаком и расстегнул верхние пуговицы военного кителя.— Не возражаете, если я закурю? — спросил майор у Беллы.

— Пожалуйста, курите,— сказала Белла.

— В России еще кое-где можно достать папиросы,— сказал майор,— а в Германии давно уже курят капустные листья, пропитанные никотином. В такой стране, как Германия, революция может обернуться еще большим злом, чем в России.

— Революция несет в себе много дурного,— сказал Шагал,— но можно ли ее считать сплошным злом? А свобода? А справедливость по отношению к прежде униженным и угнетенным?

— Я не собираюсь это отрицать,— сказал майор,— хотя происхожу не из угнетенных. Моя фамилия связана родством с ганноверскими курфюрстами. Впрочем, один из моих предков, Фридрих Гагедорн, был поэтом. Не слышали?

— Я недостаточно знаю европейскую культуру,— сказал Шагал,— я был в Европе недолго. Только в Париже и проездом в Берлине. Вы, наверно, соскучились по Германии?

— Да, можно так сказать,— сказал майор,— но возвращаюсь туда с большой тревогой. Посмотрите на это.— Он указал в сторону солдат, расположившихся в вольных позах, громко беседующих меж собой.— Вам это нравится?

— Очень хорошо,— сказал Шагал,— свобода достигла даже цитадели прусского духа — армии.

— Разве это свобода? — усмехнулся майор.— Это беспорядок. Гете сказал: лучше несправедливость, чем беспорядок. Сейчас радуются свержению монархии. Изгнанию кайзера Вильгельма. Я тоже считаю, что во многом его политика была безрассудной. Пангерманизм, стремление превратить Германию в великую морскую державу, что неизбежно должно было привести к столкновению с Англией. Однако пройдет время, и еще пожалеют и о Гогенцоллернах, и о Габсбургах. Наверх поднимаются грубые, бессмысленные низы, а общественные структуры, которые прежде преграждали им дорогу, разрушены революцией. Не думайте, господин Шагал, что во мне говорит аристократ, просто я хорошо знаю свое отечество. Что у него в избытке, а чего ему не хватает. Прежде всего нам, немцам, не хватает изящества. Даже у больших немецких поэтов, больших немецких художников не хватает изящества, свойственного, например, французам. Мой предок Фридрих Гагедорн в этом смысле был исключением. В его поэзии чувствуется легкое эпикурейство в духе Горация. Впрочем, о чем я, господин Шагал? О поэзии ли сейчас речь в Германии беспорядка? А ведь немецкий обыватель долго беспорядка терпеть не может, потому что отсутствие изящества в Германии всегда заменялось порядком. Вот я и думаю, что же в Германии может воцарить под видом порядка? И дело тут не только в потерявшем ориентиры народе. В Германии давно уже идет процесс интеллектуального разложения. Разлагающий умы дух разъединяет народ до глубочайших корней. Извините, господин Шагал, я вижу, что немного утомил вас своим пессимизмом.

— Нет, нет,— сказал Шагал,— я слушаю вас с большим интересом. Нечто подобное наблюдается и в России. Разлагающийся дух травит народное сознание. Беда не в революции, а в том, что дух, знаменующий собой революцию, болен.

— Томас Манн недавно писал о революции потных ног,— сказал майор, глядя, как солдаты, сняв сапоги, сушили на траве носки.— Старая Германия кончилась в 1914 году, а по новой я не скучаю. Вот по чем я действительно соскучился, это по Испании. Впрочем, не столько по Испании, сколько по мадридскому музею живописи. О, какой там Веласкес! Вы были в Испании, господин Шагал?

— К сожалению, нет,— сказал Шагал,— но в Париже в Лувре есть специальный круглый зал Веласкеса.

— Я много раз бывал в Лувре,— сказал майор,— но, поверьте мне на слово, в сравнении с Веласкесом из мадридского музея Лувр сильно бледнеет.

— А Эль Греко? — спросил Шагал.— Наверно, в мадридском музее лучший Эль Греко?

— Эль Греко! — с жаром сказал майор.— Кто возражает, что Эль Греко — очень большой художник? Банально говорить, что Эль Греко — большой художник, если простить ему искусственное освещение, постоянно одни и те же руки и шикарные драпировки. Но, признаюсь, я все-таки предпочитаю Веласкеса. Как Веласкес пишет какой-нибудь простой бантик! Аристократизм этого

мастера проявляется в малейших деталях. Розовый бантик инфанты Маргариты — в нем заключено все искусство живописи. А глаза, тело вокруг глаз — какие прекрасные вещи! Ни тени сентиментальности, размягченности.

— Господин майор,— подходя и прикладывая руку к каске, сказал фельдфебель,— прибыл фельдъегерь со станции. Господин полковник выражает беспокойство по поводу отсутствия нашего батальона. Весь полк уже в сборе.

— Да,— сказал майор, лицо которого сразу потускнело,— вели солдатам строиться. Ну, мне пора,— сказал он Шагалу, беря письма,— рад был познакомиться. Письма постараюсь передать или сам, или через надежного человека.

— Мы с женой проводим вас до окраины,— сказал Шагал.

Солдаты выстроились и запели песню:

— Дойчланд, дойчланд юбер аллес...

— Хорошая мелодия,— сказал Шагал.— Это, наверно, новая песня, рожденная революцией? Она напоминает мне «Марсельезу».

— Нет, это старая песня,— сказал майор,— Гофман фон Фаллерслебен написал ее еще в 1841 году, но Веймарская республика сделала ее популярной и даже объявила своим гимном... Германия превыше всего. После поражения под Верденом и битвы на Сомме это звучит сегодня особенно приятно для наших немецких ушей.

У окраины села Шагал и Белла остановились.

— Желаю вам доброго пути, господин Гагедорн,— сказал Шагал.

— И вам желаю всего доброго,— сказал майор, садясь на лошадь, которую до того вел под уздцы.— Может, встретимся когда-нибудь в мадридском музее.

— Дай-то Бог.

— Дойчланд, дойчланд юбер аллес,— пели солдаты.

Шагал и Белла долго махали им вслед платками.

Морозным ветреным днем Захария Шагал провожал Марка с Беллой и ребенком в Москву. Московский поезд опаздывал.

— Я не дождусь,— сказал Захария,— мне пора идти грузить автомобили, потому что заработка в лавке едва хватает на хлеб.— Он обнял Марка и долго так стоял молча.— Ты приедешь меня хоронить? — спросил он вдруг.

— Ты проживешь долгую жизнь, отец,— сказал Марк,— ты очень крепко выглядишь. Но меня беспокоит, что ты постоянно озабочен и печален.

— Это от усталости,— сказал Захария,— я прожил слишком много тяжелых лет, и они давят мне на плечи сильнее, чем большая бочка, полная селедки. А последние три года — про них вообще не хочется думать. Единственная наша надежда на Всевышнего. Помнишь, как сказано: все сердца перед тобой благоговеют, все кости мои говорят: кто подобен тебе, Боже? Не дающему бедного в обиду сильному, нищего и убогого — грабителям.— Он вытер слезы.— Да хранит тебя, жену твою и дитя твое всевысший Ягве.— Он поцеловал Беллу и внучку и хотел было уйти, но остановился.— Чуть не забыл.— Он вытащил из кармана промасленный пакет.— Я работал грузчиком на хлебозаводе, и вот дали. Здесь сладкие булочки. Поедите в поезде.— Он еще раз поцеловал всех и ушел.

— Я помню, как в детстве отец возвращался домой,— дрогнувшим голосом сказал Шагал,— и мы, детвора, каждый день ждали его из лавки. Вместе с отцом в дом входили вечер и уют. Он вынимал из карманов пироги и мороженные груши и наделял нас своей морщинистой темной рукой. Они таяли у нас во рту и доставляли куда большее удовольствие, чем если бы мы брали их из тарелки... Это уже минуло,— добавил он,— этого уже не вернуть.

Мела поэмка. Толпа пассажиров все сильнее напирала. Было много солдат, крикливых баб с мешками. Когда подошел поезд, Шагал с Беллой и дочкой с трудом втиснулись в вагон.

На хлебозаводе Захария Шагал вместе с другими сгружал с грузовика тяжелые мешки.

— Шагал, чего ты сегодня вяло двигаешься? — сказал бригадир.— Не выполняешь норму, снижу расценку, и работу больше не получишь.

Грузовик буксовал.

— Сдай назад! — кричал какой-то рабочий.

Захария взвалил себе на плечи тяжелый мешок. В этот момент грузовик сдал назад. Захария упал без крика и умер сразу. Белая борода его окрасилась кровью, и мука из лопнувшего мешка разокалала в кровавой луже.

У входа в старинный дом с колоннами, прежде помещичью усадьбу, поло-скался по ветру красный флаг с надписью «РСФСР». Табличка на дверях извещала: «Малаховская трудовая колония детей-сирот, жертв погромов». В доме и во дворе перед домом кипела жизнь, стучали молотки, звенели пилы, на кухне варился суп в большом котле, девочки чистили картошку, стирали белье. В комнате политического просвещения мальчик с серьезным видом читал небольшой аудитории таких же серьезных девочек и мальчиков: «К науке не ведет широкая проезжая дорога,— пишет Маркс в предисловии к «Капиталу».— И только тот может достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась трудов, карабкается по ее каменистым тропам». А в зале под звуки разбитого рояля весело, с хохотом разучивали Интернационал.

Через заснеженный двор кучка одетых в лохмотья ребят везла на санках сучья.

— Товарищ Шагал,— окликнул Марка один из мальчиков,— сегодня вы должны обязательно присутствовать на выступлении живой газеты! Мы вас будем критиковать за увлечение экспрессионистской живописью.

— Обязательно приду,— улыбнулся Шагал,— если не заболею.

— Товарищ Шагал,— сказал другой мальчик,— я хотел бы вам показать свой эскиз, сделанный, как у этого... про которого вы вчера говорили.

— Чимабуэ,— сказал Шагал.— А как твоя опера?

— Я уже ее наполовину сочинил. Только название поменял. Раньше называлась «Освобожденный труд», а теперь — «К мировой коммуне».

— Этот мальчик,— сказал Шагал Белле,— находится в каком-то постоянном творческом экстазе. Он рисует, сочиняет музыку, пишет стихи. И другие дети тоже полны творческого энтузиазма. Они рисуют в разных стилях. Одни за абстрактную живопись, другие за реализм. Среди них есть даже Малевич, который конструирует свои рисунки.— Шагал засмеялся.— Представить себе не можешь, Белла, насколько мне здесь лучше, чем в витебской академии. Я люблю этих маленьких оборвышей, они набрасываются на краски, как дикие звери на мясо. Они будят у меня аппетит к творчеству, который в витебской академии я совершенно потерял.

— Но тебе надо жить не только творческим хлебом,— сказала Белла,— если не забереешь тебя, ты забываешь прийти к обеду. Ты совершенно исхудал, у тебя черные круги под глазами.

— Мне здесь очень интересно,— сказал Шагал,— я восхищаюсь их рисунками, их вдохновенным лепетом. А ведь эти дети — несчастнейшие из всех сирот. Все они пережили страшное. Их швыряли в канавы, бандиты хлестали их кнутами, угрожали кинжалом, которым только что на их глазах закололи их родителей. Сквозь свист пуль и звон разбитых стекол они еще слышали последние родительские мольбы. Вот такие дети очутились передо мной. Они суетятся, перекрикивают друг друга, хохочут, но их глаза не хотят или не могут улыбаться. Я всегда с тревогой смотрю в их глаза.

— А я сейчас с тревогой смотрю в твои глаза,— сказала Белла.— У тебя воспаленные, температурные глаза. Ночью ты сильно кашлял.

— Видно, меня продуло,— сказал Марк,— в доме ужасные сквозняки. Холодно. Можешь себе представить, как во время таких холодов эти детки, маленькие бедолаги, закутанные в тряпье, дрожащие от стужи и голода, шатались по городам, висели на вагонных буферах? А сейчас я учу их рисовать.— Он закашлялся.

— Тебе надо немедленно лечь в постель,— сказала Белла,— я постараюсь найти доктора.

Бородатое лицо, очки. Пальцы касаются тела, выстукивают.

— Тут болит? А тут? Похоже, воспаление легких.

Ветер пробегает по саду. Галки и вороны кричат. Серо-фиолетовый свет падает на холмы. Темнеет.

— Телеграмма,— говорит кто-то.

— Почему так запоздала?

Кто-то плачет.

— Белла,— с трудом поднимает веки Марк,— какая телеграмма? Почему ты плачешь?

— Я не плачу... Тебе все приснилось. Я сейчас поменяю платок на голове.

Прохладные пальцы Беллы, прохлада свежего платка. Слышны тихие голоса.

— Телеграмма... Где?.. На небе... Посмотри в окно... Видишь из окна комнаты небосвод, расчерченный огромными многоцветными квадратами, линиями, кругами, меридианами? Видишь, меж этими линиями начерчены какие-то знаки? Читай... Москва. Точка,— шевелит губами Шагал.— Берлин. Точка. Нью-Йорк. Точка. Рембрандт. Витебск. Миллион терзаний.

— Я всегда был уверен, что Рембрандт меня любит,— радостно говорит Шагал,— и Витебск тоже.

— Все цвета кусаются. Кроме ультрамарина,— говорит кто-то.

Шагал поворачивается с боку на бок.

— Это голоса моих картин,— говорит он,— на моих картинах все люди безумны... Почему ты плачешь, Белла?

— Сейчас тебе будет лучше...

Прохлада опускается на лоб.

— Я лежу меж двумя мирами,— говорит Шагал,— небо уже не синее. Слышишь, оно шумит в ночи, как большая морская раковина, и блестит ярче солнца? Солнца... Я хочу солнца...

Весеннее солнце светит с ясного голубого неба. Исхудавший Шагал в повисшей на нем одежде объясняет на лесной поляне детям, указывая на большие кубы и квадраты, выстроенные из досок и раскрашенные в разные цвета:

— Возьмем две одинаковые формы. От цвета зависит, плоской ли выглядит форма или объемной. Из-за интенсивности краски возникают новые чувства.

— Товарищ Шагал,— спрашивает один из мальчиков,— можно ли найти формулу краски, от которой люди будут испытывать чувство радости и станут добрыми друг к другу?

— К сожалению, я не знаю такой краски,— отвечает Шагал.— Истина в том, что в живописи, как и в других искусствах, нет ни одного, хотя бы маленького, способа, который мог бы быть превращен в формулу. Как-то я вздумал определить раз и навсегда дозу масла для разбивки краски. И не смог этого добиться. Допустим, из теории известно, что фиолетовые тени происходят от противопоставления желтых и голубых, но в действительности это еще не все. Нужно еще нечто необъяснимое, чтоб создать истинный фиолетовый цвет.— И, обмакнув кисть, Шагал начал наносить на белый квадрат фиолетовый цвет.

— У нас гостя,— шепотом сказала Белла, когда Марк вернулся домой,— Анна Литвак. Помнишь, моя подруга из Витебска? Она приехала очень утомленной, и я уложила ее спать.

— Я уже проснулась,— сказала Анна за перегородкой и вышла, красивая, подтянутая.— Рада тебя видеть. Надеюсь, Белла не будет ревновать, если мы поцелуемся по старой дружбе.— Она обняла Марка за плечи и поцеловала.— Мне Белла рассказывала, что ты занимаешься здесь популяризацией искусства среди детдомовцев.

— Учить этих искалеченных детей — святое дело,— сказал Марк.

— По-моему, святое дело художника — это живопись,— сказала Анна.— Ты согласна, Белла?

— Я согласна,— сказала Белла,— но Марк находит вдохновение у этих сирот. Несмотря на перенесенную тяжелую болезнь, он работает лучше и больше, чем в Витебске. Недруги из академии его буквально терзали.

— Вдохновение — дело хорошее,— сказала Анна,— но все-таки художнику нужны какие-нибудь маломальские приличные условия... Не понимаю, как здесь можно жить и работать. Какие-то доски вместо стен, застойные запахи. А эта железная кровать? Я на ней спала одна и всего час, но чувствую себя совершенно измученной. Как вы здесь спите вдвоем?

— Мы на ночь расширяем ее с помощью досок,— сказала Белла.

— И все-таки мне здесь лучше, чем в Витебске, откуда меня попросту выгнали,— сказал Марк.— Конечно, скачаю по своим, но и это чувство помогает в работе. Я начал писать портрет моего отца. Закрываю глаза и вижу его. Вижу, как папа возвращается домой из селечной лавки в своей жирной и просоленной одежде. Глаза у него кроткие, с серовато-синим блеском.

— Да,— вздохнула Анна,— когда отец твой попал под машину и погиб, весь город был взволнован.

— Что,— закричал и затрясся Шагал,— мой отец погиб? От меня скрыли?

— Что я наделала? — сказала Анна.— Белла, почему ты меня не предупредила?

— Я забыла,— сказала Белла,— я виновата.

— Ты все забываешь! — закричал Шагал и изо всех сил стукнул кулаком по столу.— Ты скрыла от меня телеграмму. Я не был на похоронах. А ведь отец просил.

— Ты был тяжело болен,— сказала Белла,— а потом я все собиралась и все не решалась. Ждала, когда ты окрепнешь.

— Извините меня,— сказала Анна,— я, пожалуй, пойду.— Она попрощалась и вышла.

Марк опустил на железную койку, плечи его дрожали. Белла села рядом.

— Я хочу побыть один,— сказал Шагал, надел плащ и вышел.

Он пошел по тропке, не зная куда.

— Марк,— окликнули его.

Анна стояла в тени под деревом.

— Ты меня ждала?

— Я знала, что ты выйдешь. В такие моменты хочется на воздух.

— Да, на воздух. Ах, если бы можно было подняться в воздух, полетать в одиночестве!

— Ты сейчас нуждаешься не в одиночестве, а в друге, который тебя понимает. В женщине, которая тебя понимает. Помнишь наш разговор в Витебске?

Они пошли рядом через поле.

— Кажется, я был несправедлив к Белле,— сказал Марк.— Но как она могла столько времени скрывать от меня смерть отца? Я писал ему письма, куда же она их девала? Прятала? Но это безжалостно, безнравственно... Бедный мой отец. Помню, я позвал его на свадьбу: «Папа, приходи на мою свадьбу». Он мне ответил: «Я охотнее пошел бы поспать». Наверно, он был прав. К чему было связываться с такими знатными людьми. Ее отец уписывал каждый день виноград, как мой — лук... А лица ее родственников на свадьбе. Жаль, что я не Веронезе.

— Успокойся, Марк. Твой отец прожил достойную жизнь. Все мы смертны.

— Папа... Закрываю глаза и вижу его. Папа поставил самовар и начинает набивать папиросы. Мама все говорит и говорит, стучит пальцем по столу, качает головой. Папа слушает ее, перед ним висится уже целая гора папирос. Почему Белла скрыла от меня телеграмму? Почему? Я ведь почти никогда уже не плачу.— Он заплакал громко, навзрыд, не таясь.

— Поплачь, поплачь,— сказала Анна,— это хорошо.

— В Витебск я больше не вернусь,— сказал Шагал, когда порыв отчаяния минул.— Мне не довелось хоронить ни маму, ни папу. На похороны мамы я просто не приехал. Я не мог это видеть. Потерять последнюю иллюзию. А ведь это могло быть и полезно. Увидеть выражение смерти на лицах родителей. Увидеть снежно-белое лицо мертвой матери. Она так меня любила! Почему я не приехал? Это дурно. А лицо отца, раздавленного судьбой и колесами автомобиля. Он был бы так рад, если бы я приехал. Но он не воскреснет.

— Он не воскреснет,— сказала Анна,— его судьба кончена. А ты должен думать о своей судьбе.

— Я должен думать о своих грехах,— сказал Марк,— потому что грехи папы, как и мамины грехи, Бог уже простил. Я помню, как папа на Пасху молил Бога о прощении грехов. На Пасху ни маца, ни редька не привлекали меня так, как Аггада, книга сказаний и молитв. И наполнявшее рюмки красное пасхаль-

ное вино. Вино в папиной рюмке казалось еще более красным, чем в остальных. Оно излучало отблески густого, царственно-лилового цвета, отблески гетто, отблески раскаленного жара пустыни, преодоленной моим народом с такими муками.

— Я рада, что ты заговорил об этом,— сказала Анна,— нашему народу предстоит опять преодолеть тяжелый путь на родину, невзирая на муки. Если мы это не сделаем, то в нынешнем безумном мире нам, евреям, грозит катастрофа. У меня есть возможность выехать в Варшаву, а оттуда в Палестину. В поезде одно место для тебя. Хочешь поехать со мной? Это надо решать быстро.

— Когда?

— Послезавтра в пять вечера я жду тебя на Брянском вокзале.

— А заграничный паспорт?

— Это не твоя забота... Не захочешь в Палестину, поедешь в Берлин, в Париж.

— Через неделю в Париже,— повторил Шагал, оглядывая поле и покосившиеся избы села, к которому они подходили.

Вдруг со стороны сарая, стоявшего на отшибе, раздался выстрел, за ним второй.

— Побежали,— крикнула Анна,— пригнись!

Выстрелы звучали все чаще.

— Здесь яма,— крикнула Анна,— прыгай!

Прыгнули и покатались по глинистому откосу. В углу ямы уже кто-то тяжело дышал, сидел, скорчившись, с револьвером в руке. Наткнувшись на револьвер, Шагал испуганно вскрикнул и шарахнулся в сторону.

— Не бойся,— сказал сидевший,— я здешний милиционер.

— Что происходит? — спросил Шагал, тяжело дыша.

— Перестрелка между крестьянином Яковом Петровским и ворами, крадущими у него картошку. Кто-то из местных повадился. Во всей деревне у Петровских осталась с зимы картошка.

— Вавилонское безумие и суета сумасшедших,— тихо сказала Анна.

Вдруг грохнул взрыв. Несколько мешков взметнулось в воздух, и оттуда, как шрапнель, посыпалась картошка.

— Бомбу бросили! — крикнул милиционер.

— Я, кажется, ранен,— простонал Шагал, держась за голову.

— Это картошечкой в лоб попало,— сказал милиционер.— А мне по уху угодило. Да вот подмога едет,— закричал он,— чекисты со станции, сейчас мы их, гадов, приберем! Ишь заварили войну в деревне! — Он выскочил и побежал по полю. Выстрелы затихали. Слышны были лишь крики и матерщина. Кого-то с сопением проволокали.

— Разве здесь можно жить нормальному человеку? — сказала Анна.— Подумай, Марк. Через неделю Париж.

— Я подумаю,— сказал Марк, держась за лоб.

— В пять на Брянском вокзале,— повторила Анна.

— Белла,— сказал Марк, стаскивая с себя разорванную шинель, перепачканную глиной,— прости меня.

— Что с тобой? — тревожно спросила Белла.

— Я попал в перестрелку, меня чуть не убили. Но не в этом дело.

— Как это не в этом дело? — спросила Белла.— Тебя чуть не убили, и не в этом дело?

— Да, сейчас главное то, что я очень виноват перед тобой. Я сказал тебе сегодня много дурных, ненужных слов, но душа моя молчала. Ты единственная, о ком душа моя не скажет ни одного дурного слова. Я иногда просыпаюсь и смотрю на тебя, спящую, и мне кажется, что ты само мое творчество. Ты сумела оградить мои картины от темной судьбы. Все, что ты делаешь и говоришь, верно. Да благословят мои покойные родители судьбу нашей с тобой живописи. Пусть черное станет еще черней, а белое — еще белей... Води моей рукой. Бери кисть и уводи меня, как дирижер, в неведомые дали...

— Я очень рада слышать от тебя эти слова. Но сядь, успокойся.

— Некогда, Белла. Собирайся, нам надо уехать как можно скорей.

— Куда?

— Пока в Москву. Я пойду в Наркомпрос к начальнику канцелярии. Я скажу: более ловкие художники получают здесь гонорары по первой категории, а я вместо гонорара получил воспаление легких. Дайте мне возможность уехать. Ни царской, ни Советской России я не нужен.

— А ты не боишься, что тебя за эти слова арестуют? — спросила Белла.

— Ну, хорошо, я скажу это другими словами. Я устал. Прошу отпустить меня как ненужного революции. Единственных, кого мне жаль, — это сирот из Малаховской колонии. Наступает момент, когда я вынужден их покинуть. Дорогие мои малыши, что из вас получится? При воспоминании о вас у меня будет сжиматься сердце.

На Брянском вокзале Москвы была обычная давка, но на специальной платформе, откуда должен был отправиться поезд «Москва — Варшава», царили чистота и тишина. У сверкающих лаком вагонов рядом с проводниками стояли чекисты, проверяли паспорта.

— Госпожа Литвак, — сказал Анне мужчина в кофейном пальто и кофейной шляпе, — до отхода поезда осталось пять минут. Вы еще должны пройти контроль.

— Я подожду, — сказала Анна. — Человек, с которым я намерена ехать, запаздывает.

— Госпожа Литвак, — тихо сказал мужчина, — это может быть ваш последний шанс. Новых возможностей мы вам гарантировать не можем.

— Я подожду, — сказала Анна.

Ударил колокол, засвистел кондуктор. Пограничники стали, загоразивая вагонные подножки, чтобы кто-нибудь не вскочил в последний момент в вагон без проверки. Анна с тоской посмотрела вслед огням последнего вагона.

Шагал с семьей ехал за границу. На пограничной станции доели последний борщ, который подавали в солдатских котелках. Кондуктор с маленькой лакированной сумочкой у немецкого темно-коричневого вагона, проверив билеты, сказал: «Битте». Это уже была заграница. В вагоне продавец газет выкрикивал: «Бэ Цэт» — последний выпуск! Коммунистический митинг в Берлине! Подробности побега кайзера Вильгельма в Голландию! Кровавая драма на Прагер-платц».

Но за окном по-прежнему неслись все те же сосны, которые сопровождали поезд и в Польше. Польша, впрочем, была по нынешним временам уже за границей.

— Я надеюсь, что моя телеграмма дошла и нас в Берлине встретят, — сказал Шагал. — Мой друг Рубинер еще год назад написал мне, что я в Германии теперь знаменит и картины мои высоко ценятся. Значит, можно надеяться на приличные деньги.

— Нельзя ли купить молока или хотя бы чаю? — спросила Белла у кондуктора.

— Нет, мы продаем только пиво, — сказал кондуктор.

— Но ведь я не могу дать ребенку пиво, — сказала Белла.

— О, кинд, — сказал проводник, — яволь. — Он ушел и вернулся с кружкой кипятка, банкой сгущенного молока и пачкой печенья. Шагал, прочитав цену на банке и печенье, протянул деньги. — Найн, — сказал проводник, — дас ист вениг, мали, мали.

— Но ведь написана цена, — удивился Шагал.

— Это вчерашние цены, — сказал кондуктор, — за ночь марка упала. — И назвал цену во много раз больше.

— Хорошо, что я купила в Польше сухарики, — сказала Белла, — возьмем только молоко.

— Видно, на немецкие деньги нельзя рассчитывать, — сказал Шагал. — Может, Вальден заплатит мне в долларах?

— Если он тебе вообще заплатит, — сказала Белла. — Может, он предполагает, что с тебя вполне довольно славы.

Вагон был полупустой, какая-то старушка впереди да подметальщик, который тщательно подметал пол. Но на ближайшей станции вошли пятеро: трое

мужчин и две женщины. У всех были веселые, раскрасневшиеся лица. Они сразу открыли окна и громко запели что-то бравурное, подставляя лица ветру.

— Давай пересядем подальше, — тихо сказала Белла. — Нельзя ли перейти в другой вагон? — спросила она кондуктора.

— Это запрещено, — ответил кондуктор.

— Но здесь слишком громко поют.

— Петь в вагоне не запрещено, — сказал кондуктор.

— Разве это порядок? — возмутился Шагал. — Мы едем с ребенком.

— У нас в Германии свои порядки, — сказал кондуктор, — мы не можем приспособливаться к иностранцам. — И, проходя мимо веселой компании, подхватил припев:

— Heyo, Reyo, Reyo-Reyo-Reyo.

— За дух военного товарищества, — сказал толстый мужчина и поднял откупоренную банку с пивом. — Скоро все станет иначе. Возродить Германию могут только рабочие. Немецкий социализм. Ты слышал в Мюнхене на митинге Дрекслера?

— Нет, — сказал другой мужчина, — я не знаю Дрекслера. Кто это такой?

— Это простой слесарь железнодорожных мастерских, — сказал толстый, — но он говорит так, что хватает за душу. Каждому немцу хорошую работу, всегда полный кухонный горшок и многодетную семью. — Он глянул на одну из девиц и громко запел другую песню. Все хором подхватили.

Потом шумная компания начала играть в странную игру. Мужчине завязывали глаза, он ложился под скамейку, одна из девиц ложилась на скамейку, и мужчина должен был рукой попасть под юбку, но всякий раз под хохот камаратов попадал мимо. Шагал, чтобы как-то отвлечься, вынул книгу и начал читать. Вдруг один из веселящихся с большими кайзеровскими усами, возвращаясь из туалета, подсел к нему и спросил:

— Что ты читаешь?

— Стихи, — ответил Шагал.

— О, стихи я люблю. Какого поэта?

— Тютчева.

— Тютче? Комише намэ. — Он неожиданно выхватил книгу и выбросил в окно. — Зинген, — сказал он пьяно, — ин Дойчланд але зинген дойче лидер.

— Я не умею петь немецкие песни, — сказал Шагал, стараясь глядеть мимо угрожающих пьяных глаз.

— Но так ты можешь, юде. — И он пропел бессмысленный припев.

— Його, йо-го, — запинаясь, повторил Шагал.

— Гут, хорошо ты это делаешь! — засмеялся усатый.

— Франц, — позвали усатого, — иди сюда, твоя очередь.

— Подожди, — сказал Франц, — я учу иностранца петь немецкие песни. Пой, — сказал он, возвращаясь к камарадам.

— Скоро мы всем покажем нашу силу, — говорил толстый, — и французам, и евреям, и капиталистам, и шиберам. В Мюнхене в «Альтен Розенбаум» на Хорренштрассе я слышал оратора Адольфа Гитлера. Он сказал: «Долой засилье процентного рабства и еврейского капитала».

Стемнело. Кондуктор зажег свечи в фонарях. Накричавшаяся компания, уgomонившись, захрапела, причем девицы не уступали мужчинам.

— Только бы Вальден хоть что-нибудь заплатил в долларах, — тихо сказал Шагал, — надо быстрее уезжать в Париж. Германия по первым впечатлениям слишком напоминает мне Россию. Может быть, потому что обе страны проиграла войну. Но здесь какая-то своя специфика, которую, впрочем, можно было ощутить и ранее в немецком экспрессионизме и дадаизме. Мне неприятен супрематизм Малевича или Родченко, но все-таки надо признать — это искусство. А в крайних образцах дадаизма вместо чувств истерика и отсутствие меры. Холсты вопят, как эта пьяная компания. Нет, я слишком устал от революционной России, чтоб жить в революционной Германии.

— А почему бы нам не поехать в Палестину? — сказала Белла. — Все-таки еврейский очаг. Анна мне очень убедительно об этом говорила.

— Наверно, Анна права, — сказал Шагал, — но я все-таки связан с Европой. Я хотел бы поехать в Голландию, в южную Италию, в Прованс. Я хотел бы побывать в мадридском музее у Веласкеса и Гойи. Помнишь того майора?

Фон Гагедорна? Где он теперь? Так же, как некоторым русским неуютно в пролетарской России, некоторым немцам, наверно, неуютно в пролетарской Германии.

— Какие ужасные погромные рожи! — тихо сказала Белла.

— Тут уж ничего не поделаешь. Не надо о них думать ни тебе, ни мне. Зачем мне о них думать? Лучше я буду думать о своих родителях, о Рембрандте, о Сезанне, о моем дедушке, о моей жене. — Он обнял Беллу. — Как бы там ни было, все-таки мы вернулись в Европу. Входя в дома моих любимых художников и раздеваясь, я буду говорить им: «Вот видите, друзья мои, я вернулся к вам. Мне было грустно без вас. Моя мечта — писать картины. После всего, что я видел, я больше не понимаю людей. Но мои картины их понимают».

Ранним утром следующего дня подъезжали к Берлину. Поезд все выше поднимался на эстакаду, мелькали берлинские улицы, еще не погашенные с ночи фонари. Поезд несколько раз останавливался на небольших городских станциях. Наконец кондуктор объявил: «Ам ЦОО».

— Это наш вокзал, — сказал Шагал. Поезд медленно вполз под громадный стеклянный колпак вокзала. Еще из окна Шагал увидел Вальдена, с ним какую-то женщину и мужчину высокого роста. — Людвиг нет, почему Рубинер меня не встречает?

Вальден обнял Шагала.

— С благополучным прибытием! Мы вас ждали. Это ваша жена и ребенок? Очень приятно. А этом моя жена Эльза.

— Вы теперь у нас знаменитость, — сказала Эльза, — вас считают зачинателем нового направления в экспрессионизме. Знаете ли вы это?

— Мне об этом писал Рубинер, — сказал Шагал. — А почему Людвиг не пришел на вокзал?

— Рубинер умер недавно, — сказал Вальден. — Он вас часто вспоминал. Один человек передал от вас письмо, это его очень обрадовало.

— Видно, мне суждена полоса сплошных потерь, — сказал Шагал.

— Что поделаешь, — сказал Вальден, — надо жить дальше.

— Надо жить дальше, — произнес и высокий. — Ты меня не узнаешь? Помнишь Париж, «Улей»? Иван Петухович. Ну, давай поцелуемся. — И, обхватив, обдал спиртным запахом.

Сели на извозчика, поехали.

— Мы заказали вам хорошую гостиницу, — сказала Эльза Вальден, — «Фюрст фон Бисмарк отель», но в последний момент отказали: в Берлине какой-то съезд прусских аграриев, и вообще в Берлине трудно с гостиницами. Но мы все-таки нашли вам приличный пансион.

— Ничего, — сказал Шагал, — я в Берлин ненадолго. Только разберусь с моими картинами.

— Вы хотите возвратиться назад в Россию? — спросил Вальден. — Это я одобряю. Все-таки там новая жизнь, там, в Советской России, надежда мира. Недавно в Берлине был Маяковский, мы с ним об этом много говорили.

— Нет, я хочу ехать в Париж, — сказал Шагал.

— Вот оно что! — разочарованно вздохнул Вальден. — А вам не кажется, что вы когда-нибудь об этом пожалеете? Оставить свою великую родину в момент огромных перемен ради мещанской Европы.

— Я устал от величайших изменений, — сказал Шагал, — я хочу в Париж.

— Конечно, хочется побывать и в Париже, — сказал Вальден, — посмотреть Париж после войны... Я получил недавно письмо от Конюдо. Помните Конюдо? Но тем не менее я отправлюсь в Москву, в Россию, вместе с товарищем Петуховичем, который на первых порах согласился быть моим проводником.

— В Москву, в Москву! — сказал Петухович. — Нам, русским, тяжело в нынешней Европе. Вы, Шагал, в этом сами убедитесь. Все здесь стало противным, даже коньяк... Впрочем, поговорим об этом подробнее вечером... Надеюсь, вы будете сегодня вечером в «Романише кафе» против Гедехтнискирхе?

В «Романише кафе» певец и певица, оба в черных фраках и цилиндрах, пели модный шлягер «Шварце Сония». За столиками сидели мужчины и женщины богемного вида. Трудно было понять, кто из них писатель или художник, а

кто просто спекулянт или проститутка. Недалеко от Вальдена и Шагала двое молодых людей в розовых манишках, слюнявя пальцы, считали марки и доллары.

— Еще несколько дней назад,— говорил Вальден,— я сидел за этим же столиком с Маяковским. Он был в восторге и от Берлина, и от «Романише кафе», и от всего.

— Представляю,— сказал Шагал, оглядывая кафе,— это как раз его футуристская атмосфера.

— Здесь, в «Романише кафе», Маяковский прямо про меня написал стихи, уже переведенные на немецкий и опубликованные в моей газете «Штурм». «Сегодня я хожу по твоей земле, Германия, и моя любовь к тебе расцветает романнее и романнее...»

— Да, это в его стиле,— сказал Шагал.— Маяковский зашел к парикмахеру и сказал: «Причешите мне уши...» Это в его стиле.

— Вам не нравится Маяковский?

— Мне не нравится слово «романнее». Это что-то вроде черного квадрата Малевича. Слово, в котором нет смысла, живет только звук.

— Это и интересно,— сказал Вальден,— звуки, лишённые смысла, краски, лишённые формы,— истинные революционные изменения в искусстве... Какая богатая, какая многогранная жизнь теперь в Москве, в России! Извините меня, но я не понимаю, как вы в такое время могли покинуть Москву. Именно Москва указывает нам, берлинцам, истинный путь. Маяковский ощутил это.

— Ощутил здесь, в «Романише кафе»?

— Перестаньте иронизировать, Шагал. Сейчас время не иронии, а эпоса. Революционного эпоса. Маяковский написал: «Сквозь вильгельмов пролет Брандербургских ворот пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. Рабочий Берлин протягивает Москве руки».

— А я в Москве чуть не протянул ноги,— сказал Шагал.

— Я понимаю,— сказал Вальден,— трудности роста, споры, неприятия. Но нельзя творческие разногласия принимать за смертельную вражду. Нельзя быть таким односторонним, Шагал. Вот Маяковский о вас хорошо отзывался.

— Я знаю,— сказал Шагал,— он написал на одной из своих книг: «Дай Бог, чтоб каждый шагал, как Шагал». Шагал — по-русски означает «идти». Игра слов, футуристы вообще любят играть то чувствами, то словами, так же как супрематисты играют формами и красками. Но я тихий человек, я люблю веселые краски, но не люблю крикливые. Я вообще не люблю, когда кричат. А Маяковский постоянно кричит громче всех. Его крики и публичные плевки вызывают у меня отвращение. Отвращение не меньше, чем тот юнец и две девушки, которые кричат.— Дюжие кельнеры выводили из-за столика визжащую, повздорившую молодежь.— Понятно, что Маяковскому здесь нравится — среди берлинского футуризма. Но нуждается ли поэзия, нуждается ли живопись, нуждается ли искусство в таком количестве шума? Если уж кричать и плевать, то по крайней мере по-есенински.

— Вам нравится Есенин? — спросил Вальден.— Этот пьяница недавно здесь был. Знаете, как его здесь называют? Советский Распутин.

— Наверно, он несовершеннолетний человек и поэзия его несовершенна,— сказал Шагал,— но со слезами на глазах он стучит кулаком не по столу, а по своей груди и плюет не на других, а в свою душу. Мне кажется, после поэзии Блока поэзия Есенина — единственный крик души в нынешней России.

— Значит, вы все-таки любите Россию? — сказал Вальден.

— Да, люблю.

— Почему же вы уехали?

— Каждый любит по-своему. Я очень любил свою мать и своего отца, но я не видел их мертвыми, и для меня они всегда живы, пока я жив, и умрут только вместе со мной. Я не сумел бы писать на моих картинах их живыми, если бы видел мертвыми. Я думаю, что апостолы, которые видели мертвым Христа, не сумели бы написать его живым, даже если бы обладали талантом Дюрера, Рембрандта или Веронезе.

— В ваших словах есть истина,— сказал Вальден,— но только для вас и для вашей судьбы. Истина всегда конкретна, особенно в искусстве.

К столику подошел Петухович.

— Жаль, запоздал,— сказал он, усаживаясь рядом с Шагалом и, по обыкновению, дыша спиртным,— встречался с одним приезжим из Москвы. Знаешь, от кого он мне передал привет? От Сони. Помнишь мою натурщицу?

— Помню,— сказал Шагал,— мне довелось ее видеть в Москве в иной роли.

— Для того и делается революция,— сказал Вальден,— чтобы люди получили новые роли, и не только люди, даже слова и краски чтобы стали новыми. Прекрасно сказано в манифесте футуристов: гласные мы понимаем как время и пространство, согласные — краски, звуки, запахи...

— Хорошие слова,— сказал Шагал,— особенно для митингов поэтов и художников. Но что мне делать на митингах художников? Вчерашние мои ученики, бывшие друзья и соседи правят там искусством всей России. Они смотрят на меня с недоверием и сочувствием. Они не понимают, что у меня уже нет никаких притязаний. Разве что опасение, что больше не пригласят на должность профессора. Но если не считать меня, кто ныне в России не профессор? Езжай, Ваня, в Россию,— сказал он Петуховичу,— станешь профессором.

— В тебе, Шагал, говорит обида,— сказал Петухович,— я слышал о твоих разногласиях с Малевичем, с группой «Бубновый валет» и прочими активными революционерами.

— Один деятель из «Бубнового валета»,— сказал Шагал,— указал мне пальцем на газовый фонарь и злобно объявил: «Таких, как ты, всех повесят». Другой, которому Бог не послал таланта, выкрикивал на митинге: «Смерть картине!» Они требуют себе в распоряжение весь мир, я же мечтаю о какой-нибудь комнатухе в Париже, где можно было бы поставить стол, кровать и мольберт.

— Я понимаю, о чем вы,— сказал Вальден,— однако деньги, которые я выручу за ваши картины, теперь ничтожны, а долларов у меня нет.

— Но что же мне делать? — спросил Шагал.

— Я познакомлю вас с берлинским торговцем картинами Паулем Кассирером. Вы привезли что-нибудь новое?

— Кое-какие рисунки и акварели,— сказал Шагал,— и рукопись книги «Моя жизнь» о российских моих годах. Эти годы kloкочут в моей душе.

— Может быть, Кассирер купит у вас и заплатит в долларах.

— Только бы заплатил,— сказал Шагал,— хочется наконец устойчивости. Всю жизнь я испытывал образные предчувствия полета. Но даже если эти предчувствия не были точными, то разве мы на самом деле не висим в воздухе и не страдаем от главной нашей болезни — мании устойчивости? Хочется устойчивости.

В коридоре витебского НКВД гремели на полную громкость русские частушки. Музыка доносилась из-за двери с табличкой: «Старший следователь С. Х. Виленский». Дежурный старший лейтенант Василевич, усмехнувшись, сказал охраннику:

— Хорошо у Виленского дело поставлено. Бьет под патефон, криков не слышно. Кого ты к нему привел?

— Жигарева,— сказал охранник,— бывшего председателя горсовета.

— Жигарев ведь уже признание подписал,— сказал Василевич,— он в расстрельном списке. По инструкции расстрельных больше не допрашивают.

— Не знаю,— пожал плечами охранник,— видать, не все из него выбил.

Раздался звонок. Василевич торопливо оправил пояс, одернул гимнастерку и пошел к дверям Виленского. На полу в луже крови лежал бывший председатель исполкома Жигарев. Виленский в углу мыл руки у рукомойника.

— Троицкская кляча,— охрипшим голосом сказал он,— давно б его на живодерню. У меня с ним с девятнадцатого года счеты.

— Дышит еще,— сказал Василевич, ногой в начищенном сапоге прикасаясь к подбородку Жигарева и перекидывая его голову набок.— Тут уж, Соломон Хаимович, стрелять нечего. Прикладом добить да заактировать: приговор приведен в исполнение.

— Возьми его, Василевич, и сделай, как говоришь,— сказал Виленский, садясь к столу.

Дежурный вызвал двух охранников, которые вынесли Жигарева. На столе у Виленского стояли коробка шоколадных конфет «Красная Москва», коробка

миндального печенья и бутылка вина. Виленский взял дрожащими руками шоколадную конфету, положил в рот.

— Поберегте бы себя, Соломон Хаимович,— сказал Василевич,— без отдыха работаете.

— Отдыхать будем, Василевич, когда над нами Интернационал сыграют и «Вы жертвою пали» пропоют.— Виленский налил вина, расплескав по столу.— Хочешь грузинского? «Цинандали», любимое вино товарища Сталина.— Он наполнил второй стакан.

— Поздно уже,— сказал Василевич,— домой пойдете?

— Еще с сионисткой поговорю. Давай сюда Литвак Анну.

Анну, измученную, исхудавшую, привели из подвала.

— Ну что? — сказал, глядя на нее, Виленский.— Вот вы, сионисты, плачете, жалуетесь, что евреям в Советском Союзе очень плохо. А посмотрите на меня. Я сын простого биндюжника, теперь майор, занимаю ответственную должность и к Первомаю награжден орденом Красной Звезды. А помнишь, как ты смеялась надо мной? Называла меня «сопливый Соломон». Посмотри, кто ты и кто я. Где ты и где я. И где этот Шагал, которого ты любила. Он среди фашистов-эмигрантов. Любила ты этого фашиста?

— Да, любила.

— А меня?

— Тебя нет, сопливый Соломон.

— Сионистка! — закричал Соломон.— Голос еврейского шовинизма не будет звучать в нашей стране!

Он подошел к патефону и поставил еврейскую народную песню «Варнычкес».

Майской теплой ночью грузовик-полторка, в котором среди других сидела Анна с черным вспухшим лицом, свернул с дороги и поехал лесной грунтовой к огороженному в чаще леса пространству, где расстрельная команда уже стояла у края ямы.

Среди другого пейзажа другой грузовик — тяжелый, тупорылый, немецкий — ехал по шоссе. Польские поля неслись назад, и люди, сидевшие на полу грузовика, провожали их слезящимися глазами. Среди этих людей были Зуся и Аминодав.

— Зуся, запоминай дорогу,— шепотом сказал Аминодав.

— Разве мы вернемся? — спросил Зуся.

— Надо всегда надеяться, что Бог вспомнит нас.

— Бог вспомнит нас и благословит,— сказал Зуся.

— Молчи, юде,— сказал конвойный немец и ударил Зусю прикладом в спину.

Навстречу ехала польская свадьба на нескольких фаэтонах. Музыканты на одном из фаэтонов играли краковяк. Остановились и весело смотрели. У обочины стояло несколько немецких танков. Загорелые веселые танкисты в одних трусах обливали друг друга водой и хохотали.

— Юден капут! — закричал один.

— Если бы всех вшей тоже можно было бы вместе с евреями отправить в Аушвиц,— сказал другой и захохотал.

У столба с надписью «Аушвиц» грузовик свернул.

В спальне на широкой никелированной кровати с шишечками спал, распавшись на груди шелковую пижаму, Виленский рядом с толстой женой в бигуди. Как во всяком приличном доме, вокруг были ковры, стоял диван с кистями, шкаф красного дерева, туалетный столик с зеркалом, на котором расположились слоники и пупсики, однако тут же лежали «Капитал» Маркса и какая-то брошюра Осоавиахима. Часы в футляре показывали половину третьего ночи, когда раздался резкий звонок в дверь. Усталый Виленский пробормотал что-то и повернулся на другой бок, но жена встала, надела халат на шелковую спальную рубашку и, шлепя домашними туфлями, вышла в коридор.

— Кто там? — спросила она.

— Телеграмма,— ответил мужской голос.

— Соломон, тебе телеграмма,— сказала она.

При слове «телеграмма» Виленский вскочил как ужаленный.

— Не открывай! — нервно закричал он и заметался в пижаме по комнате. Снова, уже настойчивей, позвонили.— Не открывай,— повторил он, трясущимися руками натягивая прямо на пижаму форменные галифе с кантами и гимнастерку с орденом Красной Звезды.

— Что случилось, Соломончик? — плача, спросила жена.— Может, действительно телеграмма?

— Не открывай,— повторял Виленский,— я сам разносил такие телеграммы в три часа ночи. Враги, троцкисты, хотят опорочить честных коммунистов, честных чекистов.

— Открой, Виленский! — закричали снаружи.— Двери ломаем! — Послышались сильные удары, дверь затряслась.

— Нет, я вам не дамся! — крикнул Виленский и, оглядев комнату, сорвал со стены портрет Сталина. Прижав портрет к груди, он выбежал на балкон. Была прохладная ночь. Далеко внизу мелькали огни автомобиля у подъезда и силуэты в плащах.— Да здравствует коммунизм! — крикнул Виленский и с портретом Сталина в руках кинулся вниз головой с балкона пятого этажа.

Портовый город на юге Франции был тревожен и пустынен. Повсюду стояли брошенные автомобили. В номере маленького отеля среди упакованных чемоданов Шагал нервно ходил взад-вперед, поглядывая в окно.

— Ждать заказанного такси бесполезно,— сказала Белла,— ясно уже, что оно не придет.

— Если такси не придет в ближайшее время, мы опоздаем в порт,— сказал Шагал,— а это наш последний шанс уехать в Америку. Последний теплоход... Господи, помоги!

— Я пойду искать такси,— сказала Белла,— или еще какой-нибудь транспорт.

— Я пойду с тобой,— поднялась дочь.

— Нет, я пойду одна, оставайся с отцом, видишь, папа очень нервничает.

— Я спокойней вас всех,— сказал Шагал, поправляя дрожащей рукой растрепанные волосы.— Я тебя не пушу, Белла, на улице тревожно. Что значит ты пойдешь? Я мужчина, я пойду.

— Я найду такси,— сказала Белла,— у нас нет другого выхода.— Она надела пальто и пошла к дверям.

— Белла,— позвал Шагал, она остановилась.— Белла.— Он обнял и поцеловал ее.

— Не надо, Марк, со мной прощаться. Все будет хорошо.

— Мне страшно,— сказал Шагал,— мне страшно за тебя, за нашу дочь, за себя, за весь этот сумасшедший мир. В префектуре, где я получал вчера визы, висит объявление: «Всем иностранцам пройти регистрацию». Конечно, имеются в виду в первую очередь евреи.

— Но ведь у нас приглашение нью-йоркского музея современного искусства,— сказала дочь.

— Плевать они хотели на современное искусство,— сказал Шагал,— и на всякое другое тоже. Теперь, когда даже Париж, столица пластического искусства, куда все художники мира имели обыкновение ездить, мертв, какое дело провинциальному префекту до искусства? И вообще кому где теперь дело до искусства? Я недавно случайно узнал у одного немецкого эмигранта, что Вальден — помнишь, немецкий художник, который встречал нас в Берлине? — погиб под Магаданом в советском концлагере. А ведь он так любил Советскую Россию. Весь мир обезумел. Просто некуда скрыться. Разве что Америка осталась.

— Тем более нам надо спешить, чтобы уехать в Америку,— сказала Белла.— Я пойду искать такси.— Она вышла.

Наступила тишина. Слышно было, как на улице кто-то громко говорил по-немецки.

— Где она найдет такси? — шепотом сказала дочь.— В городе нет бензина.

— Зачем я ее отпустил? — тихо сказал Шагал.— Я никогда себе этого не прощу. Я, мужчина, прячусь, а жена ушла на опасную улицу.

— Сейчас везде опасность,— прошептала дочь.

На лестнице слышались тяжелые шаги. Громко заговорили по-немецки, громко захохотали.

— Майн зюсер,— сказала женщина по-немецки с французским акцентом.

Шагал молился, беззвучно шевеля губами. Тяжелые шаги начали удаляться, хлопнула дверь. Наступила тишина. Наконец слышались легкие шаги на лестнице. Осторожно постучали в дверь.

— Быстрее,— сказала Белла,— я нашла почтовый автомобиль, я отдала шоферу кольцо, а в порту я обещала отдать ему свои серьги.

На сцене нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» шла репетиция балета Стравинского «Жар-птица». Среди скал на горе высился замок злого царя Кашея Бессмертного. Медленно появляется Всадник ночи на черном коне, сам в черном. Когда он удаляется, темнеет. Только золотые яблоки на дереве светятся. Но тотчас же сад освещается ярким светом от Жар-птицы. Иван-царевич в погоне за Жар-птицей всюду натывается на окаменелых чудовищ.

В зале за столиком рядом с балетмейстером сидели Шагал и Белла.

— Вот пример звучащих форм,— говорил Шагал,— живопись должна откликаться на музыку.

— Однако надо помнить о третьем измерении, Марк Захарович,— сказал балетмейстер,— о глубине сцены. Зритель сидит в зале, а не стоит на расстоянии нескольких вершков, как на выставке.

— Пусть какие-то подробности будут потеряны,— сказал Шагал,— но без этих подробностей не создать общую гамму красок. Золотые яблоки, свет луны, костюмы Жар-птицы и Ивана-царевича — все это должно пылать, сверкать искрами. Огневой образ балета Стравинского — пожар... Чувство пожара мне близко с детства, я ведь родился во время пожара... Как я любил витебские пожары! — сказал вдруг Шагал, мечтательно улыбнувшись.— Помнишь, Белла, наши витебские пожары?

— Я помню, как горела синагога,— сказала Белла.

— О, пожар в синагоге,— улыбнулся Шагал,— какая это прекрасная картина, уютный далекий пожар рядом с нынешними злыми пожарищами войны. Это так успокаивает. Наш мирный город. Мутновато-синее, почти черное небо. Слева чуть синее. А сверху лучится божественный свет.

— Таких подробностей я не помню,— сказала Белла,— у меня, к сожалению, не так развита творческая фантазия.

— Я не люблю определение «фантазия»,— сказал Шагал,— я против понятий «фантазия» и «символизм». Весь наш внутренний мир — это действительность, причем более возможная, чем мир, который мы видим...

— Извините, Марк Захарович,— сказал балетмейстер, по ступенькам поднялся на сцену и обратился к мальчикам в костюмах рабов: — Рабы появляются большим прыжком с поворотом в воздухе, с поджатыми ногами... Показываю.— И прыгнул с большой высоты, опустившись на корточки. Мальчики-рабы вслед за балетмейстером начали прыгать вниз.— Я думал, что сломаю себе голову,— тихо сказал балетмейстер Шагалу,— во время репетиции на гладком полу все хорошо выходило, но на сцене надо прыгать сажени две с высокой скалы. Действительно можно струсить.

Прозвучали последние аккорды. Репетиция кончилась.

— Когда вы собираетесь выпускать спектакль? — спросил Шагал.

— Вряд ли мы успеем в сезон сорок четвертого года,— сказал балетмейстер,— пожалуй, откроем этим балетом сезон сорок пятого.

— В музыке Стравинского есть замечательный элемент звукоподражания,— сказал Шагал,— мне начинает казаться, что я слышал эту музыку еще в детстве, когда горела витебская синагога. О, это была целая симфония! Дым из-под крыши, вопли горящих свитков Торы, крики алтаря. Лопаются, раскалываются оконные стекла. Огонь разлетается во все стороны, дым застилает полнеба и отражается в воде, и все это под музыку Стравинского. Я помню, как бежал к родному дому, чтобы с ним попрощаться во время общего пожара в еврейском квартале. На дом уже падал пепел, дом как будто был оглушен. Отец и я, и все наши соседи поливали его. Так был спасен наш дом.

— Ты ведь любишь пожары,— заметила Белла.

— Я люблю пожары как образ,— сказал Шагал,— но я не люблю, когда горит мой дом.

На улице мощно, однообразно шумел дождь.

— Вот тебе и звукоподражание Стравинского,— весело сказала Белла,— похоже, этот концерт на много часов. Побежали, тут недалеко стоянка такси.— Она застучала каблуками по мокрому асфальту. Шагал побежал следом. Дождь и ветер сразу набросились на них, начали терзать одежду, сорвали с Шагала шляпу.— Ой, я сломала каблук! — весело крикнула Белла и, сняв туфли, зашлепала по лужам босиком.

— Простудишься! — крикнул Шагал, пытаясь поймать свою шляпу. Сверкнула молния, загрохотал гром.

— Сильная инфекция, вызванная простудой,— говорил доктор, склонившись над Беллой, метавшейся в жару.

Шагал сидел неподвижно, словно окаменев.

— Есть надежда, доктор? — спросил кто-то.

— Сделаем все возможное,— сказал доктор,— но сильное заражение. Эхинококкоз легких.

— Эхинококкоз,— деревянными губами пробормотал Шагал.

Мертвая Белла лежала на столе. Зеркала были завешаны. В комнатном полумраке по-ангельски белоснежное лицо Беллы, казалось, светилось. Мелькали вокруг неясные людские силуэты. От запаха живых цветов тошнило.

— Нет больше моего ангела,— глядя в пространство, сказал Шагал.— Одета с головы до ног в белое или черное, она давно мелькала на моих картинах, как ангел-хранитель моего искусства. Ни к одной картине, ни к одному рисунку я не приступал, не посоветовавшись с нею. Я больше не возьму в руки кисть.

В канун еврейского праздника Иом-Кипур в переполненной нью-йоркской синагоге горели очень большие свечи, слышались рыдания. Евреи говорили:

— Пусть мы все будем жить долго... За мою усопшую мать... За моего усопшего маленького сына.

Все извинялись друг перед другом и прощали друг другу обиды. Родители клали руки детям на голову, благословляли даже взрослых детей. Наконец отдернулось покрывало и вынесли свитки Торы. Все пошли навстречу Торе, желая прикоснуться и поцеловать. Только Шагал сидел неподвижно в заднем ряду и не молился, просто сидел и молчал. Увидев это, раввин подошел и спросил:

— Почему ты не молишься?

— Он отнял у меня все,— ответил Шагал,— мне не о чем с ним говорить.

— Но сегодня ведь канун праздника Иом-Кипур.— Может, ради праздника ты его простишь? — Шагал сидел молча.— Если ты не сказал «нет», значит, ты сказал «да»,— произнес раввин.— Ты слышишь? — Он поднял глаза.— Ради праздника он тебя прощает. Прости и ты его.

Кучки людей собрались на берегу Гудзона.

— Рошь-Ашана,— говорили люди,— святой праздник. Дай Бог нам сладкого нового года.

Мужчины выворачивали карманы, низко склоняясь над водой. Носовые платки, бумажки, крошки — все летело в воду. Среди мужчин был и Шагал.

На сцене «Метрополитен-опера» продолжались репетиции. Осунувшийся, побледневший Шагал сидел в директорской ложе. Подошел дежурный.

— Мистер Шагал, вас на проходной ожидает один человек.

— Кто?

— Он просил передать, что его зовут Аминодав.

Шагал торопливо поднялся, вышел. Перед ним стоял седой, сторбленный старик. Они обнялись.

— Я узнал о тебе из газет,— сказал Аминодав.

Марк и Аминодав проговорили всю ночь.

— Ты добился своего, ты стал известным художником, — сказал Аминодав. — Мне кажется, человек, добившийся своего, знает о жизни все.

— Что я знаю о жизни? — сказал Шагал. — У меня такое впечатление, что всю свою жизнь я всего лишь учился умирать. Но за меня умирали другие, пока не умерла Белла. Не знаю, сколько мне осталось, но смерть теперь всегда со мной, она теперь внутри меня.

— Выживает только тот, кому повезло, — сказал Аминодав. — Вот я выжил в Освенциме. Я попал в похоронную команду, которая вытаскивала трупы из газовых камер и перевозила в крематорий. А Зусю задушили газом и сожгли. Ты помнишь, как в детстве Зуся решил быть толстым, чтоб гореть медленно? Но оказалось, что толстые и тонкие горят одинаково.

— Когда-то покойный отец рассказывал мне про такой хасидский образ. Человек напоминает приговоренного к смерти, который сидит на телеге, запряженной лошадьми, белой и черной. Лошади называются День и Ночь, и, Боже мой, как быстро они несутся.

— Всякая жизнь имеет конец, — сказал Аминодав, — у одних раньше, у других позже.

— Да, всякая жизнь, — сказал Шагал, — только смерть не имеет конца. Но искусство — это не жизнь и не смерть, это сказка, в которой то и другое существует одновременно.

Следующим утром Шагал пошел провожать Аминодава.

— Тебе, наверно, нужны деньги? — спросил Шагал. — Возьми. — И протянул конверт. — Это долг. Помнишь Париж, молодость?

— Спасибо. — Аминодав взял конверт. — Пока мы живы, будем встречаться... А смерть? Что такое смерть? Это все равно, что завернуть за угол. — Он обнял Шагала и завернул за угол.

Шагал стоял у витрины магазина электротоваров. Мигали беззвучно телевизоры. Вдруг Шагал почти бегом поспешил к углу. Шли прохожие по улице, Аминодава среди них не было. Тогда он опять вернулся к витрине. Беззвучно мигали телевизоры.

Ярко, горячо пылало утро французского юга за окнами богатого особняка, впрочем, нередкого здесь, в Сант-Пауль-де-Венце, маленьком городке миллионеров, туристов с тугими кошельками, дорогих ресторанов, престижных картинных галерей, теннисных кортов и бесчисленных цветочных клумб.

По коридору второго этажа молодая медсестра везла на инвалидной коляске глубокого старика с живыми шагаловскими глазами и шагаловской улыбкой на пергаментном, высушенном лице.

— Сестра, — произнес слабым, но ясным голосом Шагал, — какое сегодня число?

— Двадцать восьмое марта.

— А год?

— Тысяча девятьсот восемьдесят пятый, мосье.

— Когда живешь слишком долго во времени и пространстве, забываешь повседневные подробности. Как вас зовут?

— Жозан.

— Я вас впервые вижу, Жозан, вы новенькая?

— Да, мосье.

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять, мосье.

— А мне девяносто восемь... Чем мы не пара? Хорошо бы встать с этого инвалидного кресла и пойти позавтракать с вами в какой-нибудь ресторанчик... Ваши глаза и ваши волосы напоминают мне нечто далекое, но волнующее сердце. Как волнуется замечательная репродукция какого-то сердечно близкого, но забытого подлинника.

— Вы шутите, мосье.

— Разве это я шучу? Это шутит фатальная современность. Подвезите меня к окну.

— Но, вам пора завтракать. Доктор велел вам завтракать строго по часам.

— Ничего, Жозан,— сказал Шагал,— сегодня сделаем исключение. Сегодня какой-то особый день. Сегодня я проснулся особенно бодрим... Откройте окно... Откройте, откройте.— Сестра открыла окно.— Какой воздух! — глубоко вздохнул Шагал.— Сегодня здесь, в Сант-Пауль-де-Венце, воздух моего детства. Витебский воздух. Хорошо б в таком воздухе полетать! — Он взял ее теплую ладонь своими одряхлевшими пальцами.— Так бы вместе полетать, словно крылатые ангелы. Люди начнут спрашивать: «Кто это там летает?» Вам никогда не приходилось летать, Жозан?

— В самолете, мосье.

— В самолете... Летит себе аэроплан... Жаль, что я забыл эти замечательные стихи, помню только первую строчку. Жаль. Но скажу вам по секрету: все свои картины я писал в полете. Я никогда не признавал закон всемирного тяготения. Только теперь, в инвалидном кресле, я должен подчиниться этому закону. Да, я вынужден подчиниться, но я ему не верю. Я верю пророку Илье, летающему пророку на белой колеснице. Я ясно помню, как отец мой поднимал бокал красного пасхального вина и велел отпереть дверь на улицу, чтоб впустить пророка... Сноп серебряных звезд на бархатно-синем фоне неба ослепляет мои глаза. Я слышу голоса. Кто это? Это о нашем существовании рассуждают Моисей и сам Бог.

— Вам пора завтракать, мосье Шагал,— сказала медсестра, отнимая руку и берясь за спинку кресла,— доктор запретил вам много говорить. Это дурно влияет на давление.

— Доктора,— усмехнулся Шагал,— что понимают доктора? Когда-то в детстве меня укусила бешеная собака, и доктора объявили, что я должен умереть на четвертый день. А я вот пока еще двух лет не дожил до ста. Я живу так долго, что свет пасхальных свечей, горевших в моем детстве, наверно, скоро долетит до Луны.— И он пальцем расписался на запотевшем стекле: «Шагал».

Сестра покатила коляску дальше по коридору. В конце его был лифт, соединяющий второй этаж с первым.

— Вы поедете со мной завтракать, Жозан? — спросил Шагал.

— Нет,— ответила Жозан,— на первом этаже вас будет ждать сестра Беатриса.— Она нажала на кнопку, вызывая лифт.

— Я не утомил вас своей болтовней?

— Нет, что вы, мосье,нисколько.

— Значит, я еще неплохо сохранился в свои девяносто восемь лет. Однако, Господи, прости меня, если я не смог передать в этой нелепой болтовне всю ту дурацкую любовь, которую в общем-то испытываю к человечеству. Но родичи мои и женщины, в которых я бывал влюблен, для меня более священны, чем все прочие люди. Так я хочу.

— Лифт уже ждет вас, мосье,— сказала Жозан.

— Лифт. Не хватает мне еще застрять в лифте, как в прошлый раз.

— Я подожду, мосье, пока вас встретит на первом этаже сестра Беатриса. До свидания, мосье.— Жозан вкатила коляску в лифт.

— Я думаю,— сказал Шагал,— что после меня все станет в мире совсем другим. Но будет ли тогда существовать этот мир?

Дверь лифта закрылась.

— Мосье Шагал выехал,— сказала Жозан в микрофон сестре Беатрисе, ожидавшей на первом этаже.

Лифт шел очень медленно. Наконец он остановился, открылась дверца.

— Доброе утро, мосье, завтрак уже готов,— сказала сестра Беатриса.

Шагал не ответил. Когда сестра выкатила из лифта коляску, он сидел, слегка склонив голову к правому плечу, черты лица спокойные, рот полуоткрыт.

— Мосье Шагал прибыл? — спросила в микрофон Жозан.

— Мосье Шагал умер в лифте,— сказала сестра Беатриса.

Сестра Жозан невольно обернулась к окну, на последний оставленный Шагалом автограф. Но начавшийся дождь размыл буквы. Надпись потекла по стеклу.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

Пять стихотворений

* * *

Я вспоминаю мать,
Бабушку и хочу
С ними рядом лежать
После, когда умру.

В вязкой тени аллея,
Где у тюркских могил
С выкриками скорбей,
Тихо скользит Азраил.

Может, хоть часть любви,
Что получал не ценя,

Через тело земли
Вновь обнимет меня.

Теплый бы дождь вбивал
Сотни капель-гвоздей
В травы, которым дал
Бог ощущение корней.

Дал им дар прорасти
В поле, в саду, на костях
Силою всей земли,
Знающей все о корнях.

* * *

Густая влажность свободе учит,
Вползает в окна и детством мучит,
Легко собирая с годов по крохе:
И снова осень в подмокшей охре
Позволит ливню тех лет пролиться,
Сплетая в стеклах свои косицы,
Сливая в люки потоков туши,
И чтобы мальчик стоял и слушал.

Еще плетеньем венозных молний,
Еще качаньем ветвей пополни,
Еще догадкой, что страх и счастье,
Что смерть и ливень в единой власти,
В едином горе, в едином сущем,
Так жадно ждущем, так густо льющем...

* * *

Ветер дерет из рук
Зонтик, портфель, с ребенка — панамку:
Так, мол, и надо, друг,
Все выворачивать наизнанку.

Где-то она меж сторон,
Истина,— повернешь и так, и этак:

Холодок ее, шорох, стон,—
Снова ее нету.

Ветер и ворошит
(Где она там?) бумагу, куст и
Дальше, дальше спешит:
И хорошо, что пусто.

Нужно лететь, лететь,
Щель находить, тупики слепые.
Имя ее просвистеть
Истинное: стихия.

* * *

Шепот Акакия: «Что я вам сделал, оставьте, не мучьте меня!»
Эхом несется в просторах земли ветровых,
Встречную душу увеча, корежа, креня
В сторону ужаса, в область столбов верстовых,
В смерть растянувших того, кто в надышанной мгле
Бережно любит всего лишь смешное свое,
Буковку к буковке ладит в последнем тепле,
Не замечая, как голодно злое зверье,
Как разгулялась громадных стихий свиристель,
Так, что от страха накрыться подушкой и лечь...
Страхом Господним подбита любая шинель,
Вместе с душою она отдирается с плеч.

* * *

Время наносит тебе урон
Большой, чем мог нанести Батый,—
Жизнь выдувает со всех сторон,
Чаще всего — изнутри.

Значит, былинку пора седлать,
С времени ветром пуститься влать,
Пляшущим на пепелище стать,
Сгинуть совсем, пропасть.

Небо пророков тебе судья,
Небыль прорехи твой ветхий халат,
Старого грека худая ладья
Ставит тебе мат.

Только и вспомнишь в последний миг:
Моря расчесы в ветреный день,
Птицу, летящую напрямик,
На утесе ее тень.



Воспоминания. Документы

Около двадцати лет сотрудничает с редакцией журнала «Октябрь» Государственный музей Л. Н. Толстого, предоставляя для публикации архивные материалы из Отдела рукописей.

Музей хранит богатейшее рукописное собрание: это тысячи листов рукописей художественных и публицистических сочинений Толстого с их многочисленными вариантами, тетради дневников и записные книжки писателя, его огромное эпистолярное наследие — десять тысяч писем, среди адресатов — выдающиеся деятели русской и мировой культуры.

Помимо автографов самого писателя, в музее собран уникальный семейный архив, а также архивы лиц близкого окружения Толстого; особый раздел составляют письма к Толстому — их более пятидесяти тысяч — и воспоминания современников о нем. Все эти документы представляют поистине неисчерпаемый источник сведений о писателе и о его эпохе. XIX век оживает, многократно преломляясь и отражаясь в подробности частной жизни.

Сотрудники Отдела рукописей музея ведут постоянную кропотливую работу по научному описанию и подготовке к публикации неизвестных ранее архивных материалов, в том числе переписки Толстого с близкими ему людьми. В 1990 году вышла в свет подготовленная сотрудниками Отдела рукописей книга «Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями» — редкий литературный памятник, запечатлевший духовную жизнь талантливого русской семьи. В настоящее время закончена работа над перепиской Льва Николаевича с его воспитательницей Татьяной Александровной Ергольской.

Особое место в работе сотрудников Отдела рукописей заняла подготовка нового издания переписки Толстого с Александрой Андреевной Толстой, его двоюродной теткой, фрейлиной Двора при четырех российских императорах. Чтобы собрать и обработать необходимые для издания материалы, потребовался долгий упорный труд. В процессе работы было выявлено семнадцать писем Л. Н. Толстого к А. А. Толстой, не входившие в первое издание, и одно неопубликованное письмо Толстого к тому же адресату.

Были обследованы архивы Пушкинского Дома и ЦГАОР, где хранятся рукописи А. А. Толстой. Во время поисков удалось обнаружить неизвестное ранее оригинальное сочинение А. А. Толстой «Печальный эпизод из моей жизни при дворе» — ценный источник для изучения русской истории второй половины XIX века, полностью напечатанный в «Октябре» (1993, №№ 5—6).

«Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой» была издана впервые в 1911 году Толстовским обществом в Петербурге; книга стала библиографической редкостью. На издание Толстовского общества наложила свой отпечаток предреволюционная эпоха: публикаторы стремились главным образом представить письма Толстого, тогда еще не изданные, отведя фрейлине Толстой роль «подающей реплики», как она упомянула о себе из скромности в «Воспоминаниях», предваряющих переписку. Опубликованные письма А. А. Толстой были переведены с французского подчас небрежно, а главное, почти половина их не вошла в издание 1911 года. Для нового издания «Переписки» сотрудники музея Н. И. Азарова, Л. В. Гладкова, О. А. Голиненко, Б. М. Шумова выверили по подлинникам все 136 писем Л. Н. Толстого к А. А. Толстой и 128 писем А. А. Толстой к Л. Н. Толстому с 1857 по 1903 год. Кроме того, в новое издание войдут не публиковавшиеся ранее письма А. А. Толстой к Софье Андреевне и Татьяне Львовне и их к ней, содержащие ценные сведения о Толстом. Все тексты тщательно прокомментированы. Перевод с французского большей части писем А. А. Толстой выполнила Л. А. Гладкова, некоторые письма перевела Н. И. Азарова.

Завершена многолетняя работа над книгой «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой». С ее содержанием познакомит читателей обзор, составленный Н. И. Азаровой.

Заместитель директора Государственного музея Л. Н. Толстого по научной работе, кандидат филологических наук Б. М. ШУМОВА

Два голоса

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Л. Н. ТОЛСТОГО С А. А. ТОЛСТОЙ

Переписка Льва Николаевича с Александрой Андреевной Толстой, как их дружба, длилась почти полвека — сорок семь лет. Первые письма написаны молодым человеком, неуверенным в себе и своем призвании, «Геркулесом на перепутье», как сказал о Толстом той поры Тургенев. Последними письмами Лев Николаевич и Александра Андреевна обменялись в старости, в 1903 году, уже не надеясь на встречу.

Когда Толстой узнал, что их переписка готовится к изданию (зимой 1910 года), он отозвался о ней: «Это лучший материал для биографии».

Собранные воедино листки его и ее писем составили уникальное целое — роман-диалог, в котором раскрывается исполненная драматизма история их взаимоотношений. Этим разрозненным листам придают единое звучание напряженный эмоциональный настрой, романтическая возвышенность, полнота чувств, сохранившаяся от начала и до конца. То, что объединяет текст в единое целое, сродни музыкальной стихии, и это не случайно. Лев Николаевич и Александра Андреевна были оба музыкально одарены; свое тяготение друг к другу они объясняли редким созвучием душ.

«Не один раз я замечала,— пишет Александра Андреевна,— что лучший способ получить от вас письмо, это самой сесть писать вам ... может быть, это частица магнетизма или созвучие душ, так как мне думается, что мы часто поем в одном и том же ключе, хотя кажется, что мы поем в разных тонах».

Лев откликнулся в том же духе. Долго ожидая писем, он призывал ее: «...когда-нибудь напишете мне так же, как я вам — все, что вам близко к сердцу. Все отзовется верно, без единой фальшивой ноты».

Обширная долговременная переписка возникла не из-за пристрастия Льва Николаевича и Александры Андреевны к эпистолярному жанру, напротив, задушевный дружеский разговор был для них стократ дороже любого письма. Но жизнь, счастливо сведя их однажды в Швейцарии, разводила постоянно и надолго: Александра Андреевна была связана придворной службой в Петербурге, поездками за границу; Лев предпочитал яснополянское уединение. Ожидание встреч и жалобы на длительную разлуку — один из постоянно повторяющихся мотивов переписки.

«...Один настоящий долгий разговор с вами удовлетворил бы и укрепил меня в тысячу раз больше, чем мои одинокие чтения и размышления», — признается Александра Андреевна.

Круг чтения, отголоски встреч с известными литераторами — общими знакомыми, а среди них Тургенев, Гончаров, Тютчев, Достоевский; общественная деятельность и политика — все находит свое место на страничках писем. Главная же, всепроникающая тема переписки — спор о вере.

Русская жизнь в течение полувека между двумя национальными катастрофами — поражением в Крымской кампании 1853—1855 годов и поражением в русско-японской войне в 1904 году — вот масштаб того исторического пространства, в котором листок за листком складывалась эта удивительная книга. Особенности исторического момента, по-видимому, сообщили необычайную эмоциональную напряженность диалогу, в котором выражают себя души мятущиеся и взыскующие истины, какими предстают перед нами герои переписки.

Они пережили начало исторического обвала. Старый мир рухнул, Россия вступила в полосу катаклизмов. Что будет со страной, с народом, с близкими, с их собственной судьбой?

Внезапно умер император Николай I. Пал Севастополь.

Начиналось новое царствование, Александр II готовился проводить реформы, русское общество вступало в эпоху судьбоносных 1860-х годов.

В ноябре 1855 года в Петербург курьером из действующей армии прибыл Толстой. Он остановился у Тургенева, с которым был знаком заочно, сошелся с кругом писателей «Современника», нанес визит своей родне, Толстым, — семейству Александры Андреевны — и исчез. Он метался между Москвой и Петербургом, по совету Тургенева оставил военную службу, вышел в отставку и в начале 1857 года отправился за границу. Это было время, когда многие из тех, кому позволяло состоя-

ние, устремились из России в чужие края. В Париже, в Швейцарии было полно русских.*

В Швейцарии оказалась и Александра Андреевна с «малым двором» великой княгини Марии Николаевны. Здесь, у Женевского озера, состоялась встреча Александры со Львом, надолго озарившая своим светом их жизнь. Счастливую весну 1857 года Александра Андреевна прекрасно и подробно описала в своих воспоминаниях.

Возникшее взаимное увлечение было сильным — и надолго. «Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе» — такое признание сохранилось в Дневнике Толстого от той весны. Полгода спустя, осенью, в Петербурге он записал в Дневнике: «Прелесть Александрина, отрада, утешенье. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена!»

Александра Андреевна в порыве откровенности призналась: «Как я благодарю Бога за то, что знаю и люблю вас!»

Кто же она?

Александра Андреевна родилась 17 июля 1817 года в семье Андрея Андреевича Толстого, младшего брата Ильи Андреевича, деда Толстого, и доводилась Льву Николаевичу двоюродной теткой. Она была старше племянника на одиннадцать лет. Лев находил, что для тетки она слишком молода, и поэтому в шутку называл ее «бабушкой».

Отец Александрин (как звали ее в семье) принадлежал к Толстым, известным своей скандальной славой из-за буйного характера. Как и его племянник, знаменитый Федор Иванович Толстой-Американец, Андрей Андреевич Толстой был лихой гусар, не только бесстрашный воин, но забияка, участник дуэлей и драк.

Дочь лихого гусара, «бабушка» Льва, унаследовала настоящую толстовскую породу. Лев Николаевич заметил и оценил их родовое сходство. «Что вы умная, образованная и добрая женщина, это знают другие,— писал он Александрин,— я знаю то, что кроме всего этого ... в вас плоть и кровь — в вас были, есть и будут людские страсти ... В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович та-туировался».

Но между Львом и Александрин было и большее, чем возрастное, различие: всего одиннадцатью годами старше, она принадлежала к другому поколению, была человеком другой эпохи — это обстоятельство часто становилось камнем преткновения в их отношениях. Она раз и навсегда усвоила тон старшей по отношению ко Льву — младшему, и так же упрямо отказывалась изменить этот тон, когда прошло время и многое переменялось, как Лев упрямо отказывался подчиниться ее влиянию. «Моя амбиция состоит в том,— писал он,— чтобы всю жизнь быть исправляемым и обрацаемым вами, но никогда не исправленным и обращенным». В согласии и противоборстве с нею его характер обретал настоящую силу.

Что для него была эта встреча, Лев отметил в письме к Александрин тотчас по возвращении в Россию: «Драгоценная бабушка! ...теперь, сидя один в деревне и невольно перебирая свои воспоминания, вижу, что изо всей моей заграничной жизни воспоминание о вас для меня самое милое, дорогое и серьезное, и мне душой хочется писать вам — живее и ближе воображать вас...»

Толстой с детства остро чувствовал, что он лишен так необходимой ему сердечной теплоты. Он не знал своей матери, она умерла, когда ему было полтора года, в восьмилетнем возрасте он лишился отца. В юности он постоянно испытывал одиночество неустроенной, холостяцкой скитальческой жизни. Часто его одолевало мучительное недовольство собой. Когда ему было двадцать пять лет, он записал в Дневнике: «Что я такое? Один из 4-х сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил... Я дурен собой, неловок... я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérant) и стыдлив, как ребенок... Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан». Автопортрет получился точный, но одностронний. Александрин увидела и в своих письмах и воспоминаниях запечатлела светлую сторону характера Льва. От ее пронизательного взгляда не ускользнули и недостатки, подчас оборачивавшиеся причиной кризисов сознания писателя.

Первый скандал разразился тотчас после чудесной швейцарской весны. Из Швейцарии Толстой отправился в Баден-Баден, славившийся не только своими целебными водами, но и рулеткой. Толстой ввязался в игру, проигрался, занял денег у

* Примечательно: у Достоевского в «Бесах» все главные интриги, движущие сюжет, завязываются в Швейцарии, действие же происходит в российской провинции, где, по определению Толстого, «скверно, скверно, скверно...».

приехавшего в Баден Тургенева, снова проигрался. Пришлось писать Александрина и просить денег у нее. «...Как хотите, браните меня, только не переставайте любить меня так, как я сотой доли того не стою...» И приписка: «Заметьте: 28». Толстой считал, что 28-е число для него роковое. 28-го старого стиля он родился.

Александрина проявила редкую терпимость и великодушие; деньги отправила телеграфом, а в письме преподала маленький урок: «...Я вовсе не желаю бранить вас, дорогой мой мальчик, но я солгу, если скажу, что не огорчена вашей бесхарактерностью. Я считала вас более твердым и энергичным... Я никогда не думала считать вас совершенством, поэтому у меня нет основания любить вас меньше от того, что случайно узнала одну из ваших ошибок». И под конец: «Рулетка не что иное, как одно из проявлений зла».

Притягательность личности Толстого, которую испытала на себе Александрина, она определяла как «благотворную жизненность» (*vitalité bienfaisante*). То, что она угадала в молодом Льве, сохранилось в нем до старости, привлекая к нему людей.

Александрина с ее страстью к анализу старалась разобраться в сложной личности Льва, она выстраивала антитезу: «ум — сердце» и отдавала предпочтение его сердцу — «алмазы там».

Вряд ли их дружба была бы долговечной, если бы между ними не было сходства в главном. Это отметила Александра Андреевна в своих воспоминаниях. «Несмотря на различие воспитания и положения, у нас была одна общая черта в характерах. Мы были оба страшные энтузиасты и аналитики, любили искренно добро, но не умели за него принятьсь правильно. Разбирали себя до тонкости, полагая, что это весьма похвально, а в сущности анализ только щекотал наше воображение и нисколько не действовал на улучшение жизни. Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях».

На пристрастии «разбирать себя до тонкости» Александрина и Лев сошлись, это отразилось на характере их переписки, — они пишут друг другу увлеченно и длинно. Толстой вносил в переписку в какой-то мере элемент игры*: подметив страсть Александрина исправлять и обращать, он в своих письмах к ней разыгрывал «роман воспитания», предстал перед ней молодым человеком «без правил», которого нужно воспитывать. Отчасти это было правдой, но только отчасти.

По осени он пишет ей из своего яснополянского уединения: «Милая бабушка! Лень, постыдная лень сделала то, что на последнее ваше письмо вы не получили ответа в то время, когда вы его писали... При этом должен сказать, что письмо ваше из Остенда произвело на меня не только радость, но гордость. Что вот, мол, хоть меня и считает и староста и тетюшка пустяшным малым, а ко мне вот какой человек письмо пишет, да еще дружеское, да еще умное, милое и поучительное...» С каким удовольствием он разыгрывает роль пустяшного малого, простодушного внука, но внутренним слухом уже прислушивается к разрастающейся в нем музыке великого сочинения, что впоследствии назовет «Война и мир». И подтверждение его силы тут же, в этом же письме, в проповеди, которую он преподносит своей бабушке: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен смочь выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем... Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». Эти страницы, на которых молодой Толстой запечатлел свое нравственное сredo, ныне стали хрестоматийными.

Особенность переписки — переплетение темы частной и темы общей: жизнь личная — и судьба России. В первом же письме Толстого по возвращении в Ясную Поляну возникает тема России.

За границей, в Париже, Толстой узнал и оценил «чувство социальной свободы». Тем острее было ощущение несвободы в действительности российской с ее крепостническим бытом. «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверьте ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине, и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни...»

Александра Андреевна учуяла издалека, что ее любимый Лев поддается духу либерализма, который был для нее неприятен, недаром она, по ее словам, была за-

* О том, что Лев был игрив и любил розыгрыши, пишет в воспоминаниях А. А. Толстая.

дета за живое, когда кто-то предположил, что Толстой со временем станет «вторым изданием Искандера»*.

С волнением, с горячностью она пыталась убедить: «Читая в вашем письме, дорогой Лев, о том отвращении, которое овладело вашей душой по возвращении на родину, больше всего я испугалась за вас вот в каком отношении. Я боюсь, чтобы это отвращение не помешало вам деятельно взяться за все то, что находится в вашей власти. Ведь музыка, чтение, литература, все это не более как себялюбивое убежище для своей собственной личности. Я согласна, что общее положение вещей отвратительно, да и кто стал бы с этим спорить? Но необходимо вокруг себя, на том, что вблизи нас, проводить улучшения, иначе мы становимся сообщниками и вора, и убийцы, и того, кто живет в полном забвении Бога и вечности. Труд громаден — я это знаю, а результаты будут, быть может, так малы, что вы сами едва заметите их, насаживаясь над работой; но все равно, я заклинаю вас работать, так как если ни путешествия, ни размышления, ни муки мыслей, ни молитвы из глубины сердца не приведут вас в конце концов к желанию деятельно посвятить себя общему благу, то все ваши природные богатства иссякнут и вы опуститесь до толпы тех бесплодных болтунов и крикунов, которыми — увьи! — так изобилует наша бедная страна...»

Александра Андреевна не только проповедовала свою теорию «малых дел». По своей фрейлейской службе и по душевной склонности она много времени и сил отдавала благотворительности. Долгое время она опекала приют малолетних проституток, «Магдалин», как она их называла. Ей приходилось по благотворительным делам посещать больницы для бедных и тюрьмы. Кроме того, пользуясь своей близостью к царствующим особам, она брала на себя хлопоты по делам родственников или тех, за кого просили знакомые. Впоследствии Лев Николаевич часто обращался к Александрин с просьбами по делам родных, а потом и единомышленников-толстовцев, а также отбывающих свой срок за участие в революционной деятельности. Он обращался с просьбами, зная, что отказа не будет, что никто лучше Александрин не «продвинет» дело. Он отмечал «легкую и потому особенно милую доброту» Александрин и восхищался ею.

Александрин было свойственно чувство соединенности своей судьбы с судьбой России. Связь невысказанная, но всегда ощущаемая, прорывалась внезапно, как, например, в этом письме Льву: «По мере того, как Россия освобождается, я становлюсь все больше и больше рабой. Если я и не делаю ничего путного, все же никогда не попадаю туда, куда хочется. Это полезное упражнение, особенно тому, кто склонен немножко дорожить своей волей»**.

Яркая, привлекательная личность Александрин возбуждала в Толстом художнический азарт: казалось, сама судьба предоставила ему случай познать и запечатлеть сильный женский характер, — он стремился к этому, но героиня от него ускользала.

У Толстого еще в Швейцарии возник замысел «романа русской женщины». Об этом он сделал краткую полузашифрованную запись в Дневнике 12/24 мая 1857 года***. Комментаторы дневниковой записи полагают, что это или задуманный ранее Толстым «Роман русского помещика», или первые отголоски «Семейного счастья». Можно также предположить, что речь идет о романе той женщины, которая рядом и которой увлечен Толстой — об Александрин. «Романная тема» так явственно звучит в переписке: «...в голове моей промелькнула безумная идея посвятить вас во всю свою прошедшую жизнь, чтобы вы могли познать женщину во всех ее противоречащих друг другу аспектах, — признается Александрин в письме Льву. — Не будучи способна писать сама, я хотела бы доставить вам материал довольно любопытный, — быть может, в один прекрасный день мы к этому вернемся...»

Однако Александрин медлила, исповедальный день все откладывался, осмотрительность придворной дамы брала верх над буйным порывом излияния души в доверительной беседе с другом. Она еще не могла решиться на откровенность, но, убедившись, что Толстой слишком заинтересован в ее исповеди, она его манила и поддразнивала; выходило так, что он сам был виноват, упустив тот день, когда она приготовилась ему исповедаться.

* Искандер — А. И. Герцен.

** Письмо 1 июля 1860 г. В это время в Петербурге Редакционная комиссия под председательством генерала Ростовцева готовила императорский манифест об отмене крепостного права, провозглашенный в годовщину восшествия на престол Александра II 19 февраля 1861 года.

*** «Мыслей, особенно из р[омана] р[усской] ж[енщины], бездна, художественно счастливых мыслей». ПСС, т. 47, с. 129.

Лев не сомневался, что получит обещанное, и предвкушал удовольствие, которое может доставить ему исповедь Александрин, хотя и отрицал, что это нужно ему для художественного познания.

«Письмо ваше в деревню я получил, — писал Лев. — Я вас не прошу исполнить того, что вам захотелось, — это не просится, а дается; но не могу не сказать, что надеюсь и жду. Хотя я вас знаю очень хорошо и коротко, — вы знаете как? по моей теории любви, но тем более мне хотелось бы знать, как эта лучшая женщина во всем мире делала глупости — самые лучшие во всем мире. — Уж там, как вы не рассказывайте, а по-моему, они выйдут самые лучшие. — Только не для изучения мне это радостно будет, а для наслаждения. Это все еще впереди».

По-видимому, Александрин была смущена такой оценкой своей личности и таким интересом к ней. Она пыталась умалиться, представить Льва главным героем их диалога. Впоследствии в «Воспоминаниях» она так определила соотношение сил: «Его натура была настолько сильнее и интереснее моей, что невольно все внимание сосредоточивалось на нем, а я была лишь второстепенным лицом, «*donnant la réplique*»*.

С мыслью Толстого о романе перекликается мысль Александрин в одном из писем Льву: «Если бы у меня было время и талант, я сочинила бы историю, героем которой были бы вы, но, конечно, этот роман не имел бы успеха...»

Толстой по-своему воспринял это пожелание Александрин, он надеялся, что получит обещанную ему исповедь в форме романа.

Как глубоко это его затронуло и как было для него важно, объясняет его письмо, написанное много позже, после женитьбы, в октябре 1863 года. «Помните, — напоминал он Александрин, — раз вы хотели написать мне роман. Мне кажется, тогда мы вошли бы в эти более существенные отношения. Неужели это навсегда потеряно?» А ведь это было время начала работы над «Войной и миром»; и в этот момент его огорчает, что, может быть, навсегда потеряна возможность осуществить тот замысел, который явился ему когда-то в Швейцарии.

Начало знакомства Льва с семьей Александрин совпало с началом его литературной славы. «В это время он уже был известен публике, — вспоминала Александра Андреевна, — «Детство» появилось в 1852 г. Все восхищались этим прелестным творением, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, хотя еще не предчувствовали его будущей знаменитости».

Александрин, зная живых классиков — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, относилась несколько свысока к литературным произведениям своего племянника, они казались ей «пробой пера», далекой от совершенства. Она мерила их пушкинской мерой. Воспитанное в ней чувство гармонии невольно руководило ее суждениями. «Я не люблю, чтобы делали слишком резкие контрасты», — писала Александрин по поводу рассказа «Три смерти». В замечании, брошенном мимоходом, она коснулась самого существа толстовского художественного метода, построенного на контрастах. Александрин очень чутка в своем восприятии толстовского текста: параллель — смерть барыни — смерть мужика — ее настораживает. Она упрекает автора в том, что он изобразил умирающего мужика, не упомянув о его вере в Бога: «... та трогательная простота, с которой бедные люди созерцают приближение смерти, конечно же, не является результатом тупого равнодушия. Их спокойствие есть чистая вера — упование, хотя, может быть, безотчетное, но все-таки упование». Здесь уже проявляются отдаленные признаки тех разногласий, которые разразятся впоследствии с такой силой и страстью.

И рядом с упреками Толстому, что его «вещица» — незавершенный эскиз, восхищение поэтичностью картин природы: «Описание весны просто хватает за сердце».

Черты «натуральной школы», которыми отмечены ранние произведения Толстого, появившиеся в общем русле «гоголевского периода русской литературы», воспринимались Александрин как стремление к фотографичности. «Вы становитесь ужасно фотографичны, вместо того, чтобы становиться художником и артистом», — досадовала она по прочтении рассказа «Альберт».

Это было написано весной, а осенью того же года Толстой вступил в пору творческого расцвета: «Я теперь писатель *всеми* силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал». Начатое той осенью произведение потребовало от писателя шестилетнего упорного труда при самых благоприятных условиях жизни, как он сам говорил об этом. В процессе создания название сочинения менялось, в конце концов Толстой назвал роман «Война и мир».

* подающим реплики (франц.)

Конечно же, Александрин была одной из очарованных читательниц только что появившегося в свет сочинения. Она писала Льву: «Все это время я жила вашей книгой, дорогой Лев, а следовательно, и вами; я говорила, писала вам целые тома в ответ. К счастью для вас, у меня не было времени изложить все мои мысли на бумаге — впрочем, неприятных мыслей для вас там не было...»

В 1874 году Толстой был всецело захвачен новым замыслом, о чем сообщал своему другу: «...я пишу и начал печатать роман, который мне нравится, но едва ли понравится другим, потому что слишком прост». Так отозвался Толстой об «Анне Карениной».

Об успехе романа и спорах о нем известно из письма Александры Андреевны: «Всякая глава «Анны Карениной» поднимала все общество на дыбы, и не было конца толкам, восторгам и пересудам, и спорам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком».

Примечательно то, как Александрин пишет о романе: «... мне как всегда кажется, когда я читаю вас, что я одна вполне понимаю и наслаждаюсь вашими сочинениями, хотя подчас и задевает меня что-то против шерсти, и я, разумеется, не могу прокричать аминь на все безусловно».

То, что задевало ее «против шерсти», было давнее, изначально существовавшее между ними различие их религиозного сознания.

В канун Пасхи 1859 года Александрин писала Льву, что было бы жаль, если бы он из-за литературной работы пренебрег говением. «Сделайте это из любви к своей мятущейся душе, — потом вы будете делать это из любви к Тому, кто весь — любовь», — убеждала она Льва.

Для Толстого особенно важно было знание Бога не рассудком, а интуицией. Вера в его представлении сопряжена с областью чувства: «Во мне есть, и в сильной степени, христианское чувство; но и это есть, и это мне дорого очень. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное — любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать; но сидят кошка с собакой в одном чулане, — это положительно».

Сказанное в шутку: «сидят кошка с собакой в одном чулане», — метко характеризует феномен религиозного сознания Толстого. Александрин пыталась осмыслить затруднения своего друга: «Временами мне кажется, что вы совмещаете в себе одном все идолопоклонство язычников, обожая Бога в каждом луче солнца, в каждом проявлении природы, в каждом из бесчисленных доказательств Его величия, но не понимая, что нужно проникнуть к источнику жизни, чтобы просветиться и очиститься. Что значит «хорошо говеть» и кто из нас может хорошо говеть? Мы грязны, отвратительны, слабы, равнодушны и погрязли в грехах, поэтому мы должны обратиться к Тому, кто хочет излечить нас, нас очистить и приблизить к Себе; вы же, чтобы приблизиться к нему, ждете момента, в который вы были бы довольны собой или по крайней мере одного из тех состояний экзальтации, когда вам кажется, что вы из себя что-то представляете. Это заблуждение, грубый материализм, доходящий до того, что в говении вы прежде всего ищете индивидуального и осязаемого наслаждения. Что там рассуждать? Он зовет — пойдете. Нужды нет, что мы в лохмотьях. Лишь бы в сердце было: «Милостив буди мне грешному!» — остальное все Он даст и всему научит».

Ее «учительское» рвение, ее усилия были напрасны, Лев оставался верен своей позиции — быть обращаемым, но не обращенным. На отповедь «бабушки» он отвечал: «Батюшки мои! Как вы меня! Ей Богу, не могу опомниться! Но без шуток, милая бабушка, я скверный, негодный, и сделал вам больно, но надо ли уж так жестоко наказывать? Все, что вы говорите, и правда и неправда. Убеждения человека, — не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им...». И далее в этом письме Толстой излагает то, что по сути представляет собой концепт будущей «Исповеди» — краткую историю своего религиозного сознания: как от детской веры в юности он пришел к отрицанию религии, как во время военной службы на Кавказе дошел до высшей степени умственной экзальтации, и то, что нашел тогда, стало его твердым и неизменным убеждением: «...я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего... Так я остался со своей религией, и мне хорошо было жить с ней...»

Кажется, в этом письме Толстой высказался вполне. Но на следующий день приписал еще несколько страниц, мрачных, полных отчаяния. Он рассуждал о том, что «...жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к ней, мне кажется — вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир; а

когда живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее». И дальше он делает Александрин поразительное признание: «У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее. Может быть, что я и вас люблю за тем только.— Ах, милый друг бабушка! Пишите мне почаще. Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить не за чем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько: кому я делаю добро? Кого люблю?— Никого. И грусти даже и слез над самим собой нет. И раскаянье холодное».

В ответ на горькие признания Александрин старалась пробудить здоровые, светлые силы его души. «Из мира сомнений и колебаний вырабатывается истина — не правда ли? Так будет и с вами. Слава Богу, что вы любите истину, это чувство спасет вас — и за него-то именно я люблю вас. Еще люблю вас за то, что вы довольны собою. Дай Боже почаще таких минут — нужды нет, что не имеете слез — эти минуты уже сами собою составляют душевный внутренний плач. ...10 лет счастья без Бога и Евангелия не принесли ни утешения, ни просветления душе, жаждущей истины. Правда сказать, я этому не совершенно верю, хотя убеждена, что вы хотели сказать правду... вы опять скажете, что я хочу надеть детскую курточку на взрослого человека, или что деспотизм мой громаднее Монблана. Но неужели вы в самом деле считаете себя за взрослого человека? А мне вы милы потому именно, что вы еще невежа ребенок, но начинаете чувствовать, что учиться надобно. Впрочем, кто из нас не ребенок в деле мудрости и моления».

Александрин понимала, что различия между ней и Львом имеют не столько личный, сколько общий, так сказать, исторический характер. Так же, как и Лев, в шутовском тоне, но со скрытым под шутовским тоном глубоким смыслом, она писала: «Действительно, невозможно жить в мире более беспорядочном, чем наш, мой дорогой Лев, и, глядя на другие планеты, я лелею себя надеждой, что там дела идут более упорядоченно, чем у нас, в противном случае небесная твердь была бы поколеблена. ...Вы держите свой светильник, как и другие, разрушая и опрокидывая все, без того, чтобы созидать нечто новое и лучшее. Вообще это какая-то мания века все отвергать, не ставя ничего взамен...» С горьким упреком она упоминает в конце письма о «неблагодарной современной расе». Разрыв духовных связей между поколениями воспринимался ею как предвестие Беды.

Болезнь века, упоминаемая Александрой Андреевной, в русском обществе получила название нигилизма.

О том, что может помочь Льву исцелиться, «бабушка» судила чисто по-женски: она была уверена, что его переменит женитьба и что жена, став его ангелом-хранителем, повлечет его за собой по пути истинной веры.

«Как бы я была счастлива, дорогой мой мальчик,— писала Александрин,— ежели бы вы подали руку той, которая тихо и мягко повлекла бы вас к истине, к тому идеалу, который не допускает ни слабостей, ни несовершенств, и душа ваша исполнилась бы его чудесным величием...»

В другом письме менее романтично и по-житейски прямо она советовала: «Женитесь, дорогой мой Лев, и поскорее, покамест эгоизм на вас еще не обсох».

Жизнь оказалась намного сложнее, чем это представлялось Александрин. Женитьба исцелила Толстого, но ненадолго.

Женитьбе предшествовали события, в которых вдруг между двумя любящими людьми обнаружилось противостояние: то, что глухо, скрыто погромыхивало где-то в глубине, в одночасье прорвалось наружу. Разразившийся второй скандал произошел из-за обыска в Ясной Поляне.

Толстой раз и навсегда объявил себя «не политическим человеком», но та общественная волна, которая поднялась вслед за объявленными царем реформами, захлестнула и его. К Манифесту 19 февраля 1861 года он отнесся критически: «Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим». В следовавших за Манифестом параграфах «Положения» крепостные крестьяне получали личную свободу и становились собственниками своих домов и приусадебных участков, а вся обрабатываемая земля делилась между помещиками и «миром» — сельской общиной, выступавшей коллективным собственником. Раздел земель и определение размера выкупных платежей определялись «Уставными грамотами», для составления которых «Положением» был предусмотрен институт мировых посредников.

Министр внутренних дел С. С. Ланской рекомендовал тульскому губернатору П. М. Дарагану на должность мирового посредника 4-го участка Крапивинского уезда графа Л. Н. Толстого. «Я не посмел отказать перед своей совестью и в виду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники»,— писал Толстой Александре Андреевне.

Практическая деятельность всецело увлекла Толстого, он забросил литературные занятия. Его самым любимым делом в эти годы была школа. В яснополянской флигеле он устроил школу для крестьянских ребят, сам обучал их увлеченно и пригласил нескольких учителей; практические занятия послужили источником оригинальных педагогических идей. Свою новую систему обучения Толстой предполагал пропагандировать в задуманном им журнале «Ясная Поляна».

Александрин разделяла увлечения Толстого педагогикой, она сама обладала талантом воспитательницы, любила детей, хорошо понимала детскую психологию. Под ее наблюдением воспитывались дочери великой княгини Марии Николаевны Евгения и Мария Лейхтенбергские, а в 1866 году она была назначена воспитательницей царской дочери Марии Александровны. Поэтому в переписке Александрини и Льва немало страниц посвящено педагогической теме. Восхищаясь его прогулками с детьми, одобряя в основном толстовскую систему свободного воспитания, она в то же время остерегала Льва: «...опасайтесь преувеличений, это то, что меня всегда пугало в вас». Но «преувеличения» были заложены в нем самой природой, без преувеличений не было бы великого Толстого.

О своей работе мировым посредником Толстой в письме к Александрин упоминает как бы вскользь, а на деле назревал конфликт между ним и дворянством крапивенской округи: «Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне *les baton dans les goues** со всех сторон».

Александра Андреевна была обеспокоена противостоянием между Львом и местным дворянством. Поначалу она обвиняла Льва, подозревая его в том, что он принимает воинственную позу перед помещиками, будучи по отношению к крестьянам снисходительным и терпеливым; она убеждала его в том, что мудрость и человеколюбие предписывают проявлять дух примирения.

Но вскоре в «гадком Петербурге», по-видимому, изменился политический климат и резко изменилось отношение Александрин к посреднической деятельности Толстого. Она стала убеждать Льва, что его призвание — литература: «...я была бы очень рада, если бы вы ограничились занятиями литератора и школьного учителя. Оставьте посредничество, которое вам приносит столько неприятностей и забирает весь ваш досуг».

Летом 1862 года Толстой заболел. Он сильно кашлял и опасался развития чахотки, от которой скончались его отец и два брата — Николай и Дмитрий. Исцеление от болезни могло принести лечение кумысом, и Толстой отправился в башкирские степи пить кумыс и дышать целебным степным воздухом. Накануне отъезда он был уволен по болезни от должности мирового посредника.

На страницах письма Александрин среди сетований о болезни Льва, о семейных новостях и печальных событиях как бы брошена невзначай одна загадочная строка: «Я беспокоюсь за вас и по другим причинам, но о них не могу говорить в письме». Придворная дама оказалась очень осведомленной, ей, вероятно, стали известны интриги жандармского отделения против писателя, который, по его собственному замечанию, был «сильно на примете у синих» еще со времен публикации «Севастопольских рассказов».

Однако стремительное развитие событий опередило встречу Льва и Александрини и обещанный конфиденциальный разговор.

6 июля 1862 года в Ясную Поляну нагрянули тройки с жандармами, два дня производили тщательный обыск. Искали тайную типографию для печатания прокламаций, которую якобы собирался устроить Толстой в своем имении, о чем доложил начальству сыщик Шипов, осуществлявший тайный полицейский надзор за Толстым и Ясной Поляной. Сыщик доносил также, что в Ясной Поляне живет более двадцати студентов «разных университетов и без всяких видов» (то есть без разрешения). Студентов приглашал Толстой для преподавания в яснополянской школе, он видел в них способных помощников в педагогическом деле. Студенты привозили с собой запрещенные сочинения Герцена и революционные прокламации, но, как уверял Толстой, в скором времени утрачивали интерес к запрещенной литературе и увлекались школьным делом.

В результате ничего подозрительного, кроме двух выписок из сочинений Герцена в тетради у одного студента, найдено не было, как рапортовал руководивший обыском жандармский полковник Дурново. Он лично рылся в рукописях Толстого, перечитал адресованные ему письма и его дневники.

Перепугав тетеньку Татьяну Александровну и сестру Марию Николаевну, жандармы удалились.

* палки в колеса (*франц.*).

О том, что случилось, Толстой узнал только по возвращении в Москву, где ему передали письмо из Ясной Поляны. Негодованию Льва не было предела, и он обрушил его на ту, остающуюся в «гадком Петербурге», откуда исходит все зло.

«Какие это опасения вы имели на мой счет?— со злой иронией спрашивает Лев Александрин.— Это меня интриговало все время и только теперь, получив известия из Ясной Поляны, я все понял. Хороши ваши друзья! Ведь все Потаповы, Долгорукие и Аракчеевы и равелины — это все ваши друзья!.. Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех; перечитал две переписки, за тайну которых я бы отдал все на свете, — и уехал, объявив, что он *подозрительного* ничего не нашел. Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил! Мило! славно! Вот как делает себе друзей правительство...»

Вдгонку первому письму Толстой написал и отправил Александрин второе, уже из Ясной Поляны, где тетенька и сестра Маша рассказали ему все подробности жандармского налета. Возмущенный и озлобленный учиненным беззаконием, он не хочет и не может с этим смириться. Он намерен писать государю, чтобы получить «гласное удовлетворение», и просит Александрин посоветоваться с Б. А. Перовским и А. К. Толстым, как устроить передачу письма. Он готов «экспатрироваться» (эмигрировать) и добавляет: «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе». Толстой остро чувствует, что правительство творит произвол, что человек в России беззащитен и вынужден жить в страхе: «Нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут...»

Письмо Александру II Толстой написал вежливое, сдержанное, исполненное чувства собственного достоинства. Просьба его была одна: «Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени». Письмо государю было передано через флигель-адъютанта С. А. Шереметьева. В ответ на письмо Л. Н. Толстого от шефа жандармов тульскому губернатору было поручено передать графу, что по воле его величества помянутая мера (обыск) не будет иметь для него, графа, никаких последствий...

Чтение «по высочайшему повелению» жандармским полковником дневников писателя режим не спасло, но навсегда поссорило Льва Толстого с царями.

Жизнь Льва в Ясной Поляне, так славно налаженная, «с четырьмя хомутами — хозяйственным, школьным, журнальным, посредническим» — грубым вторжением властей нарушилась непоправимо. Только и осталось — жениться.

Осенью 1862 года Лев писал «милому другу Александрин» в примирительном тоне и жаловался, что на него в последнее время обрушиваются несчастья: жандармы, цензура и он, старый дурак, влюбился. «И правил никаких нет», — сокрушался он о своей влюбленности. В молодости Толстой вырабатывал для себя разные правила: правила для развития воли, правила литературные, даже правила для картежной игры. А тут влюбился — и правил никаких нет. Однако то, что должно было произойти, свершилось.

«Помните ли, любезный, дорогой друг Александрин, вы мне говорили: когда-то вы так же напишете, как Вл. Иславин написал Катерине Николаевне, что вы любите и женитесь?— Теперь я пишу: в воскресенье 23-го сентября я женюсь на Софье Берс, дочери моего друга детства Любочки Исленьевой. Для того, чтобы дать вам понятие о том, что она такое, надо бы было писать томы; я счастлив, как не был с тех пор, как родился».

Из Петербурга прозвучало в ответ: «Радуюсь, радуюсь, радуюсь».

Жизнь старой Ясной Поляны вступила в период возрождения. Отныне звучит здесь молодой сильный голос — и откликается в переписке голос жены.

«Любезный дорогой друг и бабушка! Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым...»

Александрин старалась сразу же завоевать расположение жены. Она писала в Ясную Поляну ласково: «Дорогие мои друзья, Лев и Софи», и настаивала, как всегда, с твердостью и надеждой, молодую жену: «Довольствуйтесь тем, чтоб быть любимой, счастливой, давать счастье и получать его от Бога. Он указал вам этот путь — идите по нему с радостью и увлекайте за собой Льва...» Александрин все еще верила, что под влиянием жены Лев от безверия придет к истинному христианству.

Казалось, жизнь разводила их: для Льва его главный интерес сосредоточивался вокруг семейного очага, Александрин «в гадком Петербурге» несла тяготы придворной службы и светской суеты, но по-прежнему им необходима была их дружеская перекличка.

«Любезный друг Александрин!

...Я так потерял вас из вида и так виноват перед вами, что я вас боюсь. Но угроза потерять в вас друга слишком страшна для меня. Вы узнаете мой почерк и мою подпись; но кто я теперь и что я, вы, верно спросите себя. Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастье, мне надо подумать о том, что было бы без него... Вас я люблю меньше, чем прежде, но все-таки достаточно для того, чтобы вы не оставляли меня, все-таки больше всех людей (а как их много было), с которыми я встречался в жизни... Что вы? Где вы?»

Александрин отвечала из Флоренции: «...Я не жду ни частых писем, ни даже правильной переписки и прекрасно понимаю разницу наших положений. Вы мне ближе, чем я вам,— но мне только надобно было знать, что при свидании, если Бог его пошлет, будет опять все то же. Меня радует даже то, что вы всецело поглощены вашей женой и ребенком. Я именно так и понимаю супружескую жизнь — как нечто сильное, временами мучительное, но заполняющее все стороны души...»

Толстой придумал свою поэтическую теорию эволюции человеческого характера в лоне семейной жизни. Теория уместилась в нескольких строках письма к Александрин: «А как переменяешься от женатой жизни, я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренилась и росла в один ствол. Так и я расту; не знаю будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну,— но знаю, что расту правильно».

Петербургские Толстые давно и с нетерпением ожидали приезда Льва с семейством. Дядюшка Илья Андреевич готов был радушно предоставить для них свою просторную квартиру на Моховой, в доме графа Ламсдорфа. Но планы трудного дальнего путешествия расстраивались по разным причинам. Осенью 1865 года Лев совсем было собрался ехать и писал Александрин: «...на несколько дней приедем в Петербург, где я и буду иметь честь не без некоторого трепета и гордости представить вам свою жену. Ежели бы я не был нынче в духе полной искренности (иногда, даже всегда, желаешь быть искренним, но не можешь), я бы сказал вам, что она вас любит, но теперь скажу, что она готова любить вас, но находится в отношении вас в некотором недоумении, очень заинтересована, как она говорит, как никогда никакой женщиной, и вместе с тем, я уверен, имеет в душе чувство, которое Ларошфуко заметил бы только, чувство немного враждебное, какое мы имеем всегда к людям, которых мы не знаем и которых все, начиная с мужа, чрезмерно хвалят. Смотреть же глазами мужа она не может, так как хорошая жена смотрит на все глазами мужа, исключая на женщин».

Александрин была обеспокоена тем, что расточаемые ей похвалы помешают установить дружественные отношения с женой Льва. В своем письме она старалась доказать, что не стоит вражды: «...бедная Софи, как вы ее напугали мною. Вам это не стыдно? Если она действительно имеет ко мне враждебное чувство, о котором вы упоминаете, то никто его лучше не поймет, как я сама. Я терпеть не могу тех совершенств, на которые указывают при всяком случае, и очень огорчена, что вы меня представили в таком свете вашей жене. Она очень добра, если еще желает со мной познакомиться: будь я на ее месте, я бы оскалила зубы.

Вы можете ей сказать для ее успокоения, что какие бы ни были совершенства в старой женщине (а в этом случае они более чем сомнительны), все-таки эта женщина не что иное, как погасшая свеча, никому более не вредная, а я (по крайней мере по наружному виду) вполне старая женщина. С своей стороны радуюсь ее знакомству как милому явлению и уверена, что мы сойдемся с нею очень скоро. Ваше счастье подготовило ей место в моем сердце».

Софья Андреевна приехала в Петербург в январе 1877 года. В ту пору она была тридцати двух лет, в расцвете жизненных сил; за ее плечами — пятнадцать лет супружеской жизни, вокруг нее — пятеро детей. Графиня Толстая встретила с другой графиней Толстой, «бабушкой» Льва. Они друг другу понравились.

Исполняя невысказанное желание Льва, Александрин писала ему об этой встрече: «...Я полюбила навсегда и уверена, что она это почувствовала. ...Как хорошо, что я теперь люблю Софи уже не по доверию, а по убеждению. Это мне так отрадно, и в ней что-то такое родное... в ее голосе я нашла что-то ваше, то есть некоторые ваши интонации, и это было мне тоже так приятно...»

Встреча сблизила их и навсегда сдружила. Обе поняли, что они союзницы.

«...В большой семье русской как становится неумолимо грозно!» — в этой строке из письма Александрин отразилась историческая ситуация последних лет царствования царя-реформатора. Большой русской семьей Александре Андреевне виделась Россия. Противостояние в обществе достигло предела, начался период террора. Первый выстрел прозвучал 4 апреля 1866 года — в Александра II стрелял

Каракозов. Жертвами террористических актов становились и царские генералы: 24 января 1878 года Вера Засулич выстрелом в упор ранила петербургского обер-полицейстера Трепова, в августе того же года был убит шеф жандармов Мезенцев. 2 апреля 1879 года Соловьев пять раз выстрелил в Александра II, но император остался невредим. Террористами был подготовлен и осуществлен взрыв царского поезда. Следовавший из Крыма в Петербург 1 декабря 1879 года царский поезд взорвался на пути под Москвой, однако царь с семьей успел проехать другим поездом, вышедшим раньше. Террористические акты следовали один за другим в Одессе, в Киеве, в Харькове... В этой обстановке «засуличевское дело» всколыхнуло все общество: суд присяжных оправдал девушку, стрелявшую в обер-полицейстера.

Толстой был крайне взволнован происходящим. Из Ясной Поляны он писал своему другу Н. Н. Страхову: «Засуличевское дело не шутка. Это бессмыслица, дурь, нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда еще нам непонятно; но это дело важное. Славянская дурь была предвестница войны, это похоже на предвестие революции».

В своем видении событий Толстой был проницателен и абсолютно точен. «Славянская дурь», о которой он упоминает в письме, — славянофильские идеи панславизма, подготовившие общественное мнение к войне с Турцией 1877—1878 годов.

Если Лев предвидел грядущую бурю, Александрин ее предчувствовала. Ее преследовало ощущение страха, ей часто казалось, будто надвигается гигантская волна и грозит поглотить всех, кто ей дорог, и все, что ей дорого.

«Политика черна, как чернила милейшего Аксакова, — сокрушалась она в письме Льву, — и я постоянно чувствую в груди обоюдоострый меч. Временами мне кажется, что мы все погибли...»

Эта тяжелая пора стала для Александрин и временем невосполнимых личных утрат: в феврале 1879 года она похоронила мать, осенью — брата Илью. Большую часть года она провела за границей с тяжело больным братом. Они поселились в Швейцарии, в тех местах, где встретились со Львом двадцать лет тому назад.

Еще до отъезда Александрин в Швейцарию они со Львом обменялись письмами, содержание которых имело особое значение, — это было предвестие поворота, поворота в умонастроении Льва и в их отношениях.

В конце своего короткого письма Лев обратился к Александрин за толкованием Евангельского текста: «Что значит: возьми крест свой и иди за мной? Если у вас есть короткое и ясное объяснение, то напишите мне, как вы это понимаете. И очень ли важны эти слова? И какой ваш крест, как вы понимаете?»

В ответ Александрин сделала удивительное признание: «Когда-то в молодости мне захотелось избрать один текст особенным руководителем моей жизни и, открывши Евангелие наугад, мне попало именно это слово, которое во всех важных случаях моей жизни повторялось для меня или в церкви, или другим образом как напоминание и обновление». Она понимала слова о кресте как необходимость подражать примеру Спасителя и упование на его помощь. «Ничего не может быть важнее. Оно заключает в себе все — все наше терпение и всю нашу любовь к ближнему при столкновении с людьми. Крест — наш будильник, он же — доказательство бессмертия. Душа чует и признает в нем свое спасение. Вот почему при всяком испытании мы еще крепче держимся за Его крест. Какой мой крест? Скажу наотрез: борьба с грехами... Я теперь вполне уверена, что каждый мой грех нарушает общий порядок и отзывается вредно где-нибудь и на ком-нибудь».

Ответ Льва примечателен: «Я не так понимаю, как вы, слово крест, который мы несем... крест брат и не брат не в нашей воле, он лежит на нас... И нести крест надо не куда-нибудь, а за Христом, исполняя его закон любви к Богу и ближнему. Ваш крест — двор, мой — работа мысли — скверная, горделивая, полная соблазнов...»

Толстой прошел сложный путь религиозных исканий, прежде чем уяснил себе и изложил в своих сочинениях, в чем его вера. В феврале 1876 года Лев Николаевич писал брату Сергею: «Вообще была для меня нравственно очень тяжелая зима; и смерть тетеньки оставила во мне ужасно тяжелое воспоминание, которое не могу описать в письме. Умирать пора — это не правда; а правда то, что ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно. Я пишу и довольно много занимаюсь, дети хороши, но все это не веселит нисколько». Толстой пытается спастись той верой, к которой был приобщен с детства. Об этом свидетельствует запись в дневнике Софьи Андреевны: «Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне, где мужики всякий раз обступают его, распришивая о войне; по пятницам и средам ест постное и все говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая тех, кто осуждает других. Ездил в Оптину пустынь 26 июля и остался

очень доволен мудростью, образованием и жизнью тамошних монахов — старцев». Но период приверженности Толстого к православию оказался краток.

Он углубился в изучение истории религии, работал основательно и упорно. В письме к своему другу, известному критику Н. Н. Страхову, спрашивал: «Есть ли философское определение религии, кроме того, что это — предрассудок? Какая форма самого очищенного христианства?»

Софья Андреевна отметила в своем дневнике: «...неделю тому назад он начал писать в большой переплетенной книге какое-то религиозно-философское сочинение. Я его еще не читала, но сегодня он сказал брату Степе: «Вот то, что я пишу в большой книге, составляет мою цель доказать несомненную необходимость религии».

С этого времени началась новая жизнь Льва Толстого. Истина, которую он искал так долго и мучительно, открылась ему в словах Христа ученику: «Оставь все и следуй за мной». Желание «оставить славу мира», таившееся в глубинах его души, стало осознанным; жить по-божьи — значило отстранить от себя все житейское, суетное, что прельщало его раньше, отречься от жизни людей его круга, как позднее напишет Толстой в «Исповеди».

Усилие отречения, совершившееся в его душе, изменило его взгляд на окружающее. Приблизившись к истине, Толстой стал нетерпим к заблуждающимся, выражал осуждение, даже негодование. В историческом пути христианства он увидел злой умысел церковников и обрушился со всей страстностью на то, что представлялось ему ложью и обманом церкви. Он принялся за колоссальный труд — перевел заново с греческого евангельские тексты, соединяя их в один, очищенный от суеверий и, как ему казалось, понятный простому народу. Его целью было обоснование практической религии — этического учения, основанного на Нагорной проповеди Христа. В процессе работы он испытал восторг откровения, почувствовал, что обрел ту очищенную христианскую религию, о которой мечтал в молодости, и страстно желал ее проповедовать.

Начало 1880 года выдалось для Толстого хлопотным: трудно продвигались переговоры об издании его сочинений книгоиздательством братьев Салаевых, дела вынудили его выехать в Москву, затем и в Петербург, куда он прибыл 21 января. Лев Николаевич остановился у своей тещи Любови Александровны Берс и на следующий же день поспешил к Александрин. Продолжительный разговор чрезвычайно взволновал и расстроил их обоих. Встреча, которая раньше была долгожданной, пришлось не ко времени. Александрин оказалась в перекрестье тяжелых утрат — позади был год, когда одного за другим она похоронила мать и брата, впереди — ожидание смерти и похорон безнадежно больной императрицы и катастрофических событий дворцовой жизни. В душе Александрин, помраченной горем, остыл тот чудесный «калорифер», что, бывало, излучал душевное тепло, изумлявшее Льва. Теперь она сама нуждалась в дружеском участии. Но Лев был всецело увлечен осенившим его откровением новой веры и обрушил на Александрин поток речей, обдуманных им в яснополянском уединении. Он с нетерпением ожидал, что Александрин будет изумлена открывшейся ему истиной и проникнется ею. Вместо этого он встретил с ее стороны жесткий отпор. «Сердце мое билось молотком», — вспоминала Александра Андреевна. В ней вспыхнул бойцовский дух, дававший ей силу нанести тяжелые удары. Начавшись утром, их спор о вере продолжался вечером и до ночи не закончился. Александрин всю ночь обдумывала неопровержимые, как ей казалось, аргументы, чтобы наутро «обратить» Льва, но он уехал, не простившись.

Вместо встречи принесли короткое письмо: «От вас я пошел в театр. Ужасный воздух, ужасная музыка, ужасная публика так действовали на меня, что я вернулся больной. И не спал половину ночи. Волнение разговоров с Вами — главная причина. Я не приду к вам и уеду нынче. Пожалуйста, простите меня, если я вас оскорбил, но если я сделал вам больно, то за это не прошу прощенья. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться от лжи привычной и покойной. Я знаю, что требую от вас почти невозможного — признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой вы прожили жизнь и положили все свое сердце, но не могу говорить с вами не во всю, как с другими, мне кажется, что у вас есть истинная любовь к Богу, к добру и что не можете не понять, где он.

За мою раздражительность, грубость, неизменность простите и прощайте, старый милый друг, до следующего письма и свиданья, если даст Бог».

Через шесть дней после отъезда Льва, когда душевное волнение улеглось и боль обиды притупилась, Александра изложила в пространном письме те доводы в защиту православия, которые не успела высказать при их встрече. В ответ на признание Льва, что ему вдруг открылось окно, в которое он видит Бога, и больше ему ничего не нужно, Александрин уверяла: «Радуюсь, благодарю Бога за окно, кото-

рое открылось для вас (вспомните, сколько я мучилась в былые времена вашего неверия), и как желаю, чтобы из этого окна свет и тепло, и любовь все более и более изливались на вас. Для меня же каждое слово Св. Писания — окно, через которое я вижу его правду, его мудрость, его невыразимое милосердие». Александрина еще не осознала до конца, что миры их разделились, и один образ — открытое окно — означает различное, противоположное по смыслу. Открывшееся окно Толстого — вера, невыразимая словами. «Я ищущий ответа на вопросы, по существу своему высшие разума», — свидетельствовал Толстой своему другу, и то, что нашел, он передал образом открытого окна, в которое видит Бога. Слова — будь то слова Священного Писания — по чувству Толстого и его недоверию к слову лишь затемняли истину, и он пытался исправить евангельские тексты, что вызвало со стороны Александрина резкую отповедь: «...признаюсь, страшно мне было видеть, как вы дерзновенной рукой вычеркивали из Евангелия все то, что не сходилось с настоящим складом вашего ума и ваших воззрений. Чудилось мне тут что-то недоброе, не от правды исходящее. Или я вас вовсе не поняла, или точно, как я уже вам сказала, на вас сидит еще ваша философская куртка, от которой вы не можете отделаться. Боюсь я того, что вы теперь пишете, боюсь за вас и за тех, кого вы можете увлечь своим умом, искренностью и неправильностью своих взглядов».

Александрина была уверена, что народ религиозных рассуждений Толстого не поймет: «А попробуйте им доказать, — горячилась она, — что крещение, преображение и воскресение Господа не что иное, как выдумка, и они не поймут вас или глубоко огорчатся». Чувство подкашивало женщине, что нельзя замахиваться безнужно на сложившуюся веками храмину народной веры, хотя она подчас кажется убогой просвещенному уму. По признанию Александрина, она, как умела, вкратце изложила свое исповедание веры, ее чистосердечная исповедь была пронизана тревогой: «Чего вы от меня требуете, я, право, не понимаю. Какая может быть ложь, какое внутреннее успокоение, когда смотришь на себя при этом свете — свете истины Священного Писания...»

Лев долго обдумывал свой ответ, тон его был холоден и категоричен: «...ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви. Я его знаю и не разделяю».

Под конец Толстой говорит о начавшейся для него новой жизни: «Я только чуть-чуть со вчерашнего дня стал это делать, и то вся жизнь моя стала другой и все, что я знал и прежде, все перевернулось и все, стоявшее прежде вверх ногами, стало вверх головами».

«Прощайте» прозвучало недаром: с новой жизнью оборвалась долголетняя переписка. Письмо Александрина от 23 февраля осталось без ответа; коротенькое пасхальное поздравление она адресовала Софье Андреевне — писем от Льва больше не было.

29 декабря 1880 года Александрина, глубоко огорченная его молчанием, писала: «Год кончается и итоги сводятся. Неужели ничего не останется в сумме вашей прежней дружбы ко мне, милый друг Лев? Неужели разногласие наших воззрений совершенно вас оттолкнуло от меня?»

Лев ответил коротеньким письмом, исполненным духа кротости и примирения: «Зачем разногласия? Не в одного Бога веруем, но под одним Богом ходим». Александрина нашла это письмо «неодобрительным» для продолжения переписки. Она уверяла, что без особой причины не стала бы писать, но так вот случилось, что она встретила с Достоевским.

В конце 70-х годов Достоевский был властителем дум русской интеллигенции, его влияние в обществе было огромно и признано в придворных кругах. Федор Михайлович встречался с великими князьями (сыновьями Александра II), в беседах с ними он стремился оказать духовное воздействие на власть имущих. На великокняжеских вечерах, где Александра Андреевна была своим человеком, она и сошлась (по ее выражению) с Достоевским. Писатель принял приглашение фрейлины провести у нее вечер. Во время беседы речь зашла и о новом направлении в творчестве Толстого. Тогда Александрина дала прочесть Достоевскому письмо Льва с изложением его новой веры, о чем и уведомила Льва в своем письме в надежде, что он не воспримет это как злоупотребление его доверием.

Казалось, что сближение Александрины с Достоевским должно было возбудить интерес Льва и оживить угасшую переписку. Александрина надеялась стать посредницей между Толстым и Достоевским. Они могли бы, побуждаемые к тому ею, обменяться письмами, завязалась бы переписка, и, как знать, может быть, однажды они встретились бы в ее гостиной в нижнем этаже Зимнего дворца, и она оказалась бы соучастницей разговора двух великих. Но Лев не откликнулся на слова любви, переданные ему от Достоевского, он вообще не откликнулся на дружеский призыв. Все внешнее, тем более все то, что занимало тех, кто продолжал жить

в «гадком Петербурге», не интересовало его. Толстой был всецело погружен в свой внутренний мир — он писал «Исповедь».

«...Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представилась мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его».

Из «Записок» И. М. Ивакина

Иван Михайлович Ивакин (1855—1910), в начале 1880-х годов бывший домашним учителем старших сыновей Л. Н. Толстого, оставил обширные воспоминания, в которых не только описывал повседневную жизнь семьи Толстых, но и рассказывал о творческой работе Л. Н. Толстого. «Умным, хорошим малым», «прекрасным человеком» называл Толстой Ивакина в письмах к Н. Н. Страхову.

Блестящий знаток древних языков, русской словесности, Ивакин почти всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности.

И. М. Ивакин окончил курс Московского университета в 1880 г., в сентябре этого года он впервые приехал в Ясную Поляну по приглашению Л. Н. Толстого и в течение года был домашним учителем его старших сыновей Сергея и Ильи. В 1881 г. Ивакин получил кандидатский диплом и место учителя словесности в 3-й Московской классической гимназии. Общение Ивакина с семьей Толстых продолжалось многие годы, он бывал в московском доме Л. Н. Толстого в Долгохамовническом переулке, несколько лет подряд в летние месяцы в Ясной Поляне давал уроки младшим сыновьям Толстого. В доме Толстых Ивакин встречал множество людей, о которых он и рассказал в своих записках.

Записки И. М. Ивакина были опубликованы в 1961 г. в «Литературном наследстве» (т. 69, ч. II) с некоторыми сокращениями. Предлагаемый фрагмент текста из воспоминаний Ивакина, относящийся к концу 1886—1888 гг., не вошел в указанную выше публикацию. Между тем он, помимо прочего, представляет интерес как свидетельство работы А. А. Фета над переводами, которыми он усильно занимался в 80-е годы.

Текст публикуется по машинописной копии «Записок» И. М. Ивакина, хранящейся в отделе рукописных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. Рукопись «Записок» хранится в Российском Государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

Т. Г. НИКИФОРОВА

<...> Через неделю, накануне нового [1887] года, я видел самого Толстого опять — он неожиданно пришел ко мне¹.

— Я к вам на одну секундочку: Фет переводит Проперция² и ищет человека, который бы ему «возмудил воду»³. Я вспомнил о вас, вы это любите, в вас есть художественное чутье и понимание. Сходите к нему!

Я сказал, что если могу в чем помочь Фету, я готов, Лев Николаевич даже намекнул, что Фет заплатит.

— А у меня недавно был один из ваших знакомых — Клопский⁴, неприятный человек. Вы его послали к Орлову⁵, Орлов ко мне, а я — на все четыре стороны. — Лев Николаевич засмеялся. — Он ко мне ходит, и я несую всю тяжесть Клопского. — Он встал, распрощался и ушел, наказав еще раз завтра побывать у Фета.

На другой день получил я письмо от Фета и отправился к нему⁶. Когда я пришел, Фет сказал, что Проперций у него переведен весь, но перевод нужно с кем-нибудь пройти еще раз, начиная с 8-й элегии. Был у него помощником граф Олсуфьев, но он помогал-помогал ему в Ювенале, а потом и издал книжечку с разбором перевода⁷.

«Граф,— сказал ему будто бы Фет,— что вы меня рвете, мертвого человека? Ведь все уже напечатано, вы бы мне прежде это сказали».

— Теперь я и сказал Льву Николаевичу, что не имел человека «возмутить воду».

Предложив мне сто рублей за труд, он заговорил про Льва Николаевича: у него пропасть таланта, художественного ума, теперешнее его дело — пустяк, потому что определенного ничего нет⁸.

— Если бы он говорил, что есть слоны, что они живут на Луне, да прибавил бы, что я так верю, и толковать бы не о чем. А то... определенного-то нет. Ему пишут из Америки, что если он хочет, чтобы составила секта, исповедующая его учение, пусть пришлет суть своего учения, так, чтобы все это не превышало трех столбцов, они напечатают в миллионе экземпляров и распространят, а он не может. Владимир Соловьев⁹ — это я понимаю, христианин. Он говорит, что без веры в воплощение и искупление нет христианства. Это определенно... А может христианская вера и вся-то пятачка не стоит. Кто-то последит землю в заповедях блаженства — какую землю, где, не сказано, а толковать можно разное. Одни говорят, что землю — это значит землю в Астраханской губернии, другие говорят, что землю — это значит никакой земли... Словом, это все слова, допускающие противоположные толкования. Да и в древности кто не знал всего этого? Буддисты, например, знали. А определенное в христианстве — это воплощение и искупление. Это я понимаю, а это-то все и отрицает Лев Николаевич.

От Фета я пошел прямо в Публичную Библиотеку справиться, нет ли Проперция в издании Палея¹⁰.

Прихожу — Николай Федорович¹¹ по обыкновению роется в карточках, а возле стола какой-то человек в гусарской одежде, с саблей. Я было заговорил о Фете, о том, что мне нужно Проперция. Николай Федорович, как только услышал имя Фета, сейчас отрекомендовал меня человеку в гусарской одежде, толстенькому, кругленькому, полулысому, полуостриженному. Я догадался, что это и есть Олсуфьев, о котором я только что слышал от Фета, и внутренне поблагодарил Николая Федоровича за предусмотрительность. Олсуфьев спросил Персия¹², которого Фет перевел. Нужных мне изданий (их сейчас же назвал мне Олсуфьев) не оказалось. Издание Л. Мюллера¹³, рекомендованное Коршем в стихотворном письме к Фету, и Беренса¹⁴ пришлось купить.

Просматривать элегии мы начали с восьмой, потому что первые семь Фет раньше просмотрел с Коршем¹⁵. Мы скоро сошлись, и я чувствовал себя у него легко. С помощью купленных изданий я делал ему указания — он был доволен, как я не ожидал, говорил, по-видимому, искренно, что рад мне, что держится за меня, как за якорь, что со мною ему легко работать, что теперь просматривает он элегии первой книги основательнее, чем даже с Коршем.

Раз я к нему являюсь — у него гостей полна зала; в том числе Соловьев, Грот¹⁶, Цертелев¹⁷. Разговор шел об Льве Николаевиче. Все единогласно его осуждали за то, что слово у него расходится с делом, что в денежных делах он, отрицая деньги, прячется за графинею¹⁸. Не помню почему, перешли затем к Шопенгауэру¹⁹. Грот сказал, что то, что в Шопенгауэре верно — не ново, и что ново — то неверно. Фет возразил, что этот человек все же дал нечто такое, с чем можно жить.

— Вот на столе постелена скатерть, и все мы пьем на ней чай, что же — нам на нее плевать?

Я сказал, что шопенгауэровской скатерти не хватило на весь стол, может быть, треть стола осталась непокрытой.

— Больше,— заметил Соловьев,— какая треть!

Шопенгауэра и Льва Николаевича я назвал людьми умственными, то есть такими, которые стремятся устроить лишь свой умственный мир, а до приложений на практике им дела нет. Соловьев с Гротом согласились.

Скоро гости ушли, посмеиваясь над Фетом, что ему надо идти учиться, а мы заели за элегии, пока Марья Петровна²⁰, супруга Фета, не позвала нас пить чай.

— В Соловьеве есть тонкое чутье,— сказал мне Фет, когда мы разговорились о поэзии.— Я написал стихотворение:

Прощай навек в безоблачный ты час,

Как месяц золотой на высоте лазури²¹...

и послал Страхову²². Страхова поразил второй стих, показался ему неправильным. А я — хоть вы на площадь ведите меня казнить — я знаю, что этот стих изменить нельзя: он не выдуман, он рожден, и дай Бог побольше таких стихов. Соловьев же это сейчас понял — сказал, что менять нельзя. Я писал об этом и Страхову. Хоть вы тут соберите все академии, а оставить надо так.

О Лермонтове он сказал, что у него есть такие баллады, какие есть разве у Гете, и прекрасно стал читать наизусть:

В море царевич купает коня,
Слышит: царевич, взгляни на меня...
Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек.

— Это был истинный поэт, мог выразить все, и возможное, и невозможное!
И он начал читать «Русалку»:

Русалка плыла по волне голубой,
Озаряема полной луной...

— В стихотворении «Ангел», — продолжал он, — мне не нравятся стихи:
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

— Тут все равно бы сказать: и хвала его колбасою была.

— А одно стихотворение Пушкина, — обратилась ко мне Марья Петровна, —
Афанасий Афанасьевич не может читать без слез. Я уж прячу теперь от него Пушкина — он его волнует, он просто плачет!

— Это «Расставание», — пояснил Фет. — Оно недавно мне попало — что за сила, что за тонкость!

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать...

И он прочел мне его до конца — с выражением, с чувством; я слушал и не верил себе — он точно переменялся, помолодел.

— Я плохо прочел, — сказал он, кончив стихи. — Но какая тонкость — *дерзаю мысленно ласкать!* Да, это были люди, и вот еще Тютчев — поэтище черт знает какой!

Я признался, что его не знаю.

— Ну, как вы его не знаете, значит, вы и на свете не жили. Я, бывало, читал Тургеневу — так он на диване-то, как змей, бывало, корчится от стихов Тютчева!

Он велел принести стихотворения Тютчева.

— Ведь он и по-русски-то плохо знал, все говорил по-французски, а зато как начнет... прямо *in medius res**. Как начал, так уж он там, где следует. Вот он был настоящий поэтище!

И он прочел мне несколько действительно великолепных стихотворений Тютчева, которые казались еще лучше оттого, что он и читал-то их чудно.

— Вот вы задайте-ка в Академии написать что-нибудь подобное — пусть напишут. Ни за пятьдесят миллионов не написать!

— Я стараюсь писать так, чтобы как можно было дальше от реализма, — продолжал Фет, когда мы разговорились о его стихотворениях. — Ну, как вам сказать? Чтобы как можно больше было похоже на чепуху... Тютчев раз сказал об одном моем стихотворении: «Как это воздушно, воз-душ-но!» А я и рад! Ну что толку писать:

На носу у него была колбаса здоровенная,
Ее есть дело обыкновенное.

Или:

Тетушка Ненила
Лесу попросила²³.

— Мы с Коршем этого не считаем, — заключил он, разумея и те свои стихи, которым он не придавал значения и, очевидно, недавнее коршевское стихотворение, которое он мне прочитал, да, вероятно, и не только его.

Бедный Корш! Лет через пятнадцать один из моих знакомых видел эти его стихотворения, красиво переписанные, в прекрасном переплете — Корш сейчас же познакомил его и с тем стихотворением, в котором рекомендует Фету Проперция в издании Люциана Мюллера и которое, очевидно, подало повод к словам, что мы этого не считаем²⁴.

— Как все это у Некрасова фальшиво, деланно! — продолжал он, — сам он и человек-то был Бог знает какой — пил шампанское, водился с женщинами, а писал вон что!

Раз, когда я пришел заниматься, Фет рассказывал мне про Киндлера²⁵, педагога, которого несколько знал и я. На него указал Фету Хитров, когда явился нужна в помощи при переводе дидактических произведений Горация. Киндлер с охотою, даром согласился помогать, приехал в имение, работая с утра до вечера, и часто оставался недоволен переводом, говорил, что так по-русски сказать нельзя. А у Фета тогда гостил Страхов.

— Так можно по-русски сказать, — уверял его Фет, — спросимте у Страхова — он человек посторонний.

* в средину вещей (*лат.*)

— Я знаю, так нельзя по-русски сказать, — твердил Киндлер ломаным русским языком, — что мне спрашивать Страхова!

Выходили размовки — Киндлер к завтраку являлся иногда сердитый.

Когда мы просматривали одну элегию Проперция в 3-й книге, где описывается блаженство людей в первобытном состоянии, Фет мне сказал:

— Он точно описывает то, что сейчас есть, а Лев Николаевич еще толкует о чем-то. У римлян это было позади — в золотом веке. Ну-ка, попробуй он у себя в Хамовниках жить по-своему, как он хочет, — из казарм придет эскадрон, все растащут да еще будут чувствовать угрызения совести, коли что останется...

За завтраком он читал мне выдержку из «Нового времени», где говорится об его переводе Овидия с похвалой, потом письмо свое к В<еликому> кН<язю> Константину Константиновичу²⁶: в Петербурге между военными затеялся кружок пишущих с А. Майковым²⁷ во главе; пишут там иногда стихи и на заданные темы. В письме своем Фет такое писание не одобрял.

Пересматривая 4-ю книгу, Фет по поводу стихов, кажется, пятой элегии:

Cumque super garos flamantis acervos

Trajicit immundos ebria turba pedes*

заметил:

— Именно это поэт только и мог написать!

В 55 стихе VI элегии у него в переводе выходило: Аполлон истощает *содержание* колчана на лук. Мне показалось, что *содержание* (pondus) и неверно, да и для стиха не годится. Он согласился и поставил *время* **.

— В вас есть поэтическая жилка, — сказал он, благодаря меня, — вы понимаете поэзию... В самом деле, *содержание* — такое отвлеченное слово, здесь не годится. Спасибо вам, я рад, что сошелся с вами. При вашем содействии книжечка будет очень хорошая, потому что относимся мы к делу так добросовестно, как уж больше нельзя!

Я не совсем соглашался с ним — он бывал и небрежен, иногда ему не хотелось поправлять, он уставал, начинал под конец клевать носом, а то и я пропускал кое-что, не успевая просмотреть как следует элегии, потому что он останавливался неохотно.

Когда мы кончили просматривать Проперция, Фет в это время принялся переводить «Энеиду»²⁸. Я пришел к нему, когда он только что начал первую песнь.

— Терпеть не могу эту поганую «Энеиду», — сказал он мне, — а оказывается, претрудная штука. Ну как передать: noscetur pulchra Trojonus origine Caesar, как передать pulchra origine? Я перевожу: *из знатного рода*.

Переводил он быстро, потому недели через полторы принялся уже за вторую песнь.

— Настоящее в людях это то, что существует и теперь у китайцев, — говорил он раз. — У меня, положим, племянник — негодяй, ну за это у них Марья Петровна, моей жене, голову долой. В «Энеиде» я перевожу про Синона, — он боится, что за его измену трояне перебьют всех ему близких. Это я понимаю, это то, что можно назвать настоящим в людях. А прочее все — выдумка. И христианство именно и держится-то этим настоящим. Род человеческий пал, подай жертву за это — вот вам и искупление, без которого христианство немислимо. И Христос — в саду Гефсиманском — молится, а ему говорят: нельзя, пей чашу! Оттого-то и держится христианство в массах.

Фета я не видел до октября. Так как оставались места в Проперции, которые и он нашел нужным пересмотреть еще раз, то он и прислал мне письмо с приглашением зайти. Я пришел, и мы позанимались часа два.

— А кимвры с тевтонами, кажется, позатихли, — сказал мне Фет, когда мы кончили и сели за чай, намекая на профессоров, которые восставали против нового устава²⁹.

Мы сейчас же перешли на либералов, и Фет, помнится, говорил, что теперешнее положение дел его не удивляет.

— Я знаю Гомера, Шекспира, в умственном отношении Шопенгауэра, и чуть что, сейчас же тррр... опускаю крылья... Я уж человек, до последней степени скромный, а иной раз видишь человека, который, думая что-нибудь нарисовать, поплевал вместо этого — и говоришь, что он наплевал, что это не рисунок, а только плевок. А найдутся люди, которые будут утверждать, что это не наплевано, а нарисовано, что в плевке видно движение души и т. д., и имя таким людям — легион. Я пишу те-

* И через порознь лежащие кучи зажженного сена

Грязные ноги свои пьяная мечет толпа... (лат.)

(Элегия IV, книга IV, стихи 77—78).

** ... и на лук он всего истощает время колчана.

перь свои воспоминания, и они, между прочим, могут служить подтверждением тому, что то, что я говорил, лет через десять как раз и оправдывалось на деле. Первый, например, случай. Был я раз с Катковым³⁰, слышу, он говорит, что на политическом небосклоне будто бы нет черных точек. Это было как раз перед франко-прусской войной. Я ему и говорю: а по-моему, скоро будет война; вы по своим политическим соображениям утверждаете, что на горизонте точки все светлые, а я говорю, что, напротив, точки все черные. «На чем же вы основываетесь?» — спрашивает Катков. «На Брюсовом календаре³¹, который говорит, что родится своей земле принц и т. д.», — отвечаю я. Они с Леонтьевым³² засмеялись. И что же? Через месяц, не больше, французы перешли Рейн, и пошла потеха. Второй случай: раз в обществе знакомых, в последнюю турецкую войну³³, я сказал, что мы в Константинополе никогда не будем, — возможное ли дело, чтобы Европа допустила Черному морю стать русским озером? А тут пошли как раз наши победы, переход через Балканы... Те, конечно, стали противоречить, и мы поспорили на бутылку шампанского — я тогда еще пил вино. Ну и что же. Вышло по-моему, только шампанское-то, которое я выиграл, мне никто не отдал. Третий случай. Я еще был в кавалерии³⁴, стояли мы у Новгорода. Стужа, ветер прямо в лицо. Надо выступать; я холоду терпеть не могу, а идти надо верст 30 по снегу. Бабы радуются: теперь, мол, в лицо погода, зато после, на возвратном пути, будет взад, черт вас, думаю, подери! И был такой обычай: чтобы не очень утомлять лошадей, в пути люди слезали, спешивались, шли сами по снегу, а лошадь вели в поводу... Я и говорю командиру: «Ведь это значит гоняться за тифом, потому что, шагая по снегу, люди распотеют, а сядут да поедут — где шагом, где тихой рысью — простудятся. Не лучше ли, чем идти эти тридцать-то верст часов шесть, восемь, сразу проехать часа в три». Я так, бывало, и делал. И лошади не трудны, и людям лучше, да и постоят на отдыхе лошади подольше. Так-то нет! А теперь в кавалерии этого уж нет — стало, как я говорил!

Я сказал, что, вероятно, это взято было из Западной Европы, а у нас оказалось непригодно.

Он ничего на это не ответил, но заговорил о славянофилах, что эти дураки надела все, дурно отозвался о крестьянских банках...

— Мы третьего дня садимся в вагон, — продолжал он, видимо, имея в виду мои слова, — я вот им (т. е. Марье Петровне и Катерине Владимировне³⁵) и говорю: — Ну, теперь мы в Европе; за три шага от станции Европа уже кончается, а теперь мы покатым...

— Мы были у Льва Николаевича, — заметила и Марья Петровна. — Он и говорит нам при нашем отъезде: «Проедете ли, не припрячь ли вам лошадей?» Вот какие там дороги!

Фет, все имея в виду свое, заговорил о Финляндии, о тамошних порядках, хвалил, что водку там продают сельские старосты, и больше, чем надо, не продают никому, что вор конвоирует сам себя, т. е. со скованными руками и запискою от властей идет без провожатого в тюрьму (как можно для негодяя отрывать людей от работы?) — никто не найдется, кто бы расковал его или дал ему, без этой записки, хлеба и ночлег. «Да ведь он убежит в Россию», — говорю я. «А нам только этого и надо — пускай!»

Оказалось, что ехали они в Москву вместе с Леоной Дор, воздухоплавательницей, которая Марье Петровне подарила даже свою карточку — мне ее даже показали. Дор рассказывала, как она летает: в восемь минут, держась зубами за трапецию, она уже скрывается из виду зрителей; при полете ее привязывают к шару за спину.

В августе я и сам видел полет Леоны Дор, был свидетелем того, с каким волнением массы зрителей ожидали полета, с каким изумлением смотрели, как какая-то человеческая фигура, ухватясь зубами за привязанную к корзине трапецию, быстро уплывала в бездну выси и мрака... Слушая рассказ о Л. Дор, я не удержался — сказал, что все эти штуки нехороши и для нее, и для зрителей.

— Я говорила ей, что вас заставляет делать это, ведь вы еще молоды (ей 29 лет), не лучше ли выйти замуж, но она отвечала, что лучше летать... — сказала Марья Петровна.

Я заметил, что летание это развратительно, что в Европе люди той самой толпы, которые песнею требовали головы Пронцини и аплодировали казни Линского, отчасти воспитанники Леоны Дор и ей подобных.

Фет без церемонии назвал мое мнение тухлой добродетелью и рассказал, как убили мужики конокрада. Конокрад, мужчина здоровенный, плечистый, повадился в одной деревне вводить лошадей. Раз пошли мужики в ночное, взяли псалтирь с собою, зажгли свечку, читают. Вдруг слышат — как будто кто-то крадется, чем-то зазвенел... Они и обошли с другой стороны, видят — он! Мужчина он был здоровенный, они и давай его дубинами катать, то с одного бока, то с другого. Избили, чуть

живого оставили, привезли потом в волостное, заперли в конуру, там он к утру и помер. Затушить дело было нельзя — позвали начальство, доктора. Уголовное вышло дело — убийство. Только начальство же само, жалея мужиков, научило их сказать, что они оборонялись — они убили, защищаясь от него... Доктор отписал, что по сложению своему убитый мог бы осилить и десятерых. Ну, тех и выгородили, назначили им сравнительно легкие наказания.

Когда я указал на разницу между мужиками, убившими конокрада, и певунами, которые распевали перед тюрьмой, где засажен был Пронцини

C'est ta tete

C'est ta tete

Qu'il nous fout!*—

Фет все же согласился.

Меня интересовало, что случилось с нашей работой и будет ли она где напечатана, и я с целью об этом узнать зашел к Фету через месяц. У него сидел В. С. Соловьев.

Разговор у них и до моего прихода шел чуть ли не о поэтах. Я сказал, что, вероятно, скоро будет издан Полежаев³⁶. Фет похвалил его и, продекламировав одно из его стихотворений, сказал: поди-ка, напиши!

— Что бы вам, Афанасий Афанасьевич, — заметил Соловьев, — издать хрестоматию русских поэтов, деньги на издание я бы вам нашел.

— Если издать, так с вашей же помощью, да еще Страхова сюда же, вот бы вышло что-нибудь, — отвечал Фет. — Сколько можно бы у Пушкина взять, у Тютчева, Баратынского; у Бенедиктова³⁷ можно бы кое-что найти. Да можно много найти нас, пиитов...

Он мне сказал, что Проперций у Олсуфьева на просмотре. Придирчив он будет бы до невозможности, но говорит, что перевод этот лучше всех других. «Энеида» уже напечатана с примечаниями Нагуевского³⁸.

Соловьев ушел, а меня Фет попросил немного побывать. Пошли мы в кабинет. Он стал рассчитывать, что если сообразить, то, в сущности, литературный труд не приносит почти ничего, например, его переводы и книги. Мы помолчали. Говорить было как-то не о чем. На столе был «Фауст» в его переводе³⁹.

— Перед некоторыми поэтами, перед Гете, например, надо стать на колени — и только, — сказал он. — Некоторые сцены в «Фаусте» удивительны — это такая *тонина!* Многие, читая, ее не замечают, например, в сцене, когда Фауст с Мефистофелем приходят к дому Маргариты, в это время Мефистофель видит, как кошка бежит по крыше и скрывается за Schornstein***. Это так кстати, так ясно мне рисует все!

Он прочитал мне всю эту сцену⁴⁰, и — признаюсь — она мне показалась ничего себе, я знал ее и прежде, а кошка не произвела на меня такого впечатления, чтобы я почувствовал желание стать перед Гете на колени.

Прочитал он еще сцену поединка, потом сцену в пивной. Последняя показалась мне пошловата, нескладна, особенно где под влиянием чертовских чар пивные завсегдатаи начинают бредить о садах, принимать нос за гроздь. Знаменитая песня о блохе, увы, не скрасила сцену нисколько⁴¹. Так по крайней мере показалось тогда мне.

— А я все просматриваю Проперция, — говорил мне Олсуфьев уже через год, встретясь со мной в Публичной Библиотеке. — Сколько вы ему пропустили! Посмотрите, как я исчеркал весь перевод. Впрочем, Афанасий Афанасьевич всегда спешит, если бы он так не спешил, вероятно, и вы бы имели возможность просмотреть внимательней.

Осудил и утешил — спасибо! Что осталось в переводе много кое-чего, это я и без него знал, но как же быть?

Забегая вперед, скажу, что последний раз был я у Фета в январе 1888 г.

Прихожу в Публичную Библиотеку — там Фет, ищет свой перевод «Антония и Клеопатры». Перевод был напечатан в «Русском Слове» за 1859 г., а журнала за этот год в библиотеке не оказалось. К счастью, перевод этот был у меня, и я вызвался прислать ему. Он пригласил меня на тот же день «вечерком чайку попить».

Я пришел вечером — он читает какое-то письмо.

— Как не люблю я умных людей, — сказал он мне, поздоровавшись и поблагодарив за книгу. — Какие это дураки!

Дураками оказались славянофилы — они выдумали общину, придавая ей какую-то нравственную окраску, а община — хуже ее ничего нет. Артельное начало — другое дело; это просто соединение людей, чтобы лучше наживать деньги...

* Голова, голова, нам нужна твоя голова! (*франц.*)

** трубой (*нем.*)

Когда мы сели за чай, со славянофилов вообще он перешел на Ап<оллона> Григорьева⁴².

— Раз стоит дать повадку одному уму — и погибнешь в софизмах: необходимо чувство,— говорил Фет.— А то что может удержать меня зарезать, убить другого? Ап<оллон> Григорьев именно мало имел в виду чувство, и дошел Бог знает до чего! Учился он хорошо — вышел первым кандидатом⁴³. Место дали ему сейчас же хорошее. Он напугал — его прогнали. Ему дали другое, библиотекаря; он пороздал книги Бог знает кому... Против воли отца женился на Корш⁴⁴, барышне образованной, милой. Стал заниматься литературой. Тут завелись у них собрания «по душе» с легкой руки Островского⁴⁵. Пошло пьянство, разгул. Пьянствовать ходили не только сами, но Григорьев водил и жену, и ее приучил пить — она напивалась так, что, бывало, ее пьяную чуть не без памяти увозили домой. А у ней уже было двое малюток. Вдруг Григорьев ему, Фету, объявляет, что едет в Петербург⁴⁶. Сел на Тверской в «леженец» и уехал, а жена с ребятишками осталась в доме у его отца, где жила с мужем и прежде, внизу (старики хоть и не сочувствовали свадьбе, но, когда Ап<оллон> Григорьев женился, уступили низ молодым, а сами перебрались наверх). Пьянство пошло и в Петербурге, но там прожил он что-то неделю; вернулся в Москву, но не один, а с «креатурой»⁴⁷. Поселился в трактире, в номерах. От отца из низу он перевез к креатуре всю мебель — в доме не осталось ни стула. Жизнь пошла опять по-прежнему — пьянство, разгул. Мебель за долги описали. Он ухитрился заложить отцовский дом тысячи за три. Деньги он прокутил, а процентов платить не стал⁴⁸. Дом описали, старика-отца, уже больного, стали из дому гнать. Сын раз явился к нему, надел его шубу, калоши и — уехал в Петербург. Старик выехал из дому и кончил где-то в углу⁴⁹.

Я не знал содержания того письма, которое читал Фет, когда я пришел, и не понимал, почему заговорил он о славянофилах и о том, что нельзя давать повадки одному уму, а необходимо чувство, но связь между письмом и последовавшим разговором какая-то была.

— Ну, как на ваш взгляд такое отношение? — спросил он меня.— А ведь Григорьев был человек, несомненно, умный.

Я отвечал, что хуже едва ли что можно представить, и напомнил ему в свою очередь о другом его знакомом — Студитском⁵⁰, о котором я слышал немало, и который по безалаберности, пожалуй, несколько напоминал Григорьева.

О Студитском Фет не стал распространяться, заметил только, что он чуть ли не за 50 лет до нас мечтал о том, что можно сделать так, чтобы горел мел,— был в некотором роде предшественником Яблочкова⁵¹ <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ И. М. Ивакин жил в Москве в Долгом переулке, неподалеку от дома-усадыбы Л. Н. Толстого в Долгохамовническом переулке (ул. Л. Толстого, 21).

² Проперций (Sextus Propertius) — римский поэт-элегик, родился ок. 50 г. до Р. Х., дата смерти неизвестна. Проперций оставил четыре книги элегий. Главным содержанием первых трех является любовь к очаровательной женщине, в четвертой говорится о величии судеб Рима. Фет считал Проперция одним из оригинальнейших и художественно-правдивых римских поэтов.

³ Выражение из стихотворения А. А. Фета «Графине С. А. Толстой», жене Л. Н. Толстого:

...Я б снова трепет ощутил,
Целебной силой с прежним схожий;
Я б верил вновь, что ангел божий
Пришел и воду возмутил.
(27 мая 1886 г.)

⁴ Клопский (Клобский) — сын дьякона, учился в духовной семинарии, затем в Петербургском и Московском университетах. Выдавал себя то за народовольца, то за толстовца и производил впечатление неуравновешенного человека. В середине 90-х годов эмигрировал в Америку.

⁵ Орлов Владимир Федорович (1843—1898) — учитель из Иваново-Вознесенска; участник революционного движения 60—70-х годов, привлекался по делу С. Г. Нечаева. С Л. Н. Толстым познакомился в 1881 г.

⁶ С 1881 г. Фет с женой по зимам жил в Москве, в собственном доме-особняке на Плющихе.

⁷ Олсуфьев Алексей Васильевич (1831—1915) — граф, генерал от кавалерии, блестящий знаток древнеримской литературы, истории, культуры. Познакомился с А. А. Фетом в 1886 г. Рецензия на сделанный Фетом перевод Ювенала была напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» (1886, №№ 3—8), затем вышла отдельным оттиском.

⁸ Фет имеет в виду работу Л. Н. Толстого над философскими трактатами «Соединение и перевод 4-х Евангелий», «В чем моя вера».

⁹ Соловьев Владимир Сергеевич (1852—1901) — философ, поэт. Был близок Фету в конце его жизни, став его «последним литературным советником». Отец В. С. Соловьева, историк С. М. Соловьев (1820—1872) был университетским товарищем Фета.

¹⁰ Имеются в виду издания: Propertius. Opera. Lat. English Notes by Paley. London-Cambridge, 1853, или: Sex Aurelii Propertii Carmina. The elegies of Propertius, with english notes by F. A. Paley. London, 1872.

¹¹ Федоров Николай Федорович (1824—1903), философ, служил библиотекарем («каталожным») в Румянцевском музее в Москве. Автор труда «Философия общего дела», в котором изложил свое «учение о воскрешении, как деле общем для всех сынов».

¹² Персий А. (Persius Flaccus) — выдающийся римский сатирик.

¹³ Ф. Е. Корш писал в стихотворном послании к Фету:
 ... А чтоб не тратить даром сил
 В виду пригорков и колдобин
 Тот путь, что Мюллер проложил
 Вам будет, кажется, удобен,—

имея в виду издание «Элегий» Проперция, выпущенное Люцианом Мюллером (Лейпциг, 1870). Полное название издания: Catuli, Tibulli et Propertii Carmina/Recensuit et praefatus est Lucianus Mueller. Lipsiae, 1870.

¹⁴ Издание «Элегий» Проперция, выпущенное Беренсом (Лейпциг, 1880). Полное название издания: Sex. Propertii elegiarum libri IV/Recensuit A. Baehrens. Lipsiae: Teubner, 1880.

¹⁵ Корш Федор Евгеньевич (1843—1915), лингвист и литературовед, поэт и переводчик, профессор римской литературы Московского университета. Главное, к чему стремился Корш в переводческой деятельности, — красота и легкость русского стиха. Фет же добивался максимально точного воспроизведения поэтики оригинала, что мешало ему плодотворно работать над переводами античной поэзии именно с Ф. Е. Коршем.

¹⁶ Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества и один из редакторов журнала «Вопросы философии и психологии».

¹⁷ Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911) — поэт и философ, близкий знакомый В. С. Соловьева, с которым вместе учился в 5-й Московской гимназии и университете.

¹⁸ 21 мая 1883 г. Л. Н. Толстой выдал своей жене оформленную по всем правилам доверенность на ведение всех его имущественных дел, в том числе и на издание его произведений.

¹⁹ Шопенгауэр Артур (1808—1860) — немецкий философ. Фет перевел главный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (СПб., 1881) и другие его произведения. «Шопенгауэр для меня не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможный человеческий ответ на те умственные вопросы, которые сами собой возникают в душе каждого», — писал Фет в письме к В. И. Штейну от 3 октября 1887 г.

²⁰ Марья Петровна Шеншина, урожденная Боткина (1828—1894), жена А. А. Фета с 1857 г.

²¹ Цитата не точная. У Фета:

...Прости — и все забудь в безоблачный ты час
 Как месяц молодой на высоте лазури.
 (26 декабря 1886 г.)

²² Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду изящной словесности.

²³ Фет пародирует начало стихотворения Н. А. Некрасова «Забывтая деревня» (1856 г.):

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила...

²⁴ Ф. Е. Корш был великолепным версификатором, в его архиве сохранилось множество стихотворных посланий, лирических и шуточных стихотворений на все случаи жизни. См.: Н. В. Зейфман. Архив Коршей (Записки отдела рукописей РПБ, вып. 48).

²⁵ Максим Германович Киндлер, преподаватель латинской словесности, вызвался без всякого вознаграждения помогать Фету в переводе сатир Горация. В «Воспоминаниях» Фет писал: «...Мои друзья знают, до какой степени я дорожу всеми указаниями на мои промахи и несовершенства; но на известной степени я остаюсь при своем мнении. Вот на этой-то точке Киндлер иногда вступал со мною в спор и, что замечательно, никогда ни разу по поводу латинских выражений, а по поводу русских. Изучивши литературную речь, он незнаком был с народною и вдруг при каком-либо обороте утверждал, что так нельзя сказать по-русски. Как бы то ни было, мы тщательно пересмотрели с Киндлером всего Горация и расстались наилучшими друзьями» («Мои воспоминания». М., 1890, ч. II, с. 390).

²⁶ Переписка Великого князя Константина Константиновича (поэта К. Р.) с А. Фетом и его вдовой хранится в рукописном отделе Института русской литературы («Пушкинский Дом»). В одном из писем к К. Р. Фет писал: «Стихотворения на известные случаи самые трудные; и это понятно: нужна необычайная сила, чтобы из тесноты случайности вынырнуть с жемчужиной общего, вековечного...» (см.: Афанасий Фет. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988, с. 319).

²⁷ Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, критик.

²⁸ Поэму Вергилия «Энеида» Фет переводил в 1887—1888 гг. с помощью В. С. Соловьёва.

²⁹ Имеется в виду новый университетский устав 1884 г., который ликвидировал автономию Московского университета, отменял выборность всех административных должностей и профессоров, права Совета профессоров и университетский суд. Среди оставивших университет был С. А. Муромцев, профессор-юрист, будущий председатель I Государственной думы.

³⁰ Катков Михаил Никифорович (1818—1887), критик и публицист, издатель журнала «Русский вестник» и редактор газеты «Московские ведомости».

³¹ Календарь, составление которого приписывают Я. Брюсу, был впервые издан в 1709 г. В нем давались сведения из астрономии, были помещены святыцы, предсказания по расположению планет. Брюсов календарь стал образцом для всех позднейших изданий с предсказаниями.

³² Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — филолог, профессор классической филологии, директор Московского лицея, создатель «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

³³ Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 г.

³⁴ А. А. Фет поступил на военную службу после окончания Московского университета в 1845 г. В 1853 г. он был переведен в гвардейский лейб-уланский полк, расквартированный сравнительно недалеко от Петербурга. В 1858 г. Фет вышел в отставку и занялся литературной деятельностью.

³⁵ Екатерина Владимировна Кудрявцева (урожденная Федорова) была секретарем Фета с конца 1886 г. Ее воспоминания о последних днях жизни и смерти поэта опубликованы в сборнике «Российский архив», т. V, М., 1994.

³⁶ Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт. В 1826 г. за вольнолюбивую поэму «Сашка» был отдан в солдаты. «Стихотворения» Полежаева были изданы в 1889 г. с биографическим очерком П. А. Ефремова.

³⁷ Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт. Его первый сборник, вышедший в 1835 г., имел шумный успех. Бенедиктов был хорошим переводчиком с немецкого, французского, польского.

³⁸ Нагуевский Дарий Ильич (1845—1915), филолог-классик, исследователь, переводчик и популяризатор римской литературы.

³⁹ «Фауст» Гете в переводе Фета вышел в Москве в 1882 г.

⁴⁰ «Фауст», часть I, сцена 5.

⁴¹ «Фауст», часть I, сцена 19.

⁴² Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — ближайший друг студенческих лет Фета, известный поэт и критик. В доме Григорьевых в Москве Фет провел свои студенческие годы. События из жизни А. А. Григорьева Фет излагает в неправильной хронологической последовательности.

⁴³ 1 июня 1842 г. юридический факультет Московского университета «единогласно признал Аполлона Григорьева отличнейшим» из студентов, окончивших курс. Григорьев поступил на службу в библиотеку при Московском университете. В конце февраля 1844 г. А. Григорьев уехал в Петербург и поступил на службу в Петербургскую управу Благочиния. В декабре 1844 г. он перешел на службу в 1-е отделение 5-го Департамента Сената, где прослужил до июля 1845 г. После возвращения в Москву в 1846 г. А. Григорьев занялся литературной деятельностью.

⁴⁴ На Лидии Федоровне Корш (1826—1883) А. Григорьев женился во второй половине 1847 г. У Григорьевых было трое сыновей: Владимир, умерший в младенчестве, Петр и Александр.

⁴⁵ Имеется в виду кружок, возникший в конце 1840 г., ядром которого была обновленная, «молодая редакция» журнала «Москвитянин»: А. Н. Островский, А. А. Григорьев, Е. Н. Эдельсон, Т. И. Филиппов, Л. А. Мей. В кружок входили писатели, артисты, художники, музыканты, студенты Московского университета: М. А. Стахович, П. И. Якушкин, П. М. Садовский, И. Ф. Горбунов, П. М. Боклевский, А. И. Дюбюк, Н. Г. Рубинштейн и многие другие.

⁴⁶ А. А. Фет вспоминает об отъезде А. Григорьева в 1844 г. Вот как он пишет об этом в своих воспоминаниях: «Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, <...> что завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить его до Шевальдышевской гостиницы <Тверская, 12>, откуда уходит дилижанс, и затем, вернувшись, с возможной мягкостью объявить старикам о случившемся. Он ссылаясь на нетерпимость семейного догматизма и умолял меня во имя дружбы исполнить его просьбу <...> В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе...» (А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 226).

⁴⁷ Имеется в виду связь А. А. Григорьева с Марией Федоровной, «устюжской барышней», продолжавшаяся с 1859-го по 1862 г.

⁴⁸ В январе 1861 г. А. А. Григорьев был посажен в долговую тюрьму.

⁴⁹ Мать А. Григорьева, Татьяна Андреевна, на чье имя был куплен дом Григорьевых на Малой Полянке в Замоскворечье, завещала его сыну с тем условием, чтобы им пожизненно владел отец поэта А. И. Григорьев. В 1856 г. А. А. Григорьев стал полным хозяином дома, так как его отец отказался от владения, и после смерти жены поселился на антресолях, а сын с семьей занял нижние комнаты.

⁵⁰ Студитский Александр Ефимович, писатель, критик, близкий к «Москвитянину».

⁵¹ Яблочков Павел Николаевич (1847—1894) — электротехник, изобретатель системы освещения «русский свет», впервые продемонстрированной на Всемирной выставке в Париже в 1878 г.

Постатеизм, или Бедная религия

Наш семидесятилетний атеизм, как его ни называй: массовый, научный, государственный, — был, безусловно, новым явлением в мировой истории. И раньше случались массовые ереси, но они не меняли религиозного ядра мировоззрения, не отменяли веры в Бога, в Священное Писание, в бессмертие души (например, немецкие анабаптисты). И раньше случались периоды вольнодумства, но они затрагивали только интеллектуальные верхи общества, не меняли общего религиозного настроения масс (например, французские просветители).

И только в Советском Союзе воинствующий атеизм разлился в массы, сформировав несколько поколений неверующих людей если и не враждебных религии, то глубоко к ней равнодушных. Если они сами не сносили храмов и не сжигали икон, то никогда и не молились, не призывали имени Бога, забыли о самом его существовании.

Может ли религия, прошедшая через долгую полосу гонения и отрицания, возродиться в прежних своих традиционных формах? Или если атеизм был нов, то еще более нова должна быть постатеистическая вера, которая приходит ему на смену?

То, что происходит сейчас в религиозной жизни постсоветского общества, можно разделить на несколько разнонаправленных тенденций.

Одна из них — это действительно «религиозное возрождение», т.е. возврат общества к своему доатеистическому состоянию. Традиционные вероисповедания: православие, католичество, ислам, буддизм, иудаизм — возвращаются на религиозную карту страны. Разумеется, новообращенные привносят в жизнь своих церквей эмоциональную пылкость и догматическое невежество, романтику охранительного национализма и мессианских упований, но все-таки остаются в рамках традиции, чуть-чуть сужая или расширяя их.

Другая тенденция, менее понятная и изученная, ведет вспять от современного состояния религий в глубокую архаику и может быть обозначена как неоязычество. Оказывается, что атеизм плох, но ненамного лучше и традиционные религии, особенно иудаизм и его всемирный отпрыск — христианство. Именно они проповедовали абстрактные идеалы добра и равенства, которые долго разъедали душу могучих языческих народов и, в частности, привели к упадку российскую государственность. Спасти нацию может не религия духа, но древнейшая религия природы, немедленное восстановление дохристианского русского и общероссийского пантеона.

Собственно, почти все ходы этого мировоззрения уже были опробованы Ницше и его последователями среди национал-социалистов. В частности, брезгливая критика христианства как иудейской ереси — религии убожества и нигилизма, предназначенной для того, чтобы слабые победили сильных и, пользуясь заповедью «блаженны нищие, кроткие, плачущие», овладели миром. В противовес этой растленной морали рабов сильные должны соединиться и воссоздать религию первозданной силы и хищной красоты как наивысшей добродетели, которая позволит им вернуть власть над обществом.

Правда, на славянской и тем более чисто русской почве воссоздать языческий культ куда труднее, чем на германской: слишком мало осталось следов от этой прославленной старины, никакой связной канвы мифологических преданий, только разрозненные имена нескольких божеств и явно поддельная Велесова книга. Да и

слишком очевидно, что сама российская государственность возникла и укреплялась на христианской основе.

Поэтому редко неязыческая идея преподносится в чистом виде. Порой к ней примешиваются скорбные экологические рассуждения о преимуществе языческого культа стихий в деле охраны окружающей среды. Еще чаще в языческом духе толкуется само православие как особая ветвь христианства, накрепко связанная с государственным и военным служением России и ее великому народу-богосланцу. Преимущество православия перед другими христианскими вероисповеданиями усматривается также в «двоеверии», в органическом слиянии религии «небесного Отца» с древним культом родимой матери-земли. Православие в таком случае оказывается лишь наиболее боеспособной формой патриотизма, искони защищавшей святую Русь от иудейской, католической, масонской и всякой другой иноземной нечисти.

К неоязычеству можно отнести и многообразные увлечения магией, экстрасенсорикой, спиритизмом и прочими поверьями, восходящими к самым ранним анимистическим и фетишистским воззрениям. Собственно, возрождение всего этого комплекса первобытных религий было одним из естественных последствий коммунистического строительства. Коммунизм был задуман как возрождение на высшем историческом витке доклассовой общинной формации — и в этом смысле возврат от «отчуждающих» религий классового общества к вере во всеобщую одушевленность материи, которая есть источник самодвижения, а значит, отвечает языческому представлению о духах природы.

Однако наряду с возвращением традиционных вероисповеданий и отчаянно-вдохновенным броском в глубочайшую архаику есть еще одна тенденция — наименее замеченная, почти не воплощенная. Ее можно назвать религиозным модернизмом или экуменизмом, хотя эти западные термины не совсем к ней подходят. Речь идет о возможностях образования какого-то целостного религиозного мирозерцания, но не путем сознательного синтеза или обобщения традиций разных вер, как это порой делается на Западе (унитаризм), а через выветривание этих традиций, через неизбежное принятие и преодоление духовного наследия атеизма.

Представьте себе молодого человека из типичной советской семьи, на протяжении трех-четырех поколений начисто отрезанной от каких-либо религиозных традиций. И вот теперь, слыша в своей душе некий призыв свыше, голос Божий, этот молодой человек никак не может определить, куда же ему идти, под крышей какого храма укрыться. Все исторические религии ему равно далеки, а голос раздается все ближе и ближе. Молодой человек идет в православный храм — и сталкивается со вполне определенной системой догм и обрядов, которая кажется ему слишком тесной для этого вселенского чувства. Он идет в католический храм, в синагогу, идет к баптистам — и всюду видит исторически сложившиеся формы богопочитания, тогда как ему хочется знать Бога целым и неделимым. Человек ищет веры, а находит вокруг одни только вероисповедания.

Вот в этом разрыве между верой и вероисповеданиями и возникает бедная религия, не имеющая ни устава, ни книг, ни обрядов. Заметьте, что из атеизма сейчас уходит гораздо больше людей, чем приходят в храмы. Они уходят — и не доходят, остаются где-то на распутье. Но это распутье, в сущности, и есть главная точка, где сходятся все пути. Точка единоверия, равного приятия всех вер как ведущих к единству веры.

Именно безверие советских лет сформировало такой тип современного человека, про которого нельзя определенно сказать ни «православный», ни «иудей», ни «мусульманин» — но просто «верующий». В западных странах это понятие почти не употребляется как лишенное смысла. Верующий во что? Какой деноминации? Но в Советском Союзе все верующие были уравнины по отношению к господствующему неверию — и вот вера, теснимая со всех сторон, вдруг действительно стала наполняться каким-то положительным содержанием. Просто вера. Просто в Бога.

Таких верующих в России сейчас гораздо больше, чем исповедующих какую-либо определенную веру. Вот это и можно назвать бедной религией. Это религия без дальнейших определений, столь же прямо и цельно предстоящая Богу, как целен и неделим сам Бог.

В душе бедного верующего нет никаких догматических предпочтений, которые создаются непрерывной исторической традицией, крепким семейным религиозным укладом. За предыдущие семьдесят лет в духовной жизни страны была вытоптана такая ровная пустыня, что мелкими кажутся межи, сохранившиеся от разных исторических религий.

Вспомните глас вопиющего в пустыне¹: «В пустыне приготовьте путь Господу... Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие...» (Исайя, 40, 3—5). Не этот ли призыв был с жутковатой точностью осуществлен советским атеизмом, который именно что подготовил путь Господу, преследуя и вытравывая все веры, сравнивая горы и доли, чтобы раздвинуть в душах широкое пространство для собиранья разных вер? Чтобы всякая плоть на гладкой пустыне могла узреть приход славы Божьей.

Чаще всего бедный верующий присоединяется рано или поздно к какой-нибудь исторической традиции, становится православным или иудеем, но гулкое пространство пустыни, раз пережитое, остается в нем навсегда. Ведь именно там, посреди мира, безо всяких приготовлений и оглашений, Бог схватил его за сердце. Почти во всем мире люди приходят к Богу через храм, куда вступают еще детьми. В нынешней России люди приходят в храм через Бога. Отсюда и ощущение тесноты этих каменных стен, стремление их раздвинуть.

Атеизм был самым крайним и грубым выражением укорененного в восточном христианстве апофатизма², отрицанием не только возможности познать Бога, но и его собственного существования. Практически атеизм воплотился в беспощадном подавлении всех духовных традиций, преследовании священников и верующих, закрытии храмов... И вот в вакууме поздней советской эпохи, в 1970—1980 годы, религиозность стала возрождаться именно в той форме, которую подготовил для нее атеизм: как «просто вера», без уточнений и дополнений, без четких конфессиональных примет, — целостное, нерасчлененное чувство Бога, вырастающее вне исторических, национальных, конкретно-церковных традиций.

Здесь мне хочется привести целиком свой текст 1982 года³, посвященный этому новому феномену постатеистической религиозности, который я тогда предложил назвать «бедной религией». Бедная религия — это апофатика, уже перешагнувшая через атеистическую стадию и вернувшая себе религиозное содержание, но в той обобщенной форме — веры вообще, — которая была подготовлена атеистическим отрицанием всех вер.

До последнего времени казалось, что так называемое «религиозное возрождение» в России протекает исключительно в формах возврата к традиционным религиям, к заветам предков. Блудный сын возвращается под отчий кров. Все это хорошо известно и многократно описано. Казалось, что «возвращенцы» отличаются от прежних прихожан не существом веры, а только степенью осознанности, вовлеченности, энтузиазма, характерного для неопитов, — так сказать, психологически, но не догматически, не ритуально... И действительно, требовались огромные усилия только для того, чтобы вернуться, преодолеть инерцию последних атеистических десятилетий.

Но процесс возрождения не может остановиться на этой точке, он идет дальше, в сферу религиозного творчества. Разумеется, само по себе восстановление, реконструкция еще долго и плодотворно будут продолжаться, но уже не в них болевая и проблемная точка постатеистической современности. На смену традиционализму, точнее, как его развитие, выдвигается религиозный авангард (лишь отчасти соответствующий тому, что на Западе называют «радикальной теологией»).

¹ Любопытно, что в России этот текст чаще переводится как «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу...», а на Западе «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу...» В принципе оба перевода допустимы, поскольку в еврейском оригинале нет знаков препинания. Но место двоеточия безразлично для смысла: если по западной версии Бог призывается в пустыню, то по российской — сам призыв исходит из пустыни.

² Апофатизм (буквально — «отрицательность») — особое направление в христианском богословии, развитое преимущественно в восточной традиции. Бог постигается через отрицание всех своих возможных определений, Он не есть «этот» и не есть «тот», не есть ни свет, ни разум, ни истина, ни благодать, ни дух, поскольку Он превыше всяких имен, образов, подобий, даже самых духовных и возвышенных. Бог не есть кто-то или что-то и, в известном смысле, Он вообще «не есть», Он не существует в том смысле, в каком существуют предметы окружающего мира. Подробнее об апофатическом богословии и его роли в русской духовной традиции см. Vladimir Losskii. *The Mystical Theology of the Eastern Church* (1944). Cambridge and London, 1968; Прот. Георгий Флоровский. *Пути русского богословия* (1937). Париж, YMCA-Press, 4-е изд., 1988. О воздействии апофатизма на развитие ряда идеологических и художественных течений в России (нигилизм, атеизм, авангард, концептуализм и др.) см. Михаил Эпштейн. *Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской культуре XX века*. Tenafly (New Jersey): Эрмитаж, 1994, сс. 7—17, 251—255 и др. (см. по Предметному указателю).

³ Из письма к знакомому философу, уехавшему в 1981 г. на постоянное жительство в Германию.

Вообще говоря, всякое возрождение (в том числе и европейское Возрождение XIV—XVI веков) приводит совсем не к тому, что оно возрождает. То, что воспринималось на первых порах как возрождение античности, оказалось совершенно новой, неведомой европейской цивилизацией. Так и в России: чем дальше разворачивается религиозное возрождение, тем более оно обнаруживает принципиально новые, творческие черты. Разумеется, не под сенью храма, где все остается прежним, «оплот традиции», но в жизни, в мышлении. Создается новая грандиозная вера, имеющая своей почвой и предпосылкой уникальное явление мировой истории — массовый атеизм.

«Смерть Бога», провозглашенная Ницше, все еще последнее слово в радикальной западной теологии, которая мужественно учит человека жить в отсутствие Бога, в секулярном мире, как взрослый человек живет после смерти родителей, без их надзора, все-таки соблюдая внушенный ими порядок и дисциплину. Если протестантская теология «смерти Бога» (Олтайзер, Хамилтон и их предшественник Dietrich Bonhoeffer⁴) отражает крайнюю степень обмирщения, секуляризации веры, то бедная религия уже перешагивает этот предел, не завершает прежний, а начинает новый круг, новый цикл религиозной истории. Бог уже умер — и теперь воскресает, причем именно в той стране, которая первой в Новое время распяла его.

Новая теология, уже не протестантская, а постатеистическая, есть теология **воскресения**, то есть новой жизни Бога, за пределом его церковно-исторического тела. Теология воскресения не есть то же самое, что традиционная теология жизни Бога (в исторической церкви), и не то же самое, что радикальная теология смерти Бога (в атеистическом мире). Нулевой, или, если хотите, минусовой, градус — безверие, безбожие — пройден, и начинается то возрастание веры, которое не возвращается к доатеистической стадии, а вбирает ее, представляет собой теистическое осмысление и преодоление самого атеизма. Через атеизм апофатическая теология отрицает себя как теологию, чтобы на следующей ступени, бедной религии, утвердить себя как верующий апофатизм уже по ту сторону всех атеистических отрицаний.

Бедная религия (название таково, что ее и в самом деле можно пожалеть: «бедная», «несчастливая») начинает с нуля и как бы не имеет традиций. Ее «Бог» — грядущий, второго или скорее последнего пришествия, который окончательным судом идет судить мир (атеистическое написание с маленькой буквы сохраняется, но в прописную вырастает последняя буква, не «альфа», но «омега» исторического процесса). Она относится к традиционным религиям примерно как авангард к реализму: религиозное значение придается самому кризису реальности, уходящей за черту мыслимого и наблюдаемого. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лука, 24:31) — таково явление **воскресшего Христа** апостолам. Традиционные знаки, атрибуты, утварь веры сохраняют значение как предметность с бывшими откровениями и обетованиями, но центр религиозного чувства перемещается на грань настоящего и будущего, в зиянье разрыва между настоящим и будущим.

У каждой религии, направления, секты — свои откровения, основатели, особое историческое время, национальное место... Но последнее откровение может быть только одним и общим для всего мира, иначе оно не было бы последним. Как Бог-Творец един перед лицом одного человека Адама, так едино человечество перед лицом Бога, завершающего мировой процесс. Точные сроки конца неизвестны, но достоверно, что с каждым часом исторического существования мира становится ближе к концу, чем к началу, и это выражается в усилении объединительных моментов веры. Начала у всех религиозных традиций разные, а конец может быть только общий, и отсюда — прогрессирующая единоверческая тенденция. Если Бог един, то и вера должна быть едина. Наличие многих вер в единого Бога — это еще не преодоленная стадия многобожия, когда единство достигнуто, так сказать, в предмете, но не в способе веры. Многоверие было естественно лишь в условиях многобожия, единобожие же требует единоверия, и к нему ведет эсхатологический процесс, сводящий религиозные традиции, по-разному начатые, в единстве конца.

Надо сказать, что объединение вер, особенно под эгидой разума, провозглашалось и раньше (например, в XVIII веке у Г. Э. Лессинга), но лишь на определенной почве, а именно атеистической, такое объединение становится живым чувством и потребностью. Ибо атеизм, отрицая в равной степени все веры, тем самым наглядно обнаруживает то, что их объединяет. В своей позитивности веры не могли соединиться, обремененные твердыми историческими, национальными, семейными традициями. Люди воспитывались в той или иной вере, они приобщались к религии в ее

⁴ See Thomas Altizer and William Hamilton, *Radical Theology and the Death of God* (1966), Paul Van Buren, *The Secular Meaning of the Gospel*; Thomas J. J. Altizer, *The Gospel of Christian Atheism*; William Hamilton, *The New Essence of Christianity*.

определенной национально-исторической форме. Когда же произошел разрыв с традициями, обнаружилась некая единая, вневероисповедная, сверхисторическая форма самой веры. Бедная религия и есть именно общий знаменатель всех вер, их общая форма, ставшая содержанием постатеистической веры. Атеистический разрыв с религиозными традициями ведет к постатеистическому их объединению.

Во всех других исторических условиях это был бы искусственный экстракт, вымученная, схоластическая выдумка: «единая вера», измышление кабинетных философов, утопистов. Но там, где реальностью стало отрицание **всех** вер, там и единоверие становится живой, настоящей реальностью. В основном это, конечно, интеграция монотеистических вер, имеющих общий авраамов корень. Такой единоверческий комплекс можно обозначить как «теомонизм» — уже не «единобожие», «единый Бог» (монотеизм), но «Богоединство», «единство в Боге». История монотеизма, впоследствии расколовшегося на иудаизм, христианство и мусульманство, завершается в теомонизме: вера в единого Бога — в единстве самой веры. В этом, кстати, существенное отличие бедной, «постмодернистской» теологии от протестантского модернизма, ориентированного на одно только христианство, причем строго евангельского и даже «очищенного», демифологизированного толка. Единоверие скорее ориентировано на Книгу Бытия и Откровение Иоанна, на откровение Начала и книгу Конца, в которых обнажается единство человечества на пределах его существования (доисторического и сверхисторического).

Бедная же эта вера потому, что почти ничего не имеет в этом мире: ни храма, ни обряда, ни установленных правил, одно только отношение к Богу здесь и сейчас. Не как лес или сад разрастается она — с диким могуществом или ухоженным изыществом, — но жалко и криво, словно трава, ломающая асфальт. И, однако, что сравнится с этой силой прорастания одиноких травинки! Можно сказать, что в «почти» — вся сила и слабость этой веры. Она почти ни в чем конкретном себя не выражает, но она чуть-чуть присутствует во всем как некое смысловое натяжение в нашей расслабленной, бесславной жизни. Ибо само по себе все настолько лишено смысла: практического, экономического, эстетического, этического и т. д., что только этот едва брезжащий религиозный смысл может как-то оправдать самые элементарные житейские поступки. Дух становится необходим, как дыхание. Категории таинства — причастия, исповеди — обретают житейскую насущность.

В 1921 году Мандельштам написал, что в советское время все становятся христианами: скудость материальной жизни такова, что остается жить духом святым, и простая домашняя трапеза превращается во вкушение святых даров. «Культура стала церковью... Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние... Яблоки, хлеб, картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод»⁵. Это верно и глубоко, но дело не только в материальной скудости, а и в смысловом дефиците. Каждая вещь советского обихода истерта и обеднена до такой прозрачности, что сквозит нездешним. Оттого вере не приходится обособляться от жизни, что жизнь потеряла свою самодостаточную культурную весомость, осмысленность, богатство, красоту. Просто жить — уже означает «верить». Такую веру нельзя искоренить, ибо ее храм в каждом доме и ее могут исповедовать как те, что посещают храмы прежних вер, так и те, кто сразу пришел к единоверию. Тут протестантская идея как бы уже перешагнула собственный предел, это не протест против церковной веры, а основание веры в средоточии мирского. Как ни парадоксально, но именно в царстве постатеизма начинают сбываться религиозные чаяния начала века — о слиянии жизни и веры (Розанов, Мережковский, Бердяев и др.). Вера должна была насильственно упраздниться, жизнь — обеднеть, омертветь, чтобы наметился путь их слияния. Ибо в гордыне своей жизни отрывается от веры, а вера ломает и сокрушает жизнь.

У Тютчева есть известное стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834) — о вере, перешагивающей порог опустевшего, голого лютеранского храма. «...Еще она не перешла порогу, /Еще за ней не затворилась дверь... /Но час настал, пробил... Молитесь Богу, /В последний раз вы молитесь теперь». И вот перешагнула — и началось ее внехрамовое служение, не дополнительное к храмовому, а именно укорененное в мире, в каждодневной потребности соотносить жизнь с абсолютным смыслом. В этике это дает свои ответвления в виде таких категорий, как «ближнечувствие» и «ближнемыслие», т. е. каждый человек освящает прежде всего действительность, непосредственно его окружающую, постепенно расширяя ее. Храмовое пространство не является изначально общим для всех людей, но растет из той точки, в которой каждый пребывает в кругу близких, достигая общности лишь в своем пределе, где храм становится целым миром. Единичность выступает в форме близости человека к человеку: освящаются прежде всего отношения к самым близким, родным, семейным.

⁵ Слово и культура, в кн. Осип Мандельштам. Собр. соч. в 3 тт, т. 2, Нью-Йорк, Международное Литературное Содружество, 1971, с. 223.

Быть может, главная идея бедной религии состоит в том, что теология должна заниматься **единичным**, это есть ее специфический предмет. Именно в своей единичности каждая личность и каждая вещь обретают подобие Единому Богу, поэтому теология — это наука о единичном, уникальном, неповторимом, как оно проявляется во всех вещах. Ощущается пантеистическая тенденция, но с учетом и отвержением тех моментов, которые ведут пантеизм к атеизму, всебожие к безбожию: если Бог во всем — значит ни в чем. Поэтому пантеизм подвергается критике: Бог не во всем, а в каждом, в каждой вещи, в том, что отличает одну от другой, не в протяженности, а в прерывности и т. д. По мере того, как мы выделяем вещь среди других, используем всякие структурные процедуры, вычленим отличительные признаки, постигаем единичность вещи во вселенной, — раскрывается самое глубокое, сакральное ее измерение, замысел о ней Бога. Каждая вещь единична лишь потому, что единствен сам Бог, и богоподобна (теоморфна) она именно в аспекте своей единичности. (Иначе: без Бога-Единицы, задающей единичность каждому, остается только мир субстанций, масс, количеств.) Соответствующее направление именуется «теоморфизмом» — в противоположность антропоморфизму; суть теологии в том, чтобы, не говоря ни слова о Боге, говорить о всем бесконечном многообразии вещей и явлений в модуле их единственности, а значит Богоподобия.

Вообще во всей этой бедной религии нет почти ничего сформированного, определенного, она проявляет себя скорее всего как повседневность огромного количества людей, которые мало что знают друг о друге. У нее нет пророков, провозвестников, потому что она живет и движется не началом, а как бы концом, доходящим до нас не в виде откровения, сказанного конкретного слова, а в виде смысловой гулкости, разреженного пространства, окружающего наши собственные слова, жесты, поступки. В этом уникальность ситуации: потеряв на долгое время контакт с Божьим словом, люди очутились в зоне Божьего слуха. Никто не говорит от имени Бога, но все говорят так, как если бы их Кто-то слышал и эти слова оставались бы надолго, навсегда, запечатленные высшим слухом.

Слух — это предел, дальше которого не может зайти опредмечивающая сила безбожия. Божье слово, как бы ни было велико и необъятно, все-таки может быть опредмечено, пересказано, перетолковано, осмеяно, отвергнуто, но Божий слух раздвигается за пределы всякой объективации. Мы в нем, он же всегда больше нас, объемлет, окружает, как горизонт. Бедная религия не имеет никаких слов, кроме житейских, человеческих, но зато ей внятно присутствие Божьего слуха. Перед лицом этого слуха нельзя говорить о Боге, но только Богу. Тем самым Слух готовит людей к последнему суду, когда говорить и отвечать будут они, а Судья — только слушать и решать. Слово уже было сказано в начале, чтобы вести и направлять человека, в конце же говорит сам человек, отвечая за свои пути перед Богом.

Потому флориане (последователи Иоахима Флорского⁶, имеющиеся и у нас) не совсем правы, говоря о Третьем Завете, завете Духа Святого, который якобы должен быть заключен с человечеством после Заветов Отца и Сына. Заветы, Ветхий и Новый, уже заключены, третьим же будет Ответ: слово человека в ответ на слово Божье. Вот почему у бедной религии нет пророков, говорящих от Бога, но только обыкновенные люди, говорящие Богу.

Написанное в начале 1980-х гг. о бедной религии можно было бы подтвердить многими примерами из литературы того и последующего времени. Герои Василия Аксенова, Юза Алешковского, Андрея Битова, Беллы Ахмадулиной, Венедикта Ерофеева, Юрия Трифонова — все они болеют какой-то высшей духовной потребностью, которая не может найти удовлетворения в традиционных формах веры — и по причине слабого знания о них, и в силу отчужденности новой религиозности от всех ощественных исторических традиций.

Так, автобиографический герой книги Андрея Битова «Птицы» — типичный «бедный верующий». Когда начинается страшная гроза, которая чудится ему почти концом света, он хочет вознести мольбу Всевышнему, но это оказалась «какая-то мычащая молитва без слов»⁷. И он несказанно удивился, когда под воздействием страха вдруг быстро и правильно перекрестился — раньше это никогда у него не получалось, да он и не испытывал в этом потребности.

⁶ Иоахим Флорский (1130—1202) — итальянский мистик, создавший учение о трех духовных эпохах в истории человечества, соответствующих лицам Троицы. Первая эпоха возвещена (Ветхий) Заветом Отца, вторая — (Новым) Заветом Сына, третья будет Эпохой Святого Духа. Это учение было популярно в России начала XX века и повлияло на таких пророчески и апокалиптически настроенных мыслителей, как Дмитрий Мережковский и Николай Бердяев.

«Бедным верующим» можно назвать и Веничку, автобиографического героя повести Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки». Он время от времени обращается к Господу с мольбой: «Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве *это* мне нужно? Разве по *этому* тоскует моя душа?»⁸ Но «Господь» Ерофеева существует вне каких бы то ни было традиций и конфессиональных делений. У него нет в этом мире другого храма, чем тот замусоренный поезд, из которого обращается к нему душа героя. И у героя нет никакого храма, никакого предустановленного понятия о вере, даже нет другого способа доказательства существования Господа, чем «от икоты», которая внезапно поражает и отпускает человека. «Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона... Мы — дрожащие твари, а она — всеильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена... *Он* непостижим уму, а следовательно, *Он* есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»⁹. Это «шестое» доказательство бытия Божия — от икоты — может показаться кощунственным или в лучшем случае пародийно-юмористическим с точки зрения догматического канона, но оно раскрывает апофатический дух «бедной» религиозности не меньше, чем эксцентрические, «богохульные» поступки русских юродивых. Здесь та же логика негативного богопознания — через то, что неподвластно человеческой воле и рассудку, элементарным примером чего выступает икота, череда непроизвольных телодвижений, нерегулируемых временных интервалов. Вот почему, по словам Ерофеева, словно бы прямо взятым из какого-то источника апофатической теологии, *Он* непостижим уму, а следовательно, *Он* есть».

Промежуточная стадия между безверием (марксистским) и вероисповеданием (христианским) показана в «рождественском романе» Юза Алешковского «Перстень в футляре». В романе происходит рождение «бедного верующего» из закоренелого атеиста, достигшего высот советско-партийной карьеры на поприще борьбы с предрассудками масс, «богоборца в третьем поколении» Гелия Револьверовича Серьеза. Потрясенный крахом своих отношений с любимой женщиной, изнемогающий от физической и духовной мерзости своего существования, он вдруг испытывает потребность молиться, не зная кому и о чем. «А может, вновь взмолиться перед... хоть о чем молить-то?.. О любви?.. Поздно... О спасении?..»¹⁰ Все эти многоточия — наглядный, графический знак бедности религиозного чувства, или, если угодно, его апофатичности, невозможности дать имя и образ Тому, Который... И дальше, обращаясь к Нему «Господи», повторяя строку Пастернака «О, Господи, как совершенны дела Твои!», герой никак не уточняет ни для себя, ни для читателя, кого же он, собственно, имеет в виду. Это произносится, почти как междометие, как вздох — «О, Господи», — но всеобщность междометия здесь уже не означает равнодушия и автоматизма, напротив, приобретает какой-то принципиальный, выстраданный смысл.

Казалось бы, при обширной атеистической эрудиции героя, привыкшего к аргументам от «релятивизма»: «А вот мусульмане воображают его Аллахом, а у христиан он одновременно и Отец, и Сын, и Святой Дух, так что утверждения разных религий противоречат друг другу и тем самым разоблачают свою полную несостоятельность» — при таком привычном историческом раскладе герою прежде всего должен прийти в голову вопрос: к кому же он обращается, к **какому** Богу? Но в то-то и суть, что историчность религий, их разделенность, когда-то укреплявшая веру на национально-семейной основе, в XX веке были узурпированы безбожием: раз вер так много и у каждой — свой бог, значит, бога нет. Именно атеизм задавал «паспортные» вопросы, уточняющие принадлежность «бога» к той или иной традиции и конфессии: «дата рождения», «национальность», «место проживания»? И тогда откровением постатеистической веры стало упразднение этой паспортной конкретности, историко-национальной пестроты и обретение чистого, всеобщего, бедного, единого имени-междометия: «Боже», «Господи». Атеизм пользовался разделенностью вер, аргументом их множественности и относительности, поэтому конец атеизма означал возвращение к простейшей, почти пустой и почти безграничной форме не только единобожия, но единоверия: раз бог един — значит и вера одна.

В отличие от традиционных религий, имеющих богатую историю, бедная религия живет не столько памятью, сколько надеждой. Есть прошлое, где разделились источники всех вер: одна идет от Моисея, другая — от Кришны, третья — от Будды, четвертая — от Христа, пятая — от Магомета. И есть будущее, где сходятся пути разных вер, где сам Бог завершает путь Земли и является как все во всем. Такое окончательное явление Бога в совокупности всех вещей не может состоять-

⁷ Андрей Битов. Птицы, или Новые сведения о человеке (1971, 1975), в его кн. Грузинский альбом. Тбилиси, Мерани, 1985, с. 219.

⁸ Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки. Поэма. Москва, Интербук, 1990, с. 25.

⁹ Там же, с. 55.

¹⁰ Юз Алешковский. Перстень в футляре. Рождественский роман. «Звезда» (С.-Петербург), 1993, № 7, с. 44.

ся отдельно для разных стран, разных верующих. Учредители религий различны, а Бог, которого они исповедуют и прихода которого ожидают,— один.

Тенденция к объединению разных вер существует и на Западе — как экуменическое движение внутри христианства или как поиск всемирного религиозного синтеза, объединяющего иудаизм и христианство с буддизмом и индуизмом. Но все это происходит на почве уже состоявшихся, богатых, развитых религиозных традиций, как попытка наладить их сближение, диалог. Путь бедной религии, вышедшей из атеистического небытия и ведущей к единству веры через пустыню безверия,— это уникальный российско-советский путь¹¹.

Итак, три тенденции рисуются в рассветном тумане первого на Земле постатеистического общества. Традиционализм, находящий себя под кровом современных храмов и привязанный к существующему разделению вер. Неоязычество, устремленное к цельности первобытного образца, к архаическим святыням почвы и крови. Бедная религия, свободная от исторического разделения вер, смутно ищущая их союза в полноте грядущего Богоявления.

Существенно, что русская религиозная мысль XX века, на которую сейчас принято во всех случаях опираться, дает образцы всех трех тенденций. Первая, традиционалистская, связана с именем Павла Флоренского и твердо опирается на философски осмысленный церковный канон и наследие Отцов церкви. Вторая, связанная с именем Василия Розанова, сближается с язычеством, с первобытными культурами Солнца и Земли, освящает архаическую стихию пола и плодородия. Третья, модернистская, связанная с именем Николая Бердяева, исходит из апофатического понятия чистой свободы, предшествующей самому Богу и акту творения, и предполагает экуменическое сближение вер перед лицом грядущего Богопришествия и эсхатологического завершения истории.

Еще недавно эти тенденции не только не боролись, но и почти не замечали друг друга в сладком изнеможении от победы над общим врагом, государственным атеизмом. Пройдет время — и не поверится в разгаре новых боев, а то и в пламени взаимных инквизиций: неужели когда-то мы, архаисты, традиционалисты, модернисты, ходили в одни семинары, в одни шумные негласные собрания? Неужели когда-то мы любили Бога той первой, застенчивой любовью, когда не испытываешь ревности к другим, любящим его иначе?



¹¹ Есть, разумеется, и на Западе люди, не принадлежащие формально ни к одной конфессии, но они, как правило, и вообще находятся вне религии. Правда, их здесь чаще называют не атеистами, а агностиками, поскольку до прямого отрицания Бога они не доходят, а просто сомневаются в его существовании. Но и верующими без вероисповедания их никак нельзя назвать — скорее, наоборот, формально они остаются в своем вероисповедании, даже потеряв веру. Вероисповедание (передающееся по наследству) без (личной) веры — это типичная ситуация претатеистической эпохи, в том числе и в предреволюционной России. Вера, уже лишенная или еще не нашедшая вероисповедания,— ситуация постатеизма.

Д а ч н ы е з а б а в ы

Я пишу исключительно о своем опыте, у меня нет никакого воображения.

М. М. Пришвин. Дневник.

Под вечер сосед Василий Петерин вызвал меня на улицу:
— Дрова нужны? Тут один продает...

У колодца красовался молодой человек в американских джинсах-варенках и расписной футболке. Сверкая золотой коронкой, проинформировал, что сам он-де только освободился из заключения и ему срочно требуются «бабки». Лишь потому он задешево отдает кубов пять сухих колотых дров. Березу. Эти дрова он унаследовал вместе с домом от бабушки.

Дом был известен: последний, еще не купленный дачниками в нашей деревне. От моего подворья метрах в трехстах.

Соседки-бабуси знали этого парня, отбывшего срок по хулиганской статье. Он с ними дерзко шутил. По-свойски они называли его Витян. Тут так: Колька — Колян, Вовка — Вован, Толька — Толян. Ну, а Виктор — Витян. Местный говор. Витян находился в данный момент в подпитии и нестерпимо хотел добавить.

Дело шло к осени. Березовые сухие колотые дрова — это мечта. Того гляди — перекупят. А у меня как раз были деньги, и следовало ловить момент. Уедешь в Москву — дрова пройдут мимо. Пьян-пьян, а рядился этот наследник не хуже малаховского спекулянта. Упирал на то, что ему главное — не цена, а сразу полный расчет. Но цену отнюдь не сбавлял, а взвизгивал, как на аукционе, хотя, кроме меня, покупателей не было. Прочие, кто сошелся к нашему торгу, были болельщики и советчики.

Я с ними прошел к поленнице, он предъявил ее, отогнув гвоздь, державший ворота сарая. Вроде бы дров было много. Я торговаться не мастер, и мы ударили по рукам. Для начала я отстегнул Витяну аванс — двадцать тысяч рублей на «вино». Здесь вином зовут и водку и самогон. Витян предоставил мне начинать самовывоз, а сам сговорил Петерина — он же дед Вася — слетать за бутылками. Василий слегка покобенился — самолюбив, но только он мог добыть в этот час в наших Скрипицах пару бутылок водки. Он знал, где их взять: у Аллочки, что живет против бывшего магазина. У нее есть всегда.

До наступления темноты я вывез около трети поленницы на большой двухколесной тележке Петериных. Остальные дрова Витян доверил мне взять завтра утром. Притом многословно и строго предупредил, чтоб из сарая я и не мыслил бы брать какие-то доски, десяток жердей и тележное колесо. И еще: чтобы по окончании дела я лично сам затворил бы ворота и гвоздь загнул точно так, как оный гвоздь изначально был загнут. Я поклялся, что все будет честно.

Тем временем Василий притранспортировал водку, а Тимофевна вынесла к палисаднику хлеб, пару луковок и огурцы.

Тут Витян заспешил получить свои деньги. Считал их придирчиво, на глазах у свидетелей. Сунув в карман, пригласил меня выпить с ним и Василием. Я, разумеется, отговорился, и никого это не огорчило.

Чтоб не присутствовать при распитии, я произвел во тьме еще рейс в сарай. Там было сена и мусора по лодыжку. Пахло древесной трухой. Шуровать пришлось почти на ощупь.

Когда возвратился с дровами, у палисадника Петериных было чисто, Василий и Тимофевна сидели на скамейке, а сам Витян уже испарился — в Заполье пошел. Только тут я хватился — раззява, что упустил при расчете отнять от суммы те двадцать тысяч, что дал Витяну авансом.

И он меня, таким образом, наколол.

Эх-ма, сказал я, поскребя затылок. Ах-ах, встрепенулись соседки-бабуси и Тимофевна. Да как же, да что, да беда, его не догонишь. Дальнейший гвалт выявил то интересное обстоятельство, что никто и не знает, свои ли дрова мне продал Витян. То есть что они находятся во дворе покойницы Анны — это бесспорно. И дом был ее. А вот кому она завещала?.. У нее в Заполье множество внуков. Наследством же до сих пор распоряжалась вроде глухая сестра покойной, там же, в Заполье, живущая возле церкви, у дочери.

Вот тебе и «ах-ах». Я приуныл.

— Что ж,— говорю,— все молчали, когда он рядился со мной? Я-то не в курсе. Так хоть бы кто намекнул. Он этак дом продаст.

— А что ты думаешь! — захихикала Тимофевна.— Какому ни то дураку и продаст.— У нее грандиозное чувство юмора.— Да ты не думай, твое дело маленькое. Все видели — ты деньги отдал.

...Сколько я говорил себе и жену наставлял — она доверчива и простодушна,— что негоже нам поддаваться на провокации полупьяных доброхотов. Тем не менее ввязываемся. Поддатые мужики продают все и вся, товар у них дешев. Они липнут к дачникам. Известно, что фраера губит жадность. А мы, дачники, чистые фраера.

Так или нет, коммерция совершилась. Впервые за пять лет в деревне мы с наступлением холодов, не жалея, жгли в обеих печах березовые дровишки. Сосна-то уже приелась, дает массу сажи. И жар от нее не тот.

В недавнем прошлом при слове «дачник» воображение рисовало гамак, серсо (это — набрасывать кольца на палочки), чай на стеклянных террасках, ну и, наверно, купанья с махровыми полотенцами и надувными игрушками.

Мы с женой были бы рады пожить так в деревне хоть пару дней. Да не выходит. Хотя друзья давным-давно подарили гамак, ракетки для бадминтона и волейбольный мяч.

Внуки, правда, играют. Мы — нет. Да и купаться поблизости негде; годные водоемы — в нескольких километрах.

Когда приезжаем в деревню, кое-как вырвавшись из Москвы, то ни на что время нет. Неколи то есть, как говорят старики на владимирском диалекте.

Скрипицы — селение старое. Оно стояло при Муромском тракте. Тут была, говорят, почтовая станция. Значит, сменные лошади, самовар для господ проезжающих. Ну, и смотрители. Проносились фельдъегери...

В новом веке Скрипицам не пофартило. А может, и повезло, в свете нынешнего отношения. Так или нет, рельсы железной дороги легли в пяти верстах к югу, а автодорога позже прошла на таком же расстоянии к северу. Она ответвляется от магистрального муромского шоссе и ведет к районному центру через Заполье. Скрипицы в конечном счете в стороне и от грунтовых дорог. Оно, говорят, лучше: любой чужак — на виду.

В шестидесятые годы здешний колхоз прилепили к укрупняемому совхозу «Заполье». Контора того хозяйства находилась в одноименном селе.

В эйфории тогдашних реорганизаций совхоз замостил белым камнем-известняком из собственного карьера пять километров грунтовки от автотрассы на наш скотный двор, бывший конный. Так и осталось. Мощеный путь до сих пор подновляют. Зимой по нему елозит и трактор, разметывая сугробы.

Местные власти и учреждения сконцентрированы в Заполье, где шоссе переkreщено с железной дорогой. До самой близкой платформы от нашей деревни, как уже сказано, пять километров. А в Заполье — станция с деревянным вокзалом, диспетчерской и запасными путями. Там же и сельсовет, которому мы подчиняемся, и лесничество, средняя школа, больница, аптека, сберкасса, потребсоюзские магазины. Имеется мощный каменный остов разрушенной церкви. Он мхами порос. Судя по абрису, этот храм был построен лет сто назад, когда Заполье силой прогресса воздвигалось над всеми окрестными деревнями.

Церковь реанимируют. Прежде всего настлали хорошую крышу из оцинкованного железа. Она сверкает на солнце. Одели в подмосты стены и купол. Повсюду грудится силикатный кирпич. Территорию широко обнесли фигурной сварной оградой. Церковный дом белеет от свежей окраски. В нем идут службы.

Хотя в окна этого дома решетки, его в последние годы два раза грабили охотники за иконами. Уперли, по слухам, немало ценного. Вообще ворья много. Тут, повторю, перекресток. Воруют, пьют и дерутся до смерти.

Восстановление крупной церкви в Заполье сравнимо по своему значению в местной жизни с московской стройкой храма Христа Спасителя. Только не тот масштаб, и в Москве управятся раньше, поскольку там спонсоры и Лужков. Здесь-то

пока рулят воспитанники райкома партии и комсомольского комитета. А они разворотливы только в своих подворьях и кабинетах.

Ну а Скрипицы? Похоже, что нынешний облик деревни формировали стихии огня. Так, в начале шестидесятых годов пожар ее просто уполовинил: пятьдесят или семьдесят домов выжжено было в центре за один раз. Тот огненный вихрь ушел, однако, в легенду и заслонен катаклизмом начала семидесятых. Имею в виду зловещее лето, когда примыкающие к Мещере леса и торфяники тлели-горели от Мурома до Москвы. Я тогда жил в Измайлове, помню дым августа и патрули на шоссе, не допускавшие граждан купаться в Горенки.

А старики в Скрипицах помнят, что занялось будто у Кулачковых. Семья была бестолковая, запьянцовская. Они-де как раз забили двор сеном, понапихав его во все щели. В частности, и под мост. Мост — переход из дома во двор, то есть в клеть, к сеновалу, омшанику и тэдэ. Кулачковы держали на мосту керосинку, а доски под ней были изгнившие. Срежь бела дня ребенок обрушил их, и керосинка с огнем опрокинулась в сено. Дальнейшее ясно. Двор вспыхнул, огонь перекинулся. И в небо с дымом и треском ушли пятнадцать хозяйств.

Пожарище приросло к пустырю, образованному в тридцатые годы посередине Скрипиц, и деревня распалась надвое. Пожары были и после. Уже в нашу бытность сгорели четыре дома в разных местах деревни. Впрочем, дома горят и в Заполье...

А школу закрыли, когда деревня стала формально неперспективной. Тотчас же съехали учителя, за ними, немного помедлив, подались и семьи с детьми.

Говорят, что местная школа учила ребят хорошо. К ней вообще тянулись. Тут вечерами бывали мероприятия: от общих собраний до танцев, кино. И еще держится школьное здание, выстроенное когда-то с размахом: высокие и широкие окна, просторные классы, могучие печи, крепкие двери... Возле школы был пруд, но заилился. Были аллеи берез, яблоневого сада, распланированные кущи сирени. Все заросло, остались тропинки.

Для сохранности сельсовет в свое время распорядился повесить на бывшую школу вывески «Клуб» и «Медпункт». Тем и другим взялся заведовать Павел Алексеевич Комонов, по деревенскому прозвищу «Тетья Паша». Комонов получал зарплату, а также газеты и плакаты для «Клуба». В школьный сарай по его заявкам привозили дрова, и он топил печи, когда заполевская элита уединялась в оазисе бывшей школы для пикников. Сюда заезжали с дамами и районные боссы. Уж очень славное место.

Комонов был бессемейным, да и работа по нем: физически он трудиться не мог вследствие инвалидности. Он был тяжелый астматик. Но вместе с тем когда-то окончил в Муроме культпросветшколу и «Клуб» ему оказался по профилю образования. Как наиболее грамотный, боевой и горластый, он представлял интересы деревни в заполевском сельсовете. Гордился званием депутата.

Его дом в деревне — по левую руку от моего, а справа — Петерины. Мой сад от сада Комонова отделял повалившийся с годами забор. Когда мы с женой только-только здесь объявились и для знакомства выпили с Комоновым четвертинку, он доверительно сообщил: «Я же в деревне, бля, единственный интеллигент. Не с кем поговорить». Ну мы подружились.

А помер он в прошлом году к зиме. Его дом купил у наследников новый дачник-москвич, отставной полковник морской авиации. Мужик нормальный, не жлоб, оптимист. С ним дружим тоже. Думаем сообща поставить забор, чтоб был порядок.

Соседи — это стихия быта. В деревне приличный сосед — это все. Ну, если не все, то многое. Примерно как в коммунальной квартире, с поправкой на деревенские разности.

При бывшей школе, потом и в «Клубе» какое-то время действовал телефон. Им мало кто пользовался, поскольку Комонов, постоянно болея, держал помещение на замке, а когда где-то в лесу завалились столбы телефонной линии, то никто их не поднял, и линия связи прервалась. Нарушен и кабель радиотрансляции. Так что казенное радио тоже не для Скрипиц.

Худо, что к нам не вызовешь ни милицию, ни «скорую», ни пожарников. То, другое и третье где-то имеется. Но в случаях бедствий единственный вариант — посылать в Заполье гонцов на велосипедах. Пожарники не успевают к пожарам. Завидят на горизонте столбы дыма, тогда и заводят свой дилижанс. Обычно приезжают к финалу и констатируют происшествие. Актом.

Если, однако, случится какая война или снова сменится власть во всем государстве, деревня узнает об этом из телевизоров. Электричество-то поступает, пусть и с внезапными отключениями и с перерывами на ремонты и летние грозы.

Мы в деревне застали еще работавший магазин, принадлежавший потребсоюзу. Торговлю вела Ираида. Она отпирала замок дважды в неделю. Женщина крепенькая и сбитая, малого роста, но — горло!.. И все у нее в ручках кипело. Ей бы —

по ее хватке — командовать универмагом. Муж, скотник Сева, вывез это чудо в Скрипицы с Западной Украины. В магазин завозили подсолнечное масло, бывали тут серая вермишель, а также пряники, спички, соль, печенье. Продавались и черенки для лопат, железные колуны, грабли, детские ванночки и оцинкованные корыта. Дважды в неделю фургон привозил из Заполья хлеб. Кто держал скот, шел за хлебом с мешками, благо он стоил копейки, а ни комбикорм, ни просо, ни отруби до Скрипиц в ту пору не доезжали; этот товар рассасывался в Заполье — и только с черного хода тамошних магазинов.

Наша торговая точка затухла на рубеже реформ в годы всеобщего дефицита. Ираида в этот период уже не то чтобы торговала, а распределяла скорее пайки, полагавшиеся постоянно прописанным старикам. Приезжим продуктов не было. И хоть пайки были скудные, местное население приободрилось, впервые за все ударные пайлетки вдруг ощутив свое превосходство над москвичами-дачниками.

Когда кое-что, наконец, появилось в вольной продаже, магазин в Скрипицах уже не работал и Ираида уволилась. Водку — по паре бутылок на человека в месяц — централизованно отпускали в Заполье. В Скрипицы доставляли и продолжают возить только хлеб. Продают его непосредственно из фургона. Люди во вторник и пятницу — как на иголках. Ждут машину часов с десяти. Летом высыпают в дозор детей. «Едет!» — кричат по деревне. «Хлеб!» — голосят... Но он теперь, как известно, не дармовой, и скотину кормить им выходит себе дороже. Телятам, конечно, дают как лакомство, но и только.

Летом в деревне полно народу. К старикам наезжают дети со своими семьями, не говоря уж о дачниках. У тех и других домов ночуют «Москвичи» и «Жигули». Изредка появляются «Волги». Трещат мотоциклы. Однажды как-то мы видели иномарку. Стали заскакивать некие коммерсанты — из Муром, Заполья, даже из Навашина, — а это и вовсе Нижегородская область. И в кузовах, глядим, — сахар, мука, комбикорма, говядина и свинина свежих убоев. Вот подкатила к колоду «Волга»-универсал, откинулась задняя дверца, а там... мужские трусы, комбинации с кружевом, мыло, духи, зубные пасты, дезодоранты и репелленты от комаров. Веселый был торг. Дачницы чуть не при всем народе мерили лифчики.

Что же до бывшего магазина, так он еще не обрушился. Тяжко висит огромный замок. Но поленницу растащили, и вывеска оборвалась.

Деревня в плане похожа, я думаю, на разорванное посередине коромысло.

Наш верхний — восточный конец втыкается в поле. За полем кулисообразно одна за другую заходят короны старых сосновых посадок, облагороженные по опушкам попарно выросшими березами. Из глубин сюда вырывается крепенький можжевельник — мечта экологов. На песчаных грядах новых посадок сосны, распаханных лесничеством, иные кусты можжевельника выглядят юными кипарисами. Говорят, наличие можжевельника — признак благополучия атмосферы и почв.

К востоку и северу наши леса матереют. За буреломами и делянами вырубок — моховые болота, малинники, ельнички, далее — марсианские трассы высоковольток и дебри. От восточного окончания деревенского коромысла, если идти сквозь срединный пустырь по продолжению нашей единственной улицы, до западного конца Скрипиц расстояние около двух километров. Тот, нижний конец именуется галеркой. Из постоянных жителей там до недавних перемен круглогодично жили лишь Ираида и Сева. В остальные дома приезжали дачники. Галерка втянулась в смешанный лес с малиной, грибами и красной смородиной. Здесь более влажно, больше мух с комарами, поскольку к галерке притуляется скотный двор. Зимами на галерку повадился в прошлые годы парни-мотоциклисты. Искали у дачников водку, тащили из подполов банки с соленьями и вареньями. Выдрали мало-помалу электросчетчики — этот товар неплохо шел в Муроме на базаре.

Больше-то нечего было брать. Велосипеды и одеяла дачники увозили с собой, либо прятали так, что с ходу найти мудрено.

Какую-то из моторизованных шаек милиция все-таки подловила. В Заполье. Парней судили, пересажали. Но вот уже, сказывают, их сроки кончились. Жди, значит, снова. Не из этих ли и Витян со сверкающей фиксой? Бабушкин внук.

Наша мелкая география спутана, как бывает, с историей здешней жизни. Вернее, с историями. События потому что привязаны к местности. Скажем, у бывшей школы еще в позапрошлом году обосновалась пасака, и четыре десятка ульев обнесены сеткой-рабицей. Некто Рабиц, по-видимому, ее изобрел, но я не знаю, так ли оно. Не исключаю, что это не человек, а технологический прием. Пишу, как слышу: сетка «рабица». Пасечник — сам из Муром — последние два сезона живет в школьном доме и держит в ограде теленка.

Определил сюда пасеку недавний директор совхоза «Заполье», превративший этот совхоз в акционерное общество, о чем скажу дальше. Самого директора еще до нашего появления в Скрипицах лет шесть-семь назад перевели, или, как принято

было считать, перебросили в Заполье из соседнего крупного хозяйства. То хозяйство он вроде бы вывел из нищеты и даже прославил, выстроив там небывалый до-сель в районе кирпичный профилакторий с бассейном и баней. Для всех! Вот его, значит, и перебросили. Чтобы наладил дело в «Заполье». Тем более что он развелся с женой и вторично женился.

Директор впрягся и потянул из болота местного бегемота. Пасека в школьном оазисе — это одна из его новаций. И, кстати, на поле, что отделяет школьную территорию от Скрипиц, этот директор распорядился посеять гречиху. Гречиха цвела, на ней работали пчелы, при северных ветрах деревню овеивало сладким духом.

В самом Заполье при новом директоре переустроили бестолковый и грязный машинный двор. Техника выстроилась в ряды, у въезда возникли шлагбаум и проходная, и чуть не взвод алкашей-трактористов одновременно отправился в ЛТП. Вот это была сенсация! Что еще за дела? Народ возроптал. Бывало, что в середине дня любой водитель едет с тобой по твоим деревенским надобностям за бутылку-другую. Теперь же машину не выпустят без путевки. Не взята левака. А исхитришься — и засекут: тебе ничего, а водителю штраф, если же ездит поддавши, его отстраняют от техники... Но, как ни странно, многие механизаторы приняли этот порядок на ура, поскольку кончился произвол механика и бригадиров и упорядочилась зарплата.

Месяца за три недалеко от Скрипиц на бросовой пустоши встал асфальтовый заводик. Стройку осуществили азербайджанцы-беженцы. Тем же летом завод успел выдать первые порции черного варева, и в Заполье покрылись асфальтом две улицы, параллельные проходящему по центру шоссе. А то на них была непролазная после дождей разъезженная тракторами желтая глина.

Разумеется, сведущие в проблемах защиты среды московские дачники вскинулись и заявили протесты: завод-де травит природу. Но было поздно шуметь. Лично директор дачникам предьявил розу ветров, согласно которой весь главный дым от производства асфальта должен был распространяться на юго-восток, обтекая деревни. Сказано было еще, что всякую гадость задерживает лесок, расположенный по буграм между Скрипицами и заводом.

Проверить, однако, не удалось. Все быстро кануло, ибо... Ибо завод уже не шумит, не фурькает, не дымит, к нему не возят песок, а от него горячую массу.

Ибо в Заполье нет уже реформатора. Показался не гош, его и спихнули с руководящего кресла. Без бутылки, как говорится, не разобрать, кому персонально он не потрафил — над ним начальников было много, и все — матерые, местные, укорененные. Он же чужак. За пять-шесть лет своего пребывания на директорской должности он, насколько я знаю — а знаю немного, не вступил ни в родство, ни в свойство ни с кем из районных хозяев. Действовал без оглядки и никого не взял в долгу. Не пил вина, не матерился на людях, и сам был с рассвета в полном ажуре, выбритый до синевы, насмешливый, резкий. Вдобавок поставил себе в кабинете компьютер, уволил из штата чуть ли не половину совхозной администрации и затеял строить Дом быта из красного кирпича. Опять же с бассейном, спортзалом и баней. Еще нюанс: по паспорту русский, а фамилия — Краузе. Короче, многое в нем раздрало людей, привыкших жить, как жилось. Народ — мастер прозвищ, но тут, особо не изощряясь, прозвали Краузе — Немец. Немец — и точка.

Однажды я побывал у него в семь утра на приеме — представился, вручил визитную карточку и попросил помочь, во-первых, насчет кирпича, а во-вторых, разрешить распустить на совхозной пилораме на доски три кубометра сосны. Кирпич и доски мне требовались для собственной стройки: на задах плотники завершали баню. Предстояло складывать печь, а взять кирпич негде, только в хозяйстве Краузе, где его продавали своим работникам. То же и доски: у Краузе функционировала нормальная пилорама. Еще одна — маломощная — имелась в лесничестве, но там командовала такая пьянь, что общаться с ними было немыслимо.

То, что я журналист из Москвы, Краузе было неинтересно. Он был немногословен и вежлив. Впрочем, доброжелателен и без гонора. На моем заявлении он написал резолюцию для бухгалтерии, чтобы кирпич мне продали по цене, определенной на тот момент. Без скидки, полагавшейся рабочим совхоза, то бишь уже акционерного общества. А распустить на доски мой лес — это нет. Пилорама, сказал, так загружена, что люди записываются в очередь и пока заявок от граждан со стороны нет возможности принимать. Мол, извините, вы все же не погорелец... Но заходите, если еще что понадобится.

На том и расстались. Я внес деньги в кассу, получил накладную, затем мучительно отнимал кирпич у прорабы. Она встала стеной, явно саботируя распоряжения своего директора. Ну, она ненавидела москвичей, и в тот момент ей самой строили дом-бунгало недалеко от лесничества на престижной трассе с новым асфальтом. Это, впрочем, мои дела — и баня, и печь, и прорабша... А что касается Краузе,

так прошлой весной Тимофевна, зная мое отношение к директору-реформатору, не без ехидства сообщила очередную новость:

— Немца-то твоего сняли. Судить его будут.

— За что?

— Да уж есть за что. Сказывают, выстроил себе дом с бассейном. А технику всю распродал. Сколь веревочке ни виться...

Ну, я не поверил. Краузе мне показался порядочным человеком. И к осени та же самая Тимофевна оповестила меня, поджав губы:

— Немец-то вывернулся, вышло по его.

— Да ну?

— Вот тебе и ну! Суд его сторону взял. Еще и получит с совхоза шесть миллионов.

— Да не совхоз, Тимофевна. Уже два года — акционерное общество.

— А мы знаем? Нам все едино. Но только высудил немец себе миллионы, а Савушкин утерся.

Савушкин — новый директор в «Заполье», из местного инкубатора номенклатуры. Он уже перебивал на всех мыслимых должностях.

— Где же теперь-то Краузе?

— Сказывали, что в Муроме. Опять каким-то директором.

В хозяйстве с исчезновением «немца» все повернулось на старое. Механизаторы пьют среди дня, в полях желтеет сурепка, сено воруют. Пасека, правда, утвердилось, с нее начальство флагами возят мед. Но заводик, как уже сказано, не дымит. С него тащат, что поддается. Я и сам по наводке Васи Петерина вывез отсюда на своей тачке стекловаты. Этой стекловатой Петерины утеплили себе чердак и омшаник. Мне стекловата понадобилась, чтоб заткнуть крысиные дыры в подполе и кровтовые — на огороде.

Иногда разогнешься и думаешь, опершись на мотыгу. Думаю, например, о том, как получилось, что мы, бывая в деревне не сплошь, а наездами, близко узнали тут многих, совсем, казалось бы, посторонних людей — их семьи и судьбы.

Я в Скрипицах почти со всеми на «ты», хотя вообще не терплю панибратства. Водки не пью, она мне противна, тем не менее никогда не отказываюсь посидеть за стаканом сивухи в обществе, скажем, Князева Алексея Петровича. Замечательный, на мой взгляд, человек. Соль здешней земли. После кончины своей жены он живет бобылем в крайнем доме нашего порядка. Хозяйство содержит в норме, в комнате и на кухне все на местах, пол подметен, половики проветрены, в окнах пузырятся свежие занавески. Местные мужики все плотники, иначе нельзя — тут все искони деревянное, но Князев — плотник элитный. Из тех, что топорами выделывают кружева.

Внешность таких мужиков любил описывать А. М. Горький: рыжий, рот щучий, за ухом шишка жировика, а ухмыльнется да скажет слово, приспособившись к твоему пониманию, — и проступают порода, ум, сметливость.

В компании со своим сватом, ныне живущим в Заполье, — тот знаменитый печник, — Князев срубил и обустроил мне баню. Помогал женатый сын Князева. Ну, было время и для разговоров. Тогда я усек, что мы с Петровичем мыслим о жизни и людях, в сущности, одинаково. И все время о нем узнаю что-то новое.

На исходе минувшего лета мы с женой, идя из леса с грибами, подзадержались при входе в деревню, чтобы поздороваться с Князевым. Он мотыжил картошку, смахивая в ведро жуков. Постояли, полюбовались поленицами, которые Петрович возвел на задах своего огорода. Он из дров стену сложил, издала она выглядящая крепостной, нерушимой, полена к полону. На фоне этой стены, если смотреть с полевой дороги, пятнадцать его усадебных соток привлекали глаз своей упорядоченностью. Они были поделены на три маленьких поля. Одно под картошкой, второе — овес, третье — клеверное.

Мы подошли, поздоровались. Князев достал сигарету, хотя курить ему докторша не велела. Мы задымили.

Он с весны угадал, что в этом сезоне картошки будет, как здесь говорят, необеримо, то есть по горло и выше. Ну и устроил трехполку. Клевер с овсом поддержат почву, кроме того, от людей есть заказы, значит — живые деньги. Своей скотины у Князева нет — только куры, но ежегодно он сено косит на прилегающих пустошах, и из Заполья берут его сено.

Усадьбу он пашет лошадкой, которую водит от свата. Овес и клевер — мы видели — сеял он, как на картинке из хрестоматий: идя с лукошком по свежей пахоте. Но не в лаптях, конечно, а босиком.

В своей жизни Петрович многое видел. Достаточно и того, что несколько лет служит в ВОХРе, сопровождая эшелоны лагерников. Может быть, это в нем отложилось, придав угрюмость лицу. Загуляв на несколько дней, Князев любит кататься вокруг деревни на крепком дорожном велосипеде и на ходу поет во все горло самые популярные песни. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Петрович в

загуле ласков, сентиментален, насмешлив и разговорчив. Особенно тянет его разговаривать с дамами: ни одной не пропустит...

Еще к тому же. В Москве мы уже с четверть века живем в кооперативном доме, сложенном из панелей. Но до сих пор я едва знаком с соседями по лестничной клетке и мусоропроводу. Не говорю уж о тех, кто проживает в других этажах и подъездах. Не знаю их — и нет надобности. Кое-кто выводит гулять громадных собак. И на этих собак нельзя не смотреть, есть среди них достаточно нервные, а хозяйкам держать их трудно... Хозяева псов внимания не привлекают.

Ну, и я соседям в Москве не нужен. На всякий случай, бывает, здороваюсь, выходя из дома, и с незнакомыми: вдруг они тоже соседи, однако не знают, что я близорук, и сочтут, что я гордо жду их приветствий. В деревне, однако, не так.

В Скрипичах людям жизненно важно знать, что я за зверь. К примеру, где я и кем работаю или совсем уже вышел на пенсию. Важно, как раздобыл жердей на забор и стропила для бани — сам возил из лесу или Федька Петерин доставил мне их за бутылку; также — почему я купил у Краузе кирпичей. Еще: почему вот в летошний год у меня в сезон в доме жило до восьми человек с детьми и собаками, а ныне лишь я и жена крутимся на огороде и обихаживаем картошку. И прочее.

К черту подробности? Обобщать не могу, но в Скрипичах вся жизнь из подробностей. Какое мое, казалось бы, дело, до таких, например, персонажей с галерки, как бывший скотник Сева и бывшая магазинщица Ираида? Я и прежде их видел от случая к случаю, а после того, как они убыли в Муром, оставив за собой лишь дом с огородом на галерке, и вовсе... Но мне почему-то хочется знать, как они живы-здоровы, где там работает Севака, не бросил ли пить...

В отличие от темпераментной Ираиды он флегматичен. Осуществляя на скотном дворе бригадный подряд по договору с совхозом, он обихаживал более сотни бычков. При них кормился гнедой лошак — мерин Цыган. Этот Цыган был могуч, норовист, чуть прихрамывал. Многие брали его пахать усадьбы. Даже Петерины, у которых есть Федька с трактором, предпочитали Цыгана с плугом. Лошадь-то лучше.

Из Заполья дежурить на скотный двор приезжали на мотоциклах напарники Севы. Но они часто менялись, мелькали. А Сева всегда был на месте. Хоть трезвый, хоть выпивши. Если что, его можно было поднять и за полночь. Если что. Единственный молодой рукодельный мужик, он выручал. Ираида, правда, вопила, уставив ручки в крутые бока, что ее Севака — теленок, а у людей нету совести.

Но совесть — понятие неопределенное. Ираида орала, что, где была совесть, там вырос... Ну, многоточие. Что она ляпала, того бумага не стерпит.

Сева следил в Скрипичах за всем электрохозяйством — по совместительству. Отключался, допустим, ток, он брал пассатижи, ключи, моток изоляции, залезал на столбы, распаивал трансформаторный ящик... И вновь загорались три уличных фонаря, вновь в телевизорах проявлялись румяные лики Марий и ихних злодеев. Сева ходил и по избам.

Перед тем, как продать мне дом, бывшая хозяйка сдавала его на лето под пиццелок отряду мобилизованных на полевые работы студентов. Парни и девушки кашеварили, кормились за общим столом, а вечерами тут же крутили любовь. Деревня тревожилась: курят да пьют, жгут свет, врубают кипятильники... С общего приговора Сева на всякий пожарный случай обрезал ведущие с улицы провода. Мол, молодые управятся и в темноте.

И сразу же по приезду в Скрипичи я поканал на галерку, нашел там русоголового Севу — с чубиком, в комбинезоне и кирзовых сапогах. Он кивнул, что прибудет. После работы подъехал на мотоцикле, обул монтерские когти, взобрался на столб — и наши лампочки вспыхнули.

— Не зная, как здесь принято, я спросил, что должен за эту услугу.

— Ничего, — отвел глаза Сева.

— Как так? Вы же работали...

Я еще всех звал на «вы».

— Ничего, — повторил Сева и отступил.

Удивясь бескорыстию, я с чувством пожал его вяловатую сильную руку. Его глаза голубели, как полосы с тираной тельняшки.

— Тогда большое спасибо.

Узнав, как оно было, мой первый и основной в Скрипичах советчик сосед Павел Комонов категорически не одобрил меня. Укорил:

— Севака-то ждал, что ты стакан вынесешь. А ты — за спасибо!

Ну я, допустим, лопух. Ну замедленная реакция. А подсказать-то нельзя? Комонов сам же меня за Севой послал. Потом, видя Севу, я ощущал неловкость. Однако глупо было бы объясняться.

Случай реабилитироваться представился погода, когда мы с Васей Петериним взяли у Севы мерина на посадку картошки. Тариф был твердый: бутылка за лопашку, вторая — пахарю. И все пришло в равновесие.

Уже на финише своего бригадного подряда Сева мне удружил железную бочку, я ответил бутылкой «Столичной» московского розлива. Еще за бутылку того же Сева соорудил мне для бани десятиведерный ящик под холодную воду. Материал был его: сортовая сталь с вазовых весов. Сева разрезал лист автогеном, затем сварил металл по эскизу. Далее он предоставил мне отобрать два десятка толстых досок из кучи, привезенной к скотному двору для ремонта полов. А мне доски в баню нужны были — тоже для пола. Они обошлись в две бутылки «Перцовою».

Когда Ираида и Сева уехали, а бычков всех вывели в направлении на Заполье, народ приступил к операциям оголения опустевших строений. В последнюю очередь снимали шифер. Я не участвовал, не поспел.

А поминают Севу добром. Что он пил — так кто сегодня не пьет!

Возвращаясь к тому факту, что я — дачник, моя жена — дачница, дети и внуки, приехав в Скрипицы, также обретают этот статус и это название. Оно раздражает, как скрежет ножа по стеклу. Мы не дачники, а хозяйева деревенских домов. Дача — вроде пирожного после обеда, десерт. На дачах весь труд — отгонять комаров. Ну какие мы, прости, Господи, дачники!

Как до деревни доедем, станвится некогда и газеты прочесть, взятые для того из Москвы. В Москве-то тоже не успеваем. Ведь и московская жизнь, перелуговываясь с деревенской, стала совсем запыленная, невозможно сосредоточиться. В Москве беспокоишься о Скрипицах, в Скрипицах думаешь о московских делах, как бы чего не упустить. Тут и там вкальываешь до зигзагов в глазах. А промежутки — езда с пересадками... Повалишься вечером спать — в тяжелеющей голове смещаются призраки прохудившейся крыши, тающей поленицы, отваливающейся от дома верандочки и ползающих по картошке личинок колорадского жука.

Он давно уже не колорадский, а среднерусский. В сезон сменяются три поколения. Личинки, которых можно принять за клопов-мутантов, сжирая ботву, растут, как постельные клопы. Они не дают картошке зацвести и оставляют на поле скелетики некогда сильных растений.

Воздух в деревне, конечно, сладостный. В ясные ночи звезды сияют, как в планетарии. Когда цветет терн, то будто белые облака сидят на тихой земле, и аромат нежнее жасминового повевает по ветерку. Чуть позже терна яблони одеваются, как невесты... Все — чередой. В свой срок у опушек и по лесным прогалам краснеют в траве веселые ягоды земляники, чернику хоть гребнем чеши, затем обвалы малины, а уж грибы... О грибах можно сказать, какие, где, сколько, а то и у нас их повытопчут божьи. В последние годы особо настырные грибники из Москвы заезжают в наши леса под вечер. Жгут до рассвета костры, а поутру идут цепью, придерживаясь лесных дорог. И набирают корзины белых грибов, молодых подосиновых, моховиков, маслята, а ближе к концу сезона идет черный груздь, которого здесь именуют ряженкой. Говорить о грибах можно, в общем, до бесконечности. О том, какие случаи и чудеса. Однако же в деревенском режиме жизни — не до грибов. Только вовсе дряхлые бабушки да приезжающие с субботы до понедельника гости с детьми могут себе позволить уйти в леса на полдня. Хозяевам — некогда.

Для Тимофевны, к примеру, сбегать в лес часа на два — праздник. Дачник тоже связан в своем хозяйстве работой, какую никак нельзя пускать побоку.

Вообще содержать дом в деревне — это нужны железные нервы. Приезшему ничего не готово. В новокупленном доме в Скрипицах мы не обнаружили и кочерги. Пришлось его обустроить от нуля. Не говорю уж об огороде, как и о том, что сад по грудь зарос крапивой, малиной, пустырником и лопухами, а в крытом дворе громоздились останки обрушенного перекрытия с рубероидом и гвоздями, торчавшими из обломков стропил.

Так что ушами, дачник, не хлопай и погоди бежать в лес по ягоду. Сперва дровами обзаведись, горшками, электроплиткой и кипятильником, дверными замками и колуном, вбей крючки, чтоб повесить фуфайки, да подними упавший забор.

Не зевай и лови моменты. Если, конечно, живешь на зарплату, на пенсию и все приходится делать своими руками.

На исходе восьмидесятых годов многие, наслушавшись пророчеств и прогнозов, лихорадочно обретали старые избы в неперспективных, пустующих, вроде нашей, деревнях.

Затем как будто слегка опамятались. Годы шли, конец света отодвигался. Теперь уже позабылся опубликованный в «Новом мире» воистину ведьмовской рассказ Людмилы Петрушевской... Напомню: отец семейства увел свой выводок из городского кошмара на деревенские огороды, а с течением дней из обжитой деревни далее — в лес и болота, в землянку-блиндаж, маскируемую буреломом. Детали не

суть, излагаю, как помню... Семье осталось добыть оборонные средства и выставить во внешний мир пулеметное рыльце. Ибо и в дебрях объявились отряды насильников.

Лет триста назад на Руси в таких настроениях ждали Антихриста. Его воцарения. Но не случилось.

Теперь обвиняем друг друга в отсутствии оптимизма. Кое-кто справедливо сетует на короткую память старшего поколения. Ведь не найдешь, в самом деле, даже в домашних архивах, визиток с фотографиями, несколько лет назад удостоверявших личности москвичей. Военные карточки вспоминаем, а что было пятилетней раньше — заслонено монологами думцев, попов и так называемых патриотов.

Мелькнуло, как сон, то недолгое время, когда по всей России отделы кадров и ЖЭКи, профкомы, райкомы, завкомы, парткомы, организации книголюбов, райисполкомы и сельсоветы вручали по спискам талоны с печатями и пропуска в магазины. Чтобы люди могли там купить масло и водку, колготы и шапки, швейные машины и телевизоры. Недалеко от нашего дома в Москве, в Вешняковском универсаме новой постройки, я видел году в девяносто первом, кажется, летом, две бесконечные нервные очереди. Одну — за импортными зубными щетками, их покупали десятками штук, другую — за электрическими самоварами. В одни руки давали один самовар, и очередь злилась. Остальные прилавки универмага во всех этажах и секциях были трагически пусты.

Мы с женой дом в Скрипицах приобрели в расчете ездить сюда по грибы и по ягоду. Чтоб было, где ночевать. Вдобавок — недвижимость! И по средствам. К этому времени общедоступные лесные угодья, расположенные — по нашему направлению железной дороги — ближе к Москве, отчетливо истощились. И деревни были раскуплены, а что оставалось, то не по нашим деньгам.

Присмотрели дом, торговались с хозяйкой, жившей уже давно в Муроме, оформили в сельсовете сделку — еще о ней расскажу — и под Рождество завезли в Скрипицы машину утвари, старой мебели и барахла. Особое было мероприятие, вроде рождественской сказки с благополучным концом, но и это другой рассказ... Укореняться в деревне начали по весне.

Теперь мне кажется иногда, что мы просто влипли. Как Братец Кролик влип в Смоляное Чучелко. Сам он отлипнуть не мог, как известно. Ему повезло, что в той истории был и второй дурак — Братец Лис. А здесь все односторонне и однозначно. Внутренний голос твердит, что нам не вырваться из объятий деревни. Новый сосед, с полгода назад откупивший дом покойного Павла Алексеича Комонова, обнадежил: «Похоже, нам с тобой тут держаться уже до финиша».

Мужчина он жилистый, бодрый, рукастый. Хваткий такой. В Скрипицы заехал он со второй женой, она предпенсионных лет. У них квартира в Москве, а подмосковную дачу он отдал сыну и снохе... Но на устройство в деревне нужны настоящие деньги, и вот он в Москве устроился подработать в какой-то коммерческий центр. Работает и жена. Он, видимо, прав насчет финиша, но, как я понял, в Скрипицах соседи наши будут нескоро.

Обозревая общее положение, видим и без статистики, что какой-то процент новых дачников уже исхитрился продать свою недвижимость и выручить за нее миллионы, тем подтвердив правоту теоретиков рыночной экономики. Люди, стало быть, сохранили и приумножили личные накопления... Менее оборотистые, утомясь нескладухой, побросали «фазенды» на произвол. Третьи — нас большинство, но кто считал? — приладились к упряжи и потихонечку тянут воз, находя в этом даже и удовольствие. Руки просили работы — они ее получили.

Растим картошку да свеклу, чеснок и редьку-дайкон. Солим грибы. Производим варенье. Кто твердо на пенсии, заводит курей и козу. А смородина — это у всех, также и молодые яблони, сливы, вишни, кусты облепихи и — что там еще? Смотри газету «6 соток».

По мне коза — это инопланетное существо, черт с рогами. Но жена вспоминает все чаще, как более полувека назад в войну они с мамой, будучи в ближней эвакуации, держали в какой-то деревне свою козу. И та коза давала жирное замечательно сладкое молоко. Холодею при мысли, что, как только рухнет ее НИИ и жена с концами уйдет на заслуженный отдых, так и купит козочку. Пока же нам и не до цыплят.

Однако что далеко ходить! В Скрипицах бывший шофер-дальнобойщик Аркадий с супругой Сэдой уже три года лелеют козу и кроликов. Кроликов под зиму режут. Козу переводят к соседям. А бывший слесарь-инструментальщик из Люберец Митя-пенсионер года три и зимовал в деревне с отарой овец, курами, козами, кроликами. Когда его подворье сгорело вместе со всей этой живностью и пенсионного тоже возраста «Запорожцем», Митя не отступил. Отстроил летнее помещение, архитектурой напоминающее капитальную голубятню, получил — на правах погорельца — сколько-то кубометров леса и досок и помаленьку рубит избу. От работы

он черный, у него запредельное кровяное давление. Но воля — железная. Сам из Скрипиц не уйдет. Не отлепится.

Мы, деревенские дачники, как я думаю, вкупе с владельцами огородно-садовых участков уже подпираем сельское производство России. Хотя статистика не врубилась и никак не освоит наши показатели. Правда, хлебов не растим и не держим коров.

На шестисоточников поглядываем чуть свысока. Не потому, что лучше хозяйствуем. А потому, что они, получившие от властей удобные земли и неудобья, живут, как привычно советскому человеку, то есть солидными неразъемными коллективами, волей-неволей кося глазами в огородные парнички и сортиры друг друга. Есть там свои начальники. Мы же — вольнее, и каждый себе господин. Врастаем в исконное, посконное, оно же сермяжное бытие российской деревни и норовим равняться с крестьянами. Другой вопрос, у кого что из этого получается.

В начале минувшего года, походя, не в торжественной обстановке, я получил в сельсовете свидетельство о собственности на землю. Оно временное, но имеет настоящую силу как юридический документ. Такие же грамоты выданы всем соседям — прописанным постоянно и дачникам.

Никто из местных, насколько знаю, значения этим свидетельствам не придал. Они и без них давно считают своей землю личного пользования.

А дачники несколько возбудились.

Шесть лет назад в сельсовете в Заполье я передал из рук в руки тысячу рублей бывшей хозяйке дома в Скрипицах и еще тысячу бывшему хозяину. Они были в разводе, и при оформлении купчей им полагались равные доли. За движением купюр следили четыре пары свидетельских глаз. Чтоб без обмана.

Когда я рядился с хозяйкой, сошлись мы с ней на цене две тысячи восемьсот, но она просила указать в документах две тысячи, а восемьсот добавить ей после. Дескать, бывший ее супруг — пьянчуга и спустит все до копейки в компании своей новой жены, у которой живет в Заполье. Они, дескать, вместе пьют. А у нее, у бывшей хозяйки, в Муроме трое внуков, она сама живет в доме зятя. Я побывал там, пока мы решали дело, видел внучат, хозяйкину дочку-учительницу и суетливого зятя. А бывшего ее благоверного узрел впервые лишь в сельсовете, куда его привели, протрезвив и заставив приодеться. Его знали в Заполье как печника и безоглядного пьяницу. Знали и то, что он оставил Скрипицы и бросил семью лет шесть или семь назад, а позавчера на шоссе разбил по пьянке свой мотоцикл и чудом остался цел. Он был в шевииотовом пиджаке, при галстукe и робел, не зная, куда пристроить могучие клешневатые руки.

Так что бывшая хозяйка, по существу, была в своем праве.

Я ей додал восемьсот рублей, и она повела меня от сельсовета в контору совхоза, а там представила главному инженеру. Под ее диктовку было составлено мной «Заявление»: прошу, мол, пятнадцать сотых гектара земли под дом, огород и усадьбу. Так у них полагалось. Главный начертал резолюцию и выдал мне отпечатанный на машинке бланк. Это был договор. В нем значилось, что арендная плата за выше-названное угодье — полтонны картофеля в год.

Тут я смутился. Полтонны?.. Но моя проводница по канцеляриям заусмехалась. Сроду никто никакой картошки не сдавал, сказала она. Все так подписывают. Все-таки я обратился к главному инженеру. Он отмахнулся: если, сказал, не будет картошки, выйдете на пару дней на работы — уборку либо сенокос. Вы или кто из ваших домашних. Проблем, в общем, нет.

Бывшая хозяйка моргнула мне, чтоб подписывал, а попозже сказала, что сроду никто из дачников не выходил ни на какие работы. Проформа.

Таким образом подтвердилось, что социализм, конечно — учет, но это учет различных филькиных грамот. Учет для отчетов по показателям. А основа всего — круговая порука.

Кстати, редактор, сидящий во мне, до сих пор топорщит усы в связи с тем, что в нашей округе и в обиходе и в документах усадьбами называют земли, расположенные вне домов, садов, огородов и занимаемые, в основном, под картошку. Усадьба может находиться за полкилометра от места жительства хозяина.

Я открыл словарь В. И. Даля. Прочел: «Усадьба — господский дом на селе, со всеми ужожами, садом, огородом и пр.». Не удовлетворившись, взглянул в словарь современного русского языка. Там то же значение. К нему, однако, добавлено и второе: «Усадьба — земельный участок отдельного хозяйства». Это ближе к делу...

Года три назад руководимый директором Краузе совхоз «Заполье» был чуть не первым в районе преобразован в акционерное общество того же названия. При этом разделился на несколько юридически независимых ТОО: гравийный карьер, молочную ферму, откормочник. Стали ТООми бывшие отделения. Рабочим совхо-

за, тем паче пенсионерам все эти новшества были до фени. Контора на месте, начальство — без перемен, стало быть, и совхоз остался чем был, как его ни назови.

Никто тогда не усек, что все усадьбы бывший совхоз при перемене титула передал сельсовету, то есть, как полагалось, местной власти. В ее верховное ведение.

Сельсовет же — бесправный, безгласный и безответственный — не фантазируя, постарался избавиться от непривычных хлопот. Когда в районе размножили бланки «Временных свидетельств», то в сельсовете немедля их и заполнили, таким образом осуществив приватизацию угодий.

На это, естественно, первыми среагировали просвещенные дачники. В отличие от условно грамотных деревенских механизаторов и пенсионеров следящие за появлением указов, законов и распоряжений горожане поторопились прижать документы к сердцам и попрыгать в шкатулки. Землевладельцами стали.

В Заполье в сельсовете учетчица, полистав разграфленную тетрадь, спросила: — Сколько берете земли? У вас пятнадцать соток.

— А сколько можно? — дерзнул я спросить, в свою очередь.

— Да хоть гектар...

Дают — бери, бьют — беги, и я, недолго подумав, выпалил:

— Двадцать пять соток!

Учетчица тотчас вписала к себе в тетрадь, а затем на пустое место в свидетельстве: «0,25 (двадцать пять) сотых гектара».

Двигаясь в свое время с востока на запад, американские колонисты столбили прерии Дикого Запада. Теснили индейцев, били бизонов. Но во Владимирской области земли обжиты издревле. Столбов на них, правда, мало: по большей части они изгнили, и лишь старожилы помнят пределы полей и усадеб. В Скрипицах считают, что в нашем порядке от уличных палисадников до полевой дороги, что на задах, к каждому дому примыкает по тридцать соток. А за дорогой земля казенная.

Надо бы мне записать в свидетельство тридцать. Тогда без проблем — все мое до самой дороги. Но слово не воробей. И не знаю теперь, где — точно — моя граница. В общем, на севере, не доходя до полевой дороги, а слева и справа, как скажут соседи. Но Комонов, обессилев, не стал когда-то платить поземельный налог и отказался от своей усадьбы, а новый сосед... Забываю спросить, взял ли он землю. Зато Петерины-неуклонно, неряшливо поджимают меня. Каждой осенью Федька припахивает по полметра. Определенной межи-то нет, а лишь тракторные колеи между их и моим картофельными участками.

Когда-нибудь совершится и здесь надлежащее землемерение. Явятся межи и поземельные планы. Перевычислят и налоги. Пока отбирали в казну ежегодный рубль с каждой сотки. Это смешно. Скажи подмосковному дачнику — не поверит.

На свидетельствах есть печати и подписи. То, что эти бумаги временные, значения, повторю, не имеет. Мы тоже временные. Кому знать, сколько чего отмерено деревенскому дачнику? Вообще человеку надо три метра земли. Сто лет назад об этом напомнил Л. Н. Толстой.

Однако Ясная Поляна располагала полями, лугами, парком, лесом, оврагами, и Лев Николаевич как-то, помимо того, купил в Заволжье сколько-то верст дикой полевой степи. Потом он вроде их продал... Но это уже не относится к теме.

Добираюсь до пункта «Что делать?». То есть что все-таки делать с землей, оставшейся скромному дачнику, не расположенному торговать продуктами сада и огорода?

Проблема сия меня занимает и даже тревожит. А вот для моей жены ее нет. Видимо, потому, что у нее крестьянские корни. Ее мама, она была мне прекрасной тещей — мир ее праху, упокоенному на Николо-Архангельском кладбище, — родом была из черноземной орловской глубинки. Так что деревню жена понимает с детства. Этим и объясняются некоторые особенности ее поведения в Скрипицах. Так, видя пространства поля, поросшего чем попало, жена начинает нервничать и понуждает меня возделывать землю — пахать ее и чего-то высаживать. Под нажимом беру лопату, мотыгу, грабли, копаю твердь и формирую грядки и клумбы. Покупаем и возим в Скрипицы какие-то саженцы. До настоящих-то клумб, правда, мы еще не дошли — на это времени нет, но я уверен, что будут пионы и георгины. Ирисы уже есть, также — календула, купы садовых ромашек, смородина, хилый крыжовник, Melissa. Об огороде нечего и говорить, а на усадьбе, конечно, картошка. Единственное послабление, на которое согласилась жена, — оставить дальнюю половину усадьбы под травы для сенокоса.

Хотя зачем нам сено? Нужно его не больше двух-трех охапок, чтоб на зиму в подполе укрывать урожаи картошки.

Жена, слава Господу, все еще служит в НИИ. Не академик она, не доктор наук, но все-таки кандидат и старший научный сотрудник. Продолжает ответственно вкалывать за себя и ученых парней, поминутно ездящих в заграничные командировки. По нынешним временам неразумно бросать работу, пока тебя ценят и любят. Пусть институт часто не платит зарплату. Однако есть пенсии — и существуем. Тем более что я, в свою очередь, ухитрюсь кое-что делать для потерявшего тиражи, но все еще уважаемого журнала. Этот журнал, поддерживаемый благодетелем Соросом, время от времени поощряет меня гонорарами. Иначе бы на какие шиши мы в Скрипицах поставили себе баньку и покупали, к примеру, дрова?

Ну, все это к слову. Мало ли что у кого в семье...

А вот траву на нашей усадьбе (и далее до дороги) неукоснительно косят Петерины. Оно сложилось само, и это, я думаю, справедливо, поскольку у них корова, теленок и овцы.

Для нас последнее лето выдалось трудным. Многого мы с женой не рассчитали и сами себе навешали тягот.

Огород размахали такой, что картошку пришлось отодвинуть. Оттеснили ее кабачки, тыквы, патиссоны, американский сладкий горох и фасоль. По периметру возделанной земли встали вместо ограды три ряда подсолнухов, прикрыв наши грядки от забредавшего мимоходом скота Петериных и от северных ветров.

В июне, июле, августе не пролилось ни одного путевого дождика. Грозовые тучи ходили вокруг Скрипиц хороводами, и народ, глядя на небо, матерился: деревню нашу будто заколдовало. При отягчающих обстоятельствах засухи удалось поливать огород лишь раз в неделю по выходным. В рабочие дни вырваться из Москвы мы не могли по причинам вполне объективным. Я — по своим, жена — по своим. К примеру, как раз весной у них в институте начался небывалый аврал, поскольку явился левый заказ из Швейцарии. Фирма пообещала платить валютой, и — какие еще огороды?!

Ни дочь, ни сын со своими семьями этим летом в Скрипицы выехать не могли. Также работы по горло...

Впрочем, к концу июля жена, заработав несколько долларов, все-таки вырвалась в отпуск. Но в деревню прибыла не одна, а с выводком наших внучат. Их трое: старшей внучке шесть лет, младшему внуку — два, среднему — четыре года. Это был, скажу вам, десант спецназовцев, выпущенных из казармы.

На основной огород за раз уходило ведер по тридцать воды из колодца, а картошку, фасоль, патиссоны, тыквы, кабачки, подсолнухи и кукурузу, отделявшую огородный участок от усадебного, я за все лето ни разу не оросил. Мы полагали: все высохнет. И, надо сказать, у многих дачников вышло.

А у нас, как ни странно, все в свои сроки вылезло из земли, пошло в рост и в конце концов уродилось. Видимо, потому, что мы внедрились новую агротехнику.

Жена любит делать все по науке. Позапрошлой осенью накупила пособий, пропагандирующих американский опыт Митлайдера. Перелистав — с отвращением — эти брошюры, я уяснил, что господин Митлайдер рекомендует узкие грядки, а между ними очень широкие проходы-проезды. И еще: велит вносить в грядки общедоступную минералку, в принципе отрицающую навоз.

Лично я увидел за этим свое: надо меньше копать. И стал поборником прогресса.

Весной жене, как уже сказано, было не до деревни, и я, на свой риск, занялся перепланировкой плантации, вместо того чтобы писать журнальные очерки. Завез из Москвы пуда полтора комплексного удобрения «Урожай», занял культурные земли просторными междурядьями, и получилось все «в полмитлайдера». Имею в виду, что сам господин Митлайдер, глянув на это, слег бы с инфарктом.

А вышло неслабо. Только клубника засохла.

Зато картошка на грядках взошла куда лучше, чем в бороздах у соседей; на неделю раньше и зацвела, хотя сажали одновременно. Фасоль, которую побросали в борозды наудачу — в предыдущее лето она вообще не взошла, — распустилась так, что не дала развернуться ни лебеду, ни «березке». Березкой у нас зовут огородную повилику, всегда готовую придушить все живое-зеленое. Крепко встали морковка, свекла, озимый чеснок и яровой лук. Под паутинной пленкой встопорчились огурцы. И — чего никогда не бывало — на солнышке зарумянились помидоры, опухла початками кукуруза, а подсолнухи позолотили ландшафт, обещая воз семечек.

А есть еще сад. Изначально в саду, кроме одичавшей смородины и джунглей малины, были четыре старых дуллистых яблони. Одну из них пришлось сразу выкорчевать, ибо она развалилась надвое и разлеглась на полсада, так что к нижним сукам привились побеги терна. Но после того, как я вычистил сад, три остальные неистово зацвели и взорвались три года назад урожаем. Примерно то же — последним летом. Однако в засуху яблони не могли удержать созревающие плоды. И в ав-

густе чуть не каждое утро мы собирали с земли по корзине опавших яблок. Пришлось их разделять и сушить во дворе и на низких крышах.

В сентябре мы с женой замерли перед фактом: налицо два мешка свеклы и два — моркови; полмешка лука, который еще сушить и сушить; полтора ведра чеснока (сушить!); четыре мешка кабачков и тыкв; два десятка трехлитровых банок с солеными помидорами и огурцами; литров двадцать пять замороженных в холодильнике и соленых грибов; варенье всех видов в больших и маленьких банках... Отборной картошки набрали семнадцать с гаком мешков.

Глядя на это, мистер Митлайдер бы преисполнился гордости, отнеся успех на счет своей агротехники.

Но я-то знал, что, в сущности, он ни при чем, а это лишь новое испытание, посланное мне Господом за легкомыслие.

Что было делать-то с урожаем?..

В Москву не свезешь. Во-первых, машина встанет дороже, чем все эти овощи. Во-вторых, где хранить их в Москве?

Картошку, впрочем, можно, как в прошлые годы, устроить на зиму в подполе. В яму ее заложить, утеплить. Не будет долгих сплошных морозов, не раздербанят крысы, так дождет до весны.

В те зимы я ездил за ней в деревню примерно раз в месяц, на пару то с сыном, то с зятем, а раза два и с женой. Выберешь ее из укрытой кучи в мешок, привяжешь мешок к детским саночкам — и вперед сквозь снега к железной дороге. Туда-сюда двое суток. Время тем более было такое, что без картошки, казалось, не выжить. Да и билеты дешевые. Теперь же — ого! За такие деньги можно картошку в Москве покупать не в магазине, так на базаре; и ехать за ней не надо.

А остальное? В подполе не укроешь — померзнет. Разве что сколотить большой ящик, обить — опять же от крыс — железом, в ящик насыпать песок и туда поместить часть морковки и свеклы, а тыквы снести к Петеринным в хату, пусть половину скормят скотине, зато половина продержится. Если в ихнем тепле не сгниет.

Впервые в голову вдруг пришло, что хорошо бы на месте продать большую часть урожая.

Должны же делать свой бизнес какие-нибудь коммерсанты-заготовители-перекупщики овощей! Или не рынок у нас? И почему не видно кооператоров? Они «загот», они и «потреб»... Проехались бы в гости к дачникам, растопыренным над плодами сезонных трудов, как отмененные реформами Знаки качества. У нас — без нитратов, без фитофторы. Продадим семенное и пищевое — купите!

Однако в наших местах воспитанные Советской властью дельцы все еще ждут, судя по всему, каких-нибудь разрядков и фондов. Озираются. Выбивают дотации. В Заполье пустуют прилавки трех магазинов. Суя свой нос куда не положено, мимоходом я приставал к продавцам: почему нет гречки, сыра, колбасы, сигарет, вообще товара, нужного гражданам? Слышал в ответ: потому что товар не поступает. Один магазин закрылся; нечем, мол, торговать.

Это в наше-то время?..

Углубив в подполе яму, подсыпав песку, я выстлал ее еловым лапничком. На лапник мы с женой в октябре высыпали картофель. В ноябре укрыли картошку ветошью, снова лапником, а лапник — огромным количеством сена. На сено — пустые мешки и на них — опять лапник, взятый в лесу. А по краям этой кучи я набросал можжевельник. Чтоб грызунам было колко. Кроме того, говорят, у крыс от смолы слипаются шерстка. Не любят они...

В прошлом году весной я выбросил ведер десять картошки, испорченной в подполе крысами.

Обсудив перемены и перспективы, мы с женой решили в текущую зиму не ездить в Скрипицы, пусть вся картошка лежит до весны. Пора становиться дачниками не по названию. Годы-то все быстрее идут. Пока уже сделать глубокий выдох. Расслабиться надо.

Сократим огород, займемся садом и саженцами: они плоховато растут. Пора усовершенствовать «туалет» — глаза б на него не глядели — и перестроить веранду. Мало ли дел, которые нам под силу, особенно если кого-то нанять...

А ездить зимой за картошкой в Скрипицы уже ни к чему. Разыгрался радикулит. Среди ночи жена просыпается, включает свет, читает газету, поскольку — бессонница. Плохо.

Хватит — накувыркались.

Прошлой зимой в феврале сын и я едва продрались сквозь снег. К поезду вышли, взопревши. На санках у нас был мешок картошки и кое-что в рюкзаках. Сыну — за тридцать, и сам он отец семейства. Но как его не воспитывать? По застарелой привычке морализировать я заметил:

— Ну, вот. Попотели, зато мы с картошкой.

— Знаешь, папа,— услышал в ответ,— это, по-моему, мазохизм.

Кормя семью, сын уже работал, как конь, в Москве. И ныне работает так. Поездки в деревню исключены.

Но я упрявился и к исходу зимы рискнул предпринять означенное путешествие в одиночку. Хотя техника безопасности против таких сюжетов.

Уже была весна света. Мышцы радовались, и я взвеселился, довольно быстро достигнув с картошкой развилки на половине дистанции. Оттуда идти уже по шоссе. Но выйдя на трассу, я осознал, что на асфальте давно нет снега. И на обочинах нет — он растаял. Зато есть песок, который всю зиму трудолюбиво сыпали наперекор гололедам. И впереди еще километра четыре.

Кому досталось хоть раз таскать в детских саночках груз по песчаной дороге, тот понимает, что я имею в виду.

Небо было ультрамариновое. Солнце слепило. Из-под встречных машин выстреливали фонтанчики камешков и песка.

Я поспел к поезду, находясь уже в предынфарктном, казалось мне, состоянии. Впрочем, был горд собой, примерно как Федор Конюхов, достигший Южного полюса. Преодолею. Допер... Мокрый, естественно, был, как из сауны.

А впереди по платформе старик в очках, лыжной шапочке, куртке и кирзовых сапогах волок на таких же санках пару мешков с картошкой.

Посторонние люди ему помогли перевалить мешки снизу через подножку в вагонный тамбур. Гвозди бы делать из дачников! Не было б крепче.

Гвозди, оно, конечно. Тем более приступ радикулита прошел и бодрило воспоминание о вышеуказанном старце.

Глупо идти в магазин за картошкой, когда есть своя. Может быть, в ящике не замерзли морковка и свекла. Может, возьмем тыкву у Тимофевны. Снега пока еще мало. Не обязательно ехать через Заполье. И одолели ли крысы хвойный барьер?

— Я еду с тобой, — неумолимо сказала жена. — Налаживай санки.

Это в Москве снегу мало, а там — по колено, и он нетронуто бел. Дым поднимался из двух-трех труб... Мы загрузили на санки и в рюкзаки мешка полтора картошки и овощей и без особенных приключений доставили это добро в Москву недели за две до Нового года.

А в самый канун новогодия, когда украшали елочку, по телефону вдруг позвонил деревенский новый сосед, полковник, отставной морской летчик.

— Огорчу тебя, — сказал он. — Пришла телеграмма. В деревне вскрыты дома, где сейчас нет хозяев. И мой дом, и ваш. Сбиты замки, поломаны двери.

Ну — это обухом в лоб! Нависало давно, но опустился топор внезапно. Мы год за годом слушали разговоры: в деревне, в электричке, в Москве. Там-то и так-то, мол, грабят дачные дома. Да и на деревенской галерке, сказано, повывидирали электросчетчики... На нашем верхнем конце Скрипиц было спокойно. Покойный Комонов незадолго до смерти сказал мне:

— Воры тебя охраняют...

Он и Василию Петерину не доверял.

Ну, в общем-то мы размагнитились. Перестали даже возить взад-вперед свою старенькую магнитоу. На зиму велосипед оставили в доме, не захотелось его тащить к Тимофевне.

А позвонил сосед — и принялись вспоминать, что там было и чего уже, по всей видимости, не досчитаемся. Все — драгоценно: валенки, куртки, фуфайки, резиновые сапоги, постели с бельем, самовар, опрыскиватель, кипятильник, электрофонарик, половики... Инструмент... Спальный мешок... Раскладушки... А лазали гады в подпол? Небось оставили настезь, и, значит, померзла картошка.

Вот книг, наверно, не взяли. Книги-то им на что?

Представляя такую картину, я ощущал, что зверею. Продам все как есть. Продам, и мы выручим свои деньги. Деньги — в банк, а летом купим путевки в Турцию.

Жена, конечно, загоревала. А дети, те просто бросились на меня: как это так — распоститься с деревней?! С ума, что ли, папочка, спятил?

В праздник они приехали, елочку засветили. Но для меня весь праздник пошел насмарку.

Полковник опять позвонил к Рождеству. Ответственно доложил, что кто-то из дачников побывал в Скрипицах и уточнил параметры происшествия. По данным милиции, трое проехали ночью по нескольким деревням. Искали иконы. Замки во всех домах пошибали, все двери пооткрывали, к кому-то влезли в окно. Рылись в вещах... Малоценного барахла, однако, не брали — ни одеял, ни консервов. Остались даже велосипеды и телевизоры.

Стало быть, не свои и не шпана из Заполья. Гастролеры. Но, впрочем, странно: какие иконы у дачников?..

— Когда поедешь в деревню? — спросил полковник. — Надо бы вместе.

— Ужо, — сказал я. — Возможно, в субботу.

— Еду и я, — сказала жена. — Хоть картошки оттуда возьмем.

Январь, 9б.

Вячеслав КУРИЦЫН

Жды два равно

Александр Жолковский недавно пошутил насчет редактора одного толстого журнала, который так часто апеллировал к «нашему читателю» (нашему читателю это не нужно, наш читатель этого не поймет), что можно было подумать, будто читатель сидит у редактора в шкафу и с ним можно в любой момент проконсультироваться. Помню, в свое время такие же шутки ходили в Свердловске про редакцию «Урала», только вместо шкафа в них фигурировал телефон, по которому «уральцы» могли связываться со своим читателем и выяснять, чего ему, собственно, зануде такому, надо (причем мерещился телефон без цифр, прямой такой, специальный телефон, или с гладким лбом вместо набиралки, или, может, с каким даже гербом). Читатель неизменно отвечал, что хочет здоровой традиции, безусловной нравственной чистоты и гармонической ясности.

И вот на этого самого читателя редакция «Урала», ни на секунду не переставая придерживаясь принципов гармонической ясности, периодически вываливала совершенно дикую словесность, предназначенную или для эстетов, или (что, в общем, синоним) извращенцев. Видимо, так создается фон, на котором еще прозрачнее и светлее выглядит гармоническая ясность, но, так или иначе, именно со страниц «Урала» грянули в толстую печать орды авангардистов-постмодернистов, а позже именно здесь появился немислимый в другом ежемесечнике эротический роман Андрея Матвеева (еще позже — еще более эротическое сочинение уральского классика Николая Никонова, писавшего ранее про лес, про природу да про войну). Любопытно, что чувствовал при этом свой читатель, замкнутый в красной коробке телефона без цифр.

Странная это вещь — телефон без наборного диска. Сними трубку и обнаружишь на том конце некое очень маркированное лицо, которое, кажется, только и ждет, только для того и существует, чтобы ты снял трубку. Будто и впрямь живет внутри аппарата.

Но не более ли странная вещь — телефон с наборным диском? Вряд ли до конца можно поверить, что все так именно и происходит — ты набираешь/нажимаешь несколько цифр, всего только глупых цифр, а имеешь взамен целый голос как бы настоящего, живого человека. И как это несправедливо: ошибившись всего в одной цифре, попасть совсем в другую судьбу. Когда-то в «Урале» герой рассказа Игоря Богданова «И прочая жизнь» звонил девушке — трамвайному контролеру по номеру талона-билетика: попал правильно.

А теперь в «Урале» номер три за текущий год Александр Верников сообщает читателю, что $2 \times 2 = 4$, $3 \times 3 = 9$, но при этом:

$7 \times 3 = 3$, $8 \times 3 = 6$, $9 \times 3 = 9$, $4 \times 4 = 7$, $5 \times 4 = 2$, $6 \times 4 = 6$, $7 \times 4 = 1$, $8 \times 4 = 5$, $9 \times 4 = 9$, $2 \times 5 = 1$, $3 \times 5 = 6$, $4 \times 5 = 2$, $5 \times 5 = 7$, $6 \times 5 = 3$, $7 \times 5 = 8$, $8 \times 5 = 4$, $8 \times 6 = 3$, $7 \times 6 = 6$, $6 \times 6 = 9$, $5 \times 6 = 3$, $4 \times 7 = 1$, $2 \times 8 = 7$, $3 \times 8 = 6$, $4 \times 8 = 5$, $7 \times 8 = 2$, $8 \times 8 = 1$, $9 \times 8 = 9$, $9 \times 9 = 9$, $8 \times 9 = 9$, $7 \times 9 = 9$, $6 \times 9 = 9$, $5 \times 9 = 9$, $4 \times 9 = 9$, $3 \times 9 = 9$, $2 \times 9 = 9$, $1 \times 9 = 9$.

Все цифры перемножены друг с другом с надлежащей аккуратностью и заключены в симпатичную таблицу: собственно, простую таблицу умножения, очень похожую на школьную эвклидову, только в большинстве случаев результат перемножения оказывается другой. С этой таблицы и начинается обширное, листов на шесть, изложение, поименованное «БЕССЧЕТНАЯ ЖИЗНЬ. Занимательная арифметика, или Арифметика просветления».

Итак, известный прозаик написал арифметику. Литература, совсем ошалевшая от пертурбаций, как связанных с изменением ее социально-духовного статуса, так и не очень связанных, уж и не знает, какой себе выбрать объект. Ничего особо удивительного мы с вами в этом не обнаружим. Во-первых, сегодня, как мы уже уста-

навливали, самая интересная литература живет в областях якобы прикладных и маргинальных: в выпуске нашей рубрики за номером пять мы писали о жанре дневника, в номере семь — о ресторанный критике, а далее в наших планах порассуждать о политической журналистике, и обо всем этом — не как о маргиналиях, а как о «переднем крае» отечественной словесности, как о сегодняшнем состоянии той протяженности, что имеет где-то в себе Пушкина, Фета и Владимира Ленина.

Во-вторых, случались хронотопы, в которых гуманитарное и естественное, научное и художественное не горели особым желанием разделяться. Аристотель писал о физике, метафизике, о числах, о рождении, частях и передвижении животных в порядке единой литературной деятельности. Лукреций Кар изъяснял природу вещей стихами. Леонардо рассуждал «О языках свиней и телят в колбасах: о, какая грязь, когда видно будет, что одно животное держит язык в зад у другого!». Не очень придет в голову (тем паче в язык) понимать, что это — философия или изящная словесность? Или своего рода чертеж вертолета? Так что естественнее успокоиться на том, что и арифметика с математикой, и поэзия с «Жизнью насекомых» являются одним и тем же — ПИСЬМЕННОСТЬЮ.

У Верникова письменность интересная.

Начинается она, как уже было сказано, с арифметической таблицы, вернее, с двух таблиц. Одна умножения, вторая сложения. Строчки второй выглядят так: $1+2+3+4+5+6+7+8=9$. Арифметическая операция, обеспечивающая такие, не самые тривиальные результаты, вполне проста (как и полагается базовой арифметической операции): в тех случаях, когда результат пифагорейского сложения или умножения становится двузначным ($8 \times 7 = 56$, $8+7=15$), элементы двусложного числа складываются между собой, пока не получится односложное ($8 \times 7 = 56 = 5+6 = 11 = 1+1 = 2$, $8+7=15 = 1+5 = 6$). Идеология этой операции прямо-таки брызжет скромностью, деликатностью, метафизической учтивостью: «Мы пытаемся не уходить тотчас от однозначных и простых чисел, едва бросив на них первый взгляд, толком не разобравшись с ними, мы не стремимся скорее прийти к большим величинам, не гонимся с места в карьер за величием...» Как знать, может быть, эта самоотверженная готовность отказать от погони за величинами, столь целомудренно бросающая вызов шелудивому веку, и растопила сердце читателя «Урала»? Как. Знать.

Один из первых сюжетов, рассматриваемых Верниковым, визуальность получившейся таблицы, визуальность словесности. Изрядное количество страниц посвящается взгляду, путешествующему по таблице умножения — вверх-вниз, слева направо, от элемента к элементу: где именно и почему взгляду суждено споткнуться или изменить интенсивность, или изменить направление движения? «Есть ничем не стесненная возможность перескочить, перенаправить внимание на другое, любое место таблицы, ведь всюду цифры, одни только, одни и те же цифры! Встает вопрос выбора: в какое именно? Или, точнее, в какое цифрово?»

Визуальность письменности волновала, например, русских концептуалистов, во многом сделавших свою карьеру на проблеме «является ли текст картинкой». В строгой словесности эта проблема преломляется в эстетике «визуальной поэзии» (смотри об этом большую подборку в «НЛО» № 16), в играх с расположением текста (колонки Деррида или, скажем, пирамидки в «Месяце в Дахау» Сорокина), в желании обеспечить нетекстуальное бытование текста (опыты Л. Рубинштейна). Верников, обозревая некоторое количество возможных операций с таблицей-в-зрении, сводит их в итоге к медитации, к погружению в зрение по поводу орнамента: так опийный путешественник всматривается в узоры арабского, как и цифры, ковра. Между прочим, что касается арабов, Верников смолodu утверждал себя как писателя мистического, периодически находя этому тезису сильные подтверждения. Скажем, в начале девяностых он написал повесть «Зяблицев, художник», где изобразил тип современного творца искусства, обращающегося действительностью, а через пять лет на свердловском политическом небосклоне взошла звезда нового политика Евгения Зяблицева, быстро ставшего депутатом Госдумы. И когда Верников обратился в «Зяблицев-фонд» с тем, что предсказал его появление, Зяблицев назначил Верникову довольно значительную по писательским меркам стипендию.

Так вот, после упомянутой и достаточно убедительной психосоматически, но литературно тупиковой «свертки» Верников заново разворачивает ковер. В текущие культурно-социальные смыслы. Механизм работы с ними часто одинаков: интерес к выпускаемой обычно из виду внешности, поверхности, очевидности, буквальности (цифральности) явлений, но тематическая щедрость обеспечивает этому довольно длинному повествованию изрядный беллетризм.

Вот зачин только из узора такой развертки — чтобы вы сами почувствовали, как много может выжать из узора такая письменность. Сообщение: «С 1 января миллион человек умерло в Эфиопии от голода, вызванного неурожаем из-за сильнейшей за последние 100 лет засухи, сообщает агентство Рейтер». Анализом коротких газетных (или рекламных) синтагм убедительно занимался в свое время Сергей Зен-

кин (рубрика «Глоссы» в «Независимой газете»), следуя технологии «Мифологий» Ролана Барта (только что, кстати, эта книга в переводе Зенкина вышла в России). Какой-либо малозначительный (как бы малозначительный) факт речевой деятельности расшифровывался как манифестация той или иной ментальной установки, системы космогонических и культурных представлений. Сообщение «Ъ» о том, что госпожа такая-то на какой-то дорожной машине столкнулась с, допустим, КАМАЗом, толковалось Зенкиным как противояствие блестящей амазонки чему-то заскорузло-хтоническому, косности космоса (я воспроизвожу этот пример по памяти, стараясь воссоздать не концепцию Зенкина, а дискурс). Верников эффектно преломляет эту традицию, заменяя анализ ментальностей на неожиданно brutalный «буквальный», телесный, фактурный подход.

Попытаемся представить себе в арифметической последовательности эту «гору трупов» или попытаемся «увидеть» ряд тех могил, или «групповых захоронений», или, кто поотважнее, может попытаться хотя бы схематически нарисовать миллион холмиков с крестиками (ведь эфиопы, если помните, христиане). Стоп, стоп! Прикинем сперва в уме, сколько бумаги, рисовальных средств и, главное, времени для этого понадобится: та-ак, допустим, беря по максимуму, я проживу 90 лет (ведь в нашей-то стране нет голода!), в 1 году, беря в среднем, 365 дней, умножаем 90 на 365 — в уме или столбиком на бумаге? — получаем 32 850 дней. Что — и всего-то? Но эта цифра явно несопоставима с миллионом. Сколько холмиков с крестами (получается изображение красных креста и полумесяца, только слегка перевернутое), изображая их самым схематичным образом, смогу я нарисовать за день, нет, сначала за минуту? Стоп, а сколько минут в сутках? 24 часа, в час по 60 минут, значит, 24×60 — та-ак, ровно 1440 (заметим, в сумме это число дает, конечно, цифру 9). Т. е., рисуя в минуту по могиле с крестом, за сутки я получу их вот такое количество. Но ведь я могу рисовать и значительно быстрее — скажем, чтобы рука не очень уставала, по 30 или по 20 за минуту. Но я ведь не буду рисовать это круглыми сутками, во-первых, мне потребуются перерывы на еду, на отдых, на отправление так называемых естественных потребностей, на сон, если я даже не буду заниматься ничем другим. Я ведь еще хожу на работу! Что, мне придется уволиться? Но кто тогда станет давать мне деньги и содержать меня для занятий такой «ерундой», ясно ведь, что никому не придет в голову сравнить меня за этим занятием с Микеланджело, распи-сывающим Сикстинскую капеллу, или, что звучит поближе и, как говорится, погорячее, с Гоголем, пишущим свои «Мертвые души»? Кто же станет снабжать меня деньгами, даже если мне при этих занятиях понадобится минимум, или я сам обрекаю себя на ГОЛОДНУЮ смерть?! (Встряну на секунду: такого рода МОЛИТВА, такое самоотверженное ПОМИНАНИЕ мертвых эфиопов — собственноручно нарисованная могила или собственноручно вылепленная и поставленная свечка — есть, конечно, ничуть не менее духопорождающая и духораздирающая деятельность, нежели сочинение романа или малевание капеллы, так что на нее вполне можно дать даже и очень большой, так скажем, грант; с другой стороны, сам порыв столь чист, что, кажется, вознаграждение к нему и не прилипнет, такое высокое служение вполне достойно закончить себя голодной смертью.— **В.К.**) При учете всего этого вполне может статься, что всей жизни не хватит для изображения, даже предельно схематичного, могил этих несчастных эфиопов! Но я ведь просто могу сосчитать до миллиона или в уме, или опять же на бумаге. Не взять и написать число 1 000 000 (один миллион), а, начав с единицы, пройти все числа до 1 000 000, т. е. 1, 2, 3, 4, ну, и т. д. Однако будет ли это быстрее, чем рисовать всегда одни и те же бугорки и крестики? Вряд ли, скорее даже наоборот, если представить, например, такое число, как 869 577! И ведь сколько внимания мне потребуется, чтобы не перепутать, не сбить числовые порядки! /.../ В конце концов, если мне уж зачем-то хочется испытать сострадание, прикоснуться, стать хоть каким-то образом причастным к этой африканской трагедии — а иначе, спрашивается, зачем я вообще имею и слушаю радио? — то я могу сосредоточиться и хорошенько представить одного мертвого эфиопа: женщину? мужчину? старика или ребенка? Попытаться увидеть, как разлагается его плоть, как мухи ползают по его гниющему или засыхающему, спекающемуся на тропическом солнце мясу, как обнажаются его кости (кстати, какого они цвета у черных людей, у негров?)...» И так, так сказать, далее.

Такой тактильно-натуралистический подход не отвергает возможности появления «чисто» культурологических построений. Цифры и любовь, любовь к деньгам, как любовь к числам, анализ русских и английских детских стихов-считалочек, может ли быть воспетый Вертинским «альфонс по призванию» по второму призванию математиком, а не музыкантом-поэтом, проблемы первых петухов, второго экземпляра, третьего лишнего, четвертой четверти, пятого колеса, шестого чувства, седьмого неба, восьмого чуда света и девятого вала, номера на одежде заключенных и хоккеистов, документы-мокументы, книга Гиннеса, карты-марты, рулетки-мулетки, Святая Троица, пронумерованные монархи и многое другое, имеющее от-

ношение к повседневному счислению, не ускользывает из поля зрения нашего пытливого автора, сколь бы он ни делал вид, что это поле зрения ограничено бахромой арабского ковра. Собственно культурологический аспект всех таких построений мог быть выражен и почетче (если не сказать, поинтеллектуальнее), но для «Бессчетной жизни» важнее другое. Во всяком случае, для меня в ней важнее другое.

Во-первых, очень, как мне представляется, ценное ($9+9=9$) стремление не отпугать от себя ни одной абстракции, не подумав хотя бы в полмысли о возможности ее натурализации: миллион эфиопов — так давайте найдем способ адекватного переваривания информации. Фактически любое современное информационное сообщение (и, кстати, большинство художественных сообщений: чем являются выставки концептуалистов и постконцептуалистов как не приглашениями к выстраиванию концепции?) при внимательном в него всматривании обнаружит очень сложную кодировку. В частности, окажется, что оно делает очень и очень размашистое допущение, предполагая в нас способность работы с такими понятиями, как миллион мертвых эфиопов, обычный стиральный порошок или готовность к компромиссам во имя гражданского мира (на самом-то деле компромиссы нужны тем же политикам не ради гражданского мира, а ради обеспечения собственного стабильного положения в завтрашней политической системе: но опять же, что есть гражданский мир, если не сумма таких стабильностей?).

Во-вторых, сочинение органично вписывается в как раз ныне набирающий силу в России процесс артикуляции множественности метафизик. Сломана Большая-Советская-Метафизика. Не без веселья, но и не без невроза прожито время постмодернистской аметафизичности (см. выпуск нашей рубрики в № 5). Сейчас, кажется, общество ощущает потребность в идеологии типа «нового консерватизма» или «постпостмодернизма», когда человек имеет возможность отдаться той или иной метафизике с головой (религии, наркотикам, социо-эзотерическим практикам типа астрологии), но общество при этом не будет опасаться возобновления модернистского террора со стороны тотального субъекта, ибо легитимирована смена метафизик. Потерявший веру (коммунистическую, православную, страшно сказать — даже профессиональную или социальную, что, кажется, сегодня сильнее религии и идеологии) не оказывается в «духовном вакууме», а может выбрать другую веру. Для этого мир должен быть набит метафизиками, как Библия — буквами.

Заново осмыслить (вполне традиционную, аж от Пифагора) метафизичность чисел — дело лакомое. Одним из самых ярких событий прошлого художественного сезона в Москве мне представляется акция Геннадия Йозефовичуса, который, будучи приглашен банком «Диалог» записать своим голосом текст для линии телефонного общения с клиентами (один... пять... март... четверг... нажмите звездочку... введите код... неправильный код... введите пароль... повторите ввод...), предложил композитору Антону Батагову написать на этот текст музыку. Получилось великолепно «бытующий» объект: произведение искусства и одновременно реклама (без отношений предшествования: обычно реклама снимается «как искусство» или готовая, скажем, картина суется в рекламу), текст которого написали не рекламщики, а сам объект рекламирования, то бишь банк. Но сегодня я чуть-чуть о другом: этот мир банковских операций, чисел то есть, и хитрых способов отношений между числами предстает в подобном сочинении как некое высшее пространство, живущее по своим магическим законам, к которому мы можем только тянуть свои руки и голоса.

Да и деньги, живущие в пластиковой карточке, вещь удивительно сильная: наша судьба (цивилизованная судьба на ужасающий процент доверена банковскому счету) решается не нами, не людьми, а какими-то недоступными нашему пониманию процессами внутри куска пластмассы.

Р. С. Я имею к сочинению А. Верникова некоторое количество композиционных и математических претензий (в том числе и изрядных: принципы построения таблицы умножения часто никак не связаны с кусками «про жизнь», где речь о цифрах «вообще», а не о цифрах из данной арифметики), но им не суждено было попасть в сегодняшний текст. Известное дело: со времен Белинского русские критики пишут не о литературе, а об идеологии. Конечно, идеология интереснее.



Бессмертная исповедь

●
Юрий Нагибин. Дневник. М., «Книжный сад», 1995.

●

Пожизненная книга, создававшаяся на протяжении всей жизни. Последняя книга писателя. Роковая книга. Или — читаемая книга, уже кровно нам необходимая, хранимая в памяти, бессмертная!

Это настагает как озарение, когда понятным становится то, что дневник Нагибин писал не для нас, не для современников. Важно понимать «Дневник» как человеческую исповедь. Но каковы масштабы этой исповеди? Я поразился, узнав, какую громадную и как бы тайную жизнь Нагибин прожил в прозе. Поразило, как рано начинает он писать, что в первых записях — не судорога дневниковая, а пронзительная в образах и чистая, ясная по языку проза. Начинается дневник войной. Смертные зимние бои вокруг Ленинграда. Мерзлые трупы лошадей — все, что осталось от апокалипсиса, ледник. Затравленный страхом офицерик где-то при штабе, в глухой сонливой норе. Пишет, чтобы не сойти с ума, пытается отдавать отчет о каждом прожитом дне. Такое вот начало. Когда обрывается дневниковая запись — это уже восьмидесятые годы, — то рукой старика — не жалкого офицерика, а великопленного благополучного писателя — будет так же мучительно все кончено, оборвано.

Но тут и происходит чудо. Когда обрывается жизнь Нагибина и его путь светский в литературе, тогда и рождается другая личность, другой путь, то есть проза другая, его «Дневник»: мощное прозаическое произведение, которое существует в громадном, именно историческом контексте... Когда я начал читать «Дневник», то вспомнил поневоле факт из биографии Солженицына, как он попал в лагерь. Он ведь написал другу с фронта, где смело высказался о войне, о Сталине, и это письмо, перехваченное СМЕРШем, изменило всю его судьбу, да и судьбу русской литературы. Но что было бы с Нагиби-

ным, открылся его дневник, попади он в лагерь? Я отвечаю неожиданно, однако мне эта мысль очень важна: не было бы книги этой, не было б «Дневника»!

Тот факт, что вел он свои записи непрерывно, скрыто, создавая все годы жизни единый массив прозы, главный для него потому, что в него входило все то, чем он и жил, чего не мог не писать, по сути-то есть соединение судьбы с талантом, которое «от Бога», тогда как у беллетриста Нагибина, любимого советским читателем, мастерство есть, но судьбы нет. Повторяю, это вещь о времени. Пытаясь осознать происходящее, беспощадно добываясь от себя правды, Нагибин так раскрыл, выразил то время, в котором жил, что оно-то и оказалось ясней его запутавшейся, порой озлобленной души: страдаая от бессилия, но и не имея такой веры, убеждений, мужества, чтобы бороться, герой человеческий «Дневника» не становится мучеником из XX века, потому что страдания его лишены святости, но «миллионом терзаний» разоблачает этот жестокий, железный век.

Теперь в русской прозе есть две таких равно мощных книги, выстраданных жизнью писателя в литературе, но непостижимо выходящих за ее, литературы, пределы и создающих, быть может, национального масштаба тему, каковой была тема лагерная, тема деревенская: «Бодался теленок с дубом», «Дневник». Тут снова сходятся имена Солженицына и Нагибина. «У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того разломом семейной жизни, того разорением или испоконной, невылазной нищетой, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя совесть еще горше расцарапает грудь изнутри».

Так, в первых же строках своей книги пишет Александр Солженицын, предрекая уже его, Нагибина, книгу: «расцарапает грудь изнутри»!

Солженицын берет на себя ответственность за историю. Вся глубина терзаний Нагибина происходит из того беспощадного понимания, что ему не дано проповедовать, как если бы он проклятый был, обречен так вот жить, в глухой сонливой норе, отравленный страхом, безверием. Поэтому с таким трепетом глядит на Солже-

нищина первая запись в дневнике — «явился мессия, пророк!».

Но слабость его, страх, даже трепет — такие же человеческие, что и вера, мужество, с которыми писал, проповедовал Солженицын. Лагерный узник, тот страдал свое право проповедовать, как пришлось и Нагибину мучиться за благополучие свое, за свой страх, а потом идти на исповедь. Тут и Солженицын был ему упреком. Но вот прозу, «Дневник», уже не упрекнешь; я ничего пронзительней не читал, никакая другая книга не объяснила мне так этого времени, до дна, как если бы и не заглянул в пропасть, а ткнулся в тупое холодное дно. Он ведь ее написал, нашел силу-то написать! И в том, что решился опубликовать «Дневник» прижизненно, вижу не попытку «оказаться впереди всех», а порыв его освободить душу, побороть громаду страха. В этой схватке, а это была уже схватка со смертью, Юрий Нагибин и побеждает.

Олег ПАВЛОВ

Законы жанра

●
Сергей Гандлевский. Праздник. СПб., «Пушкинский фонд», 1995.

●
Тезис. Гандлевский — поэт определенного, сугубо конкретного времени и поколения, один из тех, кто в глухие семидесятые прошел все круги непризнания и тихой самообороны. Для него всегда было важно общение с друзьями-поэтами, ощущение себя в компании стихотворцев, понимающих друг друга с полуслова. Ироническая цитата — основа стилистической манеры Гандлевского, Кибирова, Пригова, Рубинштейна и других авторов нашумевшего в свое время альманаха «Личное дело». Веселое расставание с прошлым, «приручение» идеологом и словесных клише — главное их открытие. К понятиям «Отечество, предание, геройство» (первая строка посвященного Пригову стихотворения Гандлевского) и им подобным можно и необходимо относиться только остроенно. Время борьбы с призраками прошло, «поколение дворников и сторожей» (Б. Г.) выбирает

иное. Химеры превратились в слова, слова, слова, в них можно играть, как в детские кубики. «Я сам из поколения сторожей», — признается Сергей Гандлевский.

Антитезис. Гандлевский одинок. Биографические контексты и стилистические параллели могут скорее отдалить и отделить от понимания его стихов. Ирония Гандлевского не бездонна, за нею — строгое отношение к традиции. Главный ориентир поэта — классическая русская лирика, цитаты и центыны — не самоцель, а лишь продуманная ловушка для невзыскательного читателя, воспитанного на концептуалистской поэтике. Гандлевский деконструирует не отжившие догмы советского официоза, но стремительно набравшие популярность стандартные приемы доморощенного соцарта. Игра в слова не гарантирует успеха, на дворе опять новое тысячелетие: поиски подлинности, возвращение к отечеству, преданию и геройству.

«Праздник» — нечто среднее между «очередным» поэтическим сборником и полным собранием сочинений. Если корпус стихотворений предыдущего сборника («Рассказ», 1989) представить в виде круга, то легко увидеть: новая книга — не что иное, как концентрическая окружность большего радиуса. Среди известных стихотворений помещены новые, однако они не выделены, как это нередко бывает, в специальный раздел, призванный удостоверить наступление «нового этапа творчества». Пунктир местами превратился в сплошную линию, заполненными оказались смысловые лакуны, многое дополнительно разъяснено, подтверждено свежими примерами. Можно с немалой долей уверенности предположить, что и будущие стихи найдут свое место не за пределами нынешней книги, но естественным образом впишутся в нее, добавят новые оттенки и обертоны в однажды и навсегда родившийся лирический космос. Гандлевский — поэт одной темы, одной бесконечной книги, и этим оправдана его сравнительно невысокая «продуктивность». Два-три стихотворения в год, однако их смысловая весомость многократно возрастает в силовом поле написанного и опубликованного прежде.

Тема Гандлевского проста: соотношение биографии и жизни одного отдельно взятого человека. Есть перечень анкетных данных, записей в трудовой книжке:

Дай Бог памяти вспомнить работы мои,
 Дать отчет обстоятельный в очерке сжатом.
 Перво-наперво следует лагерь МЭИ,
 Я работал тогда пионерским вожатым..

Есть также навсегда врезавшиеся в память приметы времени: классический настенный коврик с изображением оленьей охоты, самолет ТУ-104, кубик Рубика... Жизнь до последних своих глубин и тайн предопределена подробностями, но к ним несводима. Каким же образом из «объективных» фактов биографии складывается жизнь, в какие моменты и почему наступает вдруг «самосуд неожиданной зрелости»? Ответ незамысловат: жизнь «складывается» всегда, нужно только видеть за деревьями лес, понимать, что наряду с круговым ходом секундной стрелки в любом отрезке человеческого существования присутствует пульс судьбы. Отсюда вытекают две важнейшие особенности поэтики Гандлевского. Первая: поводом для написания стихов никогда или почти никогда не служит озарение, вызванное переломным моментом взросления, прекрасным пейзажем или только что прочитанной книгой. Поэзия может нахлынуть в любую секунду, ее способна пробудить ничтожнейшая бытовая частность. Вторая: лирика Гандлевского тяготеет к повествовательности, к рассказу о том, что уже состоялось и нуждается лишь в связном изложении, а вовсе не рождается здесь и теперь, по мановению музы. Миг бытового времени по мере рассказа становится соизмеримым с масштабом судьбы, а итоговая сентенция нередко не имеет ничего общего с исходным пунктом рассуждений:

Скрипит? А ты лоскут газеты
Сложи в старательный квадрат
И приспособь, чтоб дверца эта
Не отворялась невпопад.
Порхает в каменном колодце
Невзрачный городской снежок.
Все, вроде бы, но остается
Последний небольшой должок.
Еще осталось человеку
Припомнить все, чего он не,
Дорогой, например, в аптеку
В пульсирующей тишине.
И, стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликование зла
Без зла, не потому что добрый,
А потому что жизнь прошла.

Так значит — очередное «разрушение эстетики»? Значит, вокруг нет ничего специально прекрасного и возвышенного, а стихи вырастают из бытовых банальностей, сводятся к бескрылому физиологическому очерку?

А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод — так это тебя
обманули, —

провоцирует Гандлевский. Но ведь именно в его многочисленнейших афоризмах, отточенных (нередко императивных) словесных формулах преодолевается беспорядочность обыденных событий, фикси-

руется переход от биографии к судьбе («Грудна не боль, однообразье боли», «Спору нет, память мучает, но и она Умирает — и к этому можно привыкнуть» и т. д. и т. п.).

Герой Гандлевского — беспутный бродяга, сторож-маргинал, рассеянный дачник — наделен поэтическим даром. Однако имя этому дару — не вдохновение, не причастность к высотам духа, а простая способность к рассказыванию. Речь течет словно бы сама по себе: «Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью». Единственное отличие поэтической речи от вязнущей в мелочах болтовни — способность если не гармонизировать, то попросту объяснить и упорядочить жизнь. Именно в стихах, в насыщенном отточенными афоризмами рассказывании «Тарабарщина варварской жизни моей Обрела простоту регулярного парка».

Бесчисленные реминисценции в стихах Гандлевского имеют к «центонной поэзии» весьма отдаленное отношение. Цитата из классического стихотворения не переводит жизнь целиком в плоскость «интертекста», где возможны любые словесные игрища. Смысл однажды описанного в стихах события бережно сохраняется вопреки кажущемуся стилистическому разнообразию:

Как видишь, нет примет особых:
Аптека, очередь, фонарь
Под глазом бабы. Всюду гарь.
Рабочие в пунцовых робах
Дорогу много лет подряд
Мостят, ломают, матерят.

Все ясно: живи еще хоть четверть века, безысходность жизни на улице «Орджоникидзержинского» никуда не денется, поистине «Все будет так, исхода нет» (стихотворение, замечу, датировано 1980 годом). Блоковская ситуация снижена и обытовлена, однако осталась сама собою. Классическая цитата у Гандлевского сохраняет свой исконный смысл даже в самой парадоксальной осовремененной редакции («Когда волнуется желтеющее пиво» или «Алкоголизм, хоть имя дико...»).

Вспомним: джойсовский дублинец Леопольд Блум не перестает быть легендарным Одиссеем, несмотря на всю свою заурядность и пошлость. Золотой век позади, однако мифологический ключ к вечности присутствует и в веке Железном. Художник обязан разглядеть «сквозь» ничтожные дела современников их вечный прообраз — великие деяния богов и героев. Только в этом случае можно надеяться, что стершиеся от многократного употребления слова («отечество, предание, геройство») обретут свой истинный смысл. Разумеется, Гандлевский избегает изощренной символики. Миф о вечном возвращении от биографии к судьбе оста-

ется за кадром, просто страдающий без курева дачник вдруг думает: «Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять...»

Спору нет, Гандлевский чрезвычайно чуток к новейшим поэтическим формам. И все же, отказавшись поначалу от многих неколебимых устоев классической русской лирики, поэт окольным путем возвращается к истокам традиции, отставляет «Законы жанра, поприще мое». Поэзия — осмысление жизни, даже в пограничной ситуации Железного века, когда, по Георгию Иванову, стихотворец бесслен «Соединить в создании одном Прекрасного разрозненные части».

Рецензировать поэтические сборники нынче не модно. Удивляться тут нечему: нелегко ориентироваться в ворохе графоманской рифмованной продукции, да и в калейдоскопе разнообразнейших школ и группировок тоже. «Тихие» поэты не слышат «громких», «метаметафористы» знать не желают «концептуалистов», и наоборот. «Праздник» Сергея Гандлевского — редкий пример книги, задуманной и написанной «поверх барьеров». Здесь поистине сошлось многое: внимание к классике и нервные ритмы конца столетия, «прекрасная ясность» слога и изысканная непростота смысла. Гора с горою сходятся: в стихах Гандлевского на равных правах присутствуют сформулированные в начале рецензии тезис и анти-тезис. Впрочем, для меня, конечно, важнее второе.

Дмитрий БАК

Тысячи способов портить книги

●

Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. Предисловие, составление, перевод и примечания С. А. Ромашко. М., «Медиум», 1996.

●

Эссе с несколько пижонским названием, давшее имя всему сборнику, — один из самых известных текстов Вальтера Беньямина и один, может быть, из самых знаковых трактатов об искусстве, написанных в завершающемся столетии. У нас

эта работа публиковалась и ранее («Кинноведческие записки», 1988, № 2, перевод М. Боровиковой и Г. Красновой), и с тех пор ее очень любят цитировать газетные рецензенты, пишущие о фотографии.

Это достаточно краткое эссе, написанное в середине тридцатых, указало на несколько очень сильных дыял новейшей культуры концептов, причем сделало это в манере, не совсем привычной для своего времени. Беньямин указал на СПОСОБЫ БЫТОВАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ произведения искусства как не на что-то дополнительное по отношению к его главному смыслу, а как на то, едва ли не важнейшее, что мы вообще можем о произведении сказать. Ныне такой взгляд не просто распространен, а стал уже общим местом. Шестьдесят лет назад такое понимание отработывалось в художественной практике, но еще не пропитало теорию. Сегодня тезисы Беньямина кажутся довольно простыми, но стоит помнить, что их простота для нашего уха обеспечена чередой повторений текста, Беньямином во многом и инициированного. Он пишет о том, что, когда становится менее важной категория оригинала (у кинофильма нет оригинала — все копии равноправны), это радикально меняет ситуацию в мире вообще, в том числе отношения человека с Богом, своего рода референтом оригинальности. Что совершенно новой является ситуация, когда автор перестает быть редкостью: «Нет, пожалуй, ни одного вовлеченного в трудовой процесс европейца, у которого в принципе не было бы возможности опубликовать где-нибудь информацию о своем профессиональном опыте, жалобы или сообщение о событии», в то время как раньше автор был существом уникальным. С другой стороны, с развитием технических средств каждый человек имеет шанс стать персонажем, например, кинохроники.

Появление кино перемешивает представления о «чистой реальности»: «На съемочной площадке кинотехника настолько глубоко вторгается в действительность, что ее чистый, освобожденный от чужеродного тела техники вид достижим как результат особой процедуры, а именно: съемки с помощью специально установленной камеры и монтажа с другими съемками того же рода». Человек эпохи кино начинает по-другому себя видеть: «...если вполне обычно, что в нашем сознании, пусть в самых грубых чертах, есть представление о человеческой походке, то сознанию определено ничего не известно о позе, занимаемой людьми в какую-либо долю шага...» Он поднимает любопытную тему о том, что технические искусства особо удачно фиксируют движения массы и тем как бы подталкивают жизнь сосредоточиваться на массо-

видных действиях. Он выдвигает тревожный тезис о том, что фашизм эстетизирует политику, а эстетизация политики практически конгруэнтна войне... Словом, он обозначает большое количество острых и перспективных тем, дальнейшее развитие которых известно уже из работ позднейших исследователей. Мотивы из «Произведения искусства в эпоху...» звучат даже в совсем недавних и еще не вышедших окончательно из моды работах Вирилио и Бодрийера, посвященных войне в Персидском заливе. Сам же Беньямин большинство тем только затрагивает, очень редко дает им серьезное концептуальное развитие и не имеет места и времени погружать их в пространство эффектных примеров. Словом, знаменитую статью ныне читать достаточно скучно: может быть, она относится к разряду тех классических исследований, которые полностью «перекрывают» последователями и представляют сегодня скорее интерес «Литературного памятника».

Однако большинство остальных представленных в книге работ не покрыты в отличие от титульного текста гляncем, патиной и прочими затормаживающими восприятие вещами. Тут дело в чем: сам вопрос о кризисе оригинала, поставленный в любой форме, изменяет оптику зрения. Если есть проблемы с объективирующим началом, всякое обобщающее высказывание начинает звучать неловко. Интерес автоматически начинает переноситься на частности, на уникальностеединичности, которые не обладают объясняющей-объективирующей силой, но помогают обозначить какой-нибудь «след», описать конкретный сюжет. Роль детали в истории людей и идей.

Потому работа «Краткая история фотографии», которая рассматривается комментатором как подготовительная по отношению к «Произведению искусства...», выглядит гораздо интереснее последней, ибо занята не обобщениями (уже известными), а конкретным опытом (всегда уникальным). Скажем, такая история: многие ранние фотосъемки проходили на кладбищах, ибо — в связи со слабой светочувствительностью пластины, требовавшей долгой выдержки, — нужно было найти место, где фотограф и модель могли бы спокойно и надолго застыть в, так сказать, процессе. Вот факт, легко чреватый и культурологическими рассуждениями, и художественным сюжетом.

Потому на одном дыхании читается очерк «Париж, столица девятнадцатого века». Рассуждения Беньямина очень конкретны и касаются внятных пластических форм. Например, появление в тридцатых — сороковых годах крытых пассажей автор очень сжато описывает с социаль-

ной, инженерно-промышленной и эстетической точек зрения.

Потому энциклопедический очерк о Гете начинается с рассуждений о том, что он любил жить в больших городах. Из этого психологического наблюдения вытекает едва ли не вся творческая судьба поэта...

Увы, и от этих сюжетов остается некоторое разочарование. Беньямин не настолько эффектен и «борзописен», чтобы они казались упругой журналистикой, а в длинном, микроскопическом, подробном культурологическом анализе автор себе отказывает. Он мог вытянуть из каждого абзаца статью, из каждой статьи книгу, но, видимо, его талант не предполагал философической скрупулезности.

Зато в том случае, когда Беньямин сочтает свою ловкость в построении многомерных концептов с откровенно ХУДОЖЕСТВЕННЫМ письмом, мы имеем эффект удивительный. Речь о работе «Москва», написанной Беньямином по заказу М. Бубера и примыкающей к «Московскому дневнику» (другому знаменитому его тексту, о котором, кстати, написал специальную работу Жак Деррида; она у нас напечатана в книге «Деррида в Москве»). Это очень пластичное, живое повествование, наполненное роскошными наблюдениями, кратким и увлекательным их анализом и замечательным лирическим порывом. В этом тексте очень красиво и уверенно живет то, что иногда называют «воздухом эпохи». «Даже на рабочем месте каждый словно окружен пестрыми плакатами, заклинающими аварии. На одном из них изображено, как рука рабочего попадает между спицами приводного колеса, на другом — как пьяный рабочий вызывает короткое замыкание и взрыв, на третьем — как колено рабочего попадает между движущимися частями машины. В библиотеке красноармейцев висит доска, на которой короткий текст со множеством замечательных рисунков объясняет, как много способов портить книги существует на свете. В сотнях тысяч экземпляров по всей России распространены плакат, посвященный введению метрической системы мер, принятой в Европе. Метр, литр, килограмм должны быть выставлены на обозрение в каждой столовой...»

На этом тексте вдохновение снизошло и на переводчика: переведена «Москва» очень художественно. Вообще же С. Ромашко хочется попенять: в предисловии мыслям слишком просторно, а комментариям слишком скромно.

Егор СТРЕШНЕВ

История из подполья

●

Ева Титус. Великий мышинный детектив с Бейкер-стрит. М., «Букмэн», 1995.

●

Странные памятники ставят писателям в нашем родимом отечестве.

То изваяют памятник Пушкину и, написав на постаменте, что поэт в свой жестокий век восславил свободу и потому долго будет любезен читателям, окружат подножие мемориальной цепью.

То соорудят фигуру Грибоедова и украсят ее чуть ли не по подолу, словно декоративным узором, малыми фигурками персонажей, среди них найдется место и оскорбленному Молчалину, и озобоченному домашними делами Фамусову, и остроумному Скалозубу, слова которого вечно толкуют превратно и плоско,— всем им, не понятым критиками и оболганным школьными учителями.

То выставят победительного Гоголя в крылатке и ниже впечатают в камень тяжелыми буквами: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза».

Только ли это дань времени? Новые памятники не лучше старых. Взгляните: вот дедушка Крылов, рассеявшийся среди своих аллегорических героев, будто в уголке Дурова.

А между тем, пусть нам оно непривычно, бывают памятники, которые не стремятся стать превыше пирамид, а тем более Александрийского столпа. И так выходит при понимании, что всякий памятник — память и символ смирения, о чем мы по российской привычке склонны забывать.

«Посвящается Адриану М. Конан Дойлю в смиренной надежде, что эта книга послужит девочкам и мальчикам мостом к самому Шерлоку Холмсу»,— скромно проставлено на чистой странице. Пусть это не великая книга, да это и не важно. И так же не важно, что это не детектив, хотя Шерлок Холмс мышинового мира Бэзил, учившийся своему делу у ног настоящего Шерлока Холмса, рассуждает с не меньшим дедуктивным искусством, а его верный друг и помощник Доусон потом повествует о происходившем, как настоящий доктор Ватсон.

И, как настоящий доктор Ватсон, он поражен наблюдательностью и замечательным умом своего друга. Например, о таинственном посетителе Доусон смог сказать только, что тот беден и, судя по старому игрушечному котенку, выуженному им из кармана, он имеет семью. Однако Бэзил предложил свое решение: «Когда-то он был моряком, но теперь избрал ремесло плотника и живет в северо-западной Англии, где-то возле побережья. Далее — его инициалы «Г. Х.», и он приехал в Лондон на поезде.

Я был поражен.

— Но как, ради всего святого, вам удалось все это узнать?

— На самом деле это очень просто. Доказательства всегда под рукой, если ум достаточно тренирован, чтобы обратить на них внимание. Я сразу же заметил крошечную русалку, вытатуированную на его запястье. Моряки, оставившие свое занятие, стараются селиться как можно ближе к морю, это доказанный факт. А что касается его ремесла, то разве вы не заметили плотницкую линейку, торчащую из его кармана? Его речь выдает его происхождение: этот северо-западный акцент ни с чем не спутаешь. Его инициалы были вышиты на подкладке кепки, которую он мял в лапах, а на пальто остались следы паровой копоти, хотя он и чистил его щеткой...

— Поразительно! — воскликнул я.

— Элементарно, мой дорогой Доусон».

Вот что может сделать глубокое преклонение перед своим кумиром. Ведь не зря Доусон внимательно выслушивал рассуждения Шерлока Холмса, которыми тот делился с доктором Ватсоном, не зря упорно учился и даже трудолюбиво собирал экспонаты для домашнего музея: тут были бумажные клочки, сломанные авторучки, треснувшая лупа и прочие мелочи, прежде принадлежавшие Шерлоку Холмсу.

Когда же Бэзил увидел, что великий Холмс выбросил в корзину для мусора струну от своей скрипки, он подобрал ее и кусочек струны натянул на свою собственноручно сделанную скрипку, чтобы наслаждаться музыкой (справедливости ради следует признать, что в отличие от холмсовской его игра была невыносимо фальшива. Тут сказывалось отсутствие долгой практики).

Самым же главным памятником гениальному современнику и не ведающему о том учителю стал построенный по мысли Бэзила в подвале дома номер 221-Б на Бейкер-стрит образцовый мышинный город Холмстед, город, куда приходили мыши со всего Лондона любоваться и восхищаться.

И потому нетрудно понять то чувство, которое испытал Бэзил, когда пропали

мышки-близнецы Анжела и Агата, похищенные Ужасной Троицей, а какое-то время спустя пришло письмо, где мышам приказывали покинуть Холмстед, ибо бандиты хотели устроить в подвале на Бейкер-стрит штаб-квартиру своей подлой шайки.

Тем не менее Бэзил не был бы самим собой, если бы всего по нескольким уликам не нашел похитителей, не вступил с ними в противоборство и в конце концов не одержал бы заслуженную победу. Он спас мышек-близнецов, а мышиный город в подвале знаменитого дома остался таким же образцовым, как прежде. И даже последнее и страшное испытание — тяжелая битва с амбарной совой — было выиграно благодаря смелости Бэзила, его друга Дюсона и раскаявшегося бандита, которого сыщик простил, ибо тот являлся не столько злоумышленником, сколько просто запутавшейся и запуганной мышью.

Итак, закроем и отложим в сторону книгу, которая не натолкнет ни на какую мысль, кроме одной, хотя и чрезвычайно важной. Есть разные памятники. Есть памятники помпезные и почти раздвоенные собственной грандиозностью и величием, памятники, нацеленные в вечность и потому своим существованием отрицающие и живую жизнь, и даже людей, в наидание которым, казалось бы, и были построены. И есть памятники скромные и вовсе ни на что не претендующие, но именно хранящие память. Впрочем, такие не вписываются в нашу традицию, ведь у нас даже обыкновенный день длится, как правило, дольше века.

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Незабытое старое

●
Александр Яковлев. По мощам и олеяй. М., «Евразия», 1996.

●
Некоторое падение читательского интереса к документально-политической литературе в последние полтора-два года видится вполне закономерным: обрушившийся на наши головы в 1987—1991 годы могучий информационный шквал не ска-

зать чтобы утих совсем или утратил актуальность, нет, просто в сознании миллионов идет теперь медленный процесс переосмысления, вызревания некоего нового духовного урожая, и лишь время покажет, каким он будет, этот урожай.

Книга Александра Николаевича Яковлева — о преступлениях большевистской власти перед народами России, об аморальности большевизма вообще. Тема далеко не новая, хотя по-прежнему остающаяся одной из самых противоречивых и неисчерпаемых, хронически не исчерпаемых, чем в какой-то мере оправдывается запоздалое рождение книг.

Это не разоблачительный политический памфлет: антикоммунистическая патетика автора строга и лишена сарказма; это и не исторический труд в полном смысле слова: предвзятость суждений недопустима в исторической науке, так как ведет в большинстве случаев к необъективности; не исповеда, кроме, быть может, нескольких страниц вступительной части, где описана вкратце идейная эволюция автора. Книга представляет собой серию лекций, написанных и скомпонованных в духе лучших традиций М. Геллера и А. Некрича («Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 года до наших дней»), однако изложенных, на мой взгляд, более динамично и при минимуме авторских отступлений: тезис — аргумент — мораль. При этом А. Н. Яковлев, основываясь на строго документированных фактах, касается практически всех аспектов физической и нравственной деградации большевистской модели государства — в книге приводятся документы, рассказы-вающие о медленной целенаправленной ликвидации духовенства, крестьянства, казачества, бывших военнопленных, диссидентов, участников левосоциалистических течений, евреев и т. д. Отдельные главы на первый взгляд могут показаться фрагментарными, неполными (например, главы «Репрессированные народы», «Военнопленные и депортированные»): следствие того, что обширнейшие и подробнейшие исследования на эти темы существуют вот уже много лет, пользуясь широкой известностью как в России, так и за ее пределами; тем не менее книга А. Н. Яковлева вовсе не ставит целью информировать, цель книги — обвинение, приговор большевизму. С другой стороны, нельзя не отметить явной историко-документальной новизны для широкого круга читателей таких глав, как «Кронштадт», «Социалисты, коммунисты и прочие неблагонадежные», «Духовенство» и др. В целом книгу было бы правильнее отнести к сфере исторической этики, нежели к области идеологии, и прежде всего потому, что приговор большевизму ав-

тор формулирует с позиций именно этических, замечая при этом: «...правду каждый понимает про-своему, на свой лад, себе на пользу».

Такова внешняя структура книги. Обратимся теперь к логической стороне некоторых выводов автора.

А. Н. Яковлев, подобно многим, стремится, рассказывая об антинародной политике большевиков, изничтожить, отпеть и похоронить саму мысль о социализме: «...социалистическая идея, деформированная большевизмом, себя исчерпала и дискредитировала. Под сладкопение о справедливости, братстве, равенстве был создан механизм диктатуры с фашистско-большевистской идеологией». Формулы такого рода, на мой взгляд, излишне универсальны, ибо в качестве переменных сюда можно подставить все, например: идея христианская, изуродованная кострами инквизиции, крестовыми походами, индульгенциями и отлучением от церкви Льва Толстого, себя исчерпала и дискредитировала. И лишь впоследствии выясняется, что как раз идея-то живет и побеждает, исчерпала же и дискредитировала себя группа людей, взявших на себя обязательство воплощать эту идею в жизнь. Что касается вопроса о социалистической идее, то он сегодня является камнем преткновения слишком многих интересов, в том числе нравственных, чтобы решать его столь бесповоротно (тем более что одним из возможных вариантов решения вполне может стать гражданская война).

Следующий изъясн, автором, впрочем, вполне осознанный, свойствен, как правило, его идеологическим противникам. В этом случае мы имеем дело уже не с логической недоработкой, когда черное доказывается через белое, но с формулировками в духе пролеткульта, когда все, принадлежащее чуждой стихии, огулом отрицается, комкается и выбрасывается в мусорное ведро. В тексте книги А. Н. Яковлева подобные построения вполне закономерны, более того — необходимы при всей своей противоречивости. Это всего лишь достойный и обоснованный ответ тем, кто перечислением упомянутых достижений пытается смыть с большевизма цистерны крови безвинно погибших граждан. Куда уж там Федору Михайловичу Достоевскому с его слезинкой ребенка! Иная эпоха, иные масштабы...

Чугунная безысходность законов истории: и великие деспотии, и великие демократии возрастали на костях и несогласных. Так было и так, к сожалению, будет продолжаться не одно столетие. Причины тому бесполезно искать в области идей (социалистических, монархических — каких угодно!), сколь бы утопич-

ными они ни казались и какие бы зверства им ни приписывались. Причины эти — в нас самих, в людях, чьими руками делается мировая история, особенно если в руках этих — власть. Рухнул политический строй, но осталось главное — люди, алчность, жестокость и властолюбие которых в общем-то мало изменились со времен палеолита, и оттого любая, пусть даже самая раскрепасная, идея используется ими в качестве каменного топора.

Вынося окончательный нравственный приговор большевизму и превосходно его обосновав, А. Н. Яковлев совместил границы понятий «большевизм» и «социалистическая идея»; беспорна и очевидна нужность такого рода книг: напоминать о прошлом следует постоянно и настойчиво, чтобы хорошо забытое старое не повторилось вновь на очередном завороте истории.

Валерий ВОЛКОВ

Преемник славы

Издательство Сабашниковых после небольшого перерыва (длиною чуть больше полувека) вновь существует в Москве с 1991 г., с тех самых пор, как вышел указ, разрешающий деятельность частных издательств.

Среди любителей книги вряд ли найдутся незнакомые с прославленным старинным именем издателей Сабашниковых. Но многим ли известно, что дело было начато совсем молодыми людьми: Михаилу — двадцать лет, Сергею — восемнадцать. Одной из первых, если не первой, в 1891 г. была издана книга учителя Михаила Васильевича Сабашникова П. Ф. Маевского «Злаки Средней России».

Просветительство всегда оставалось главной задачей издательства. Братья были передовыми, университетски образованными людьми. В семье блюлись традиции меценатства. Сабашниковы были владельцами золотых приисков, сахарного завода, удачно вели торговлю, что не мешало им живо интересоваться новыми веяниями науки и культуры. Вкусы и пристрастия формировали университетская среда, литературно-политические салоны. М. В. Сабашников подробно рассказывает об этом в своих «Записках», которые наконец в полном авторском варианте вышли во вновь образованном изда-

тельстве, возрождая старинную сабашниковскую серию «Записи прошлого». (До этого был известен лишь далеко не полный текст «Записок», подготовленный издательством «Книга».)

При советской власти, потеряв состояние, изнемогая под цензурным гнетом, М. В. Сабашников стремился продолжать дело, несмотря даже на то, что несколько раз подвергался арестам. «Погибли все, кто видел вчерашний день» — так названа одна из последних глав в «Записках». Трагическая безысходность. В 1930 г. издательство было закрыто.

Редакционный портфель перешел к кооперативной промысловой артели «Север», далее его наследовал «Советский писатель». Теперь, в наши дни, дело возрождено правнуком М. В. Сабашникова С. М. Артюховым.

В возрожденной серии «Записи прошлого» вышли также мемуары Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Книга эта и сейчас очень популярна на Западе, больше века из нее черпали представления о России. Теперь и для отечественного читателя доступен полный перевод знаменитых мемуаров с примечаниями В. Мильчиной и А. Осповата.

В недалеком будущем выйдут в свет «Записки Владимира Федоровича Джунковского» — генерал-майора и московского губернатора в 1905—1913 годах, столь трагических для России; «Большие маленькие театры» Б. Г. Голубовского — обзор отечественного театра в переломные для культуры 30—40-е годы.

Самая популярная из прежних серий — это «Памятники мировой литературы». Благодаря ей в России стали широко известны Софокл, Еврипид, Аристофан. Книги выходили в переводах мастеров — А. Пиотровского, Ф. Зелинского, И. Анненского, К. Бальмонта, А. Блока.

Сегодня в этой серии вышли «Мысли» Блеза Паскаля, переведенные с французского Ю. Гинзбург.

В рамках культурной программы французского посольства и при его поддержке издательство выпустило двухтомник «Что такое Франция» Фернана Броделя, известного историка и философа. Не совсем

обычный взгляд на историю страны — через географию, быт, характеры, вещи.

Далее — «Замогильные записки» Рене Шатобриана, воображаемое путешествие во времени и пространстве; автор рассказывает об исторических событиях конца XVIII — начала XIX столетия как очевидец. Значительна и интересна книга «Мифологии» Ролана Барта — исследование разнообразных знаковых систем от Библии до коммерческого кино.

В серии «Страны, века, народы» готовится «Путешествие на Восток» Теофила Готье, «Египет» А. Эрмана и Г. Ранке.

Уже вышли в серии «Мастера мировой литературы XX века» романы «Мертвые все одного цвета» Бориса Виана, «Плавающая опера» Джона Барта, «Плотина против Тихого океана» Маргерит Дюрас, «Голубые цветочки» Раймона Кено. На подходе — «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера, «Любовник из Северного Китая» Маргерит Дюрас.

Не забыты и дети — для них изданы сказки Пушкина с комментариями и в нетрадиционном оформлении, «Конек-Горбун» П. Ершова со стилизованными иллюстрациями Ольги Моной, «Пес Бутс» Р. Киплинга. Это произведение писателя издано у нас впервые. Книжка интересна и тем, что рисунки в ней выполнены юной художницей Александрой Семеновой. В работе сейчас «Энциклопедия для детей» издательства имени Сабашниковых».

Издательство и в прошлом тяготело к созданию универсальной библиотеки — история, философия, фольклор, беллетристика, детская литература. Не было претензий на создание особенного стиля. Мерой всегда оставался хороший вкус. Не случайными были здесь стихотворения и переводы В. Брюсова, Вяч. Иванова.

Традиции братьев Сабашниковых возрождены; хочется лишь пожелать, чтобы уровень издательских ценностей не снижался.

О. СОКОЛОВА

*До конца года и в 1997 году
читайте в наших разделах:*

Поэзия

Стихи Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Натальи ГОРБАНЕВСКОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.

Воспоминания. Документы

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ. Переписка Марка АЛДАНОВА с Георгием АДАМОВИЧЕМ, Борисом ЗАЙЦЕВЫМ, Михаилом ОСОРГИНЫМ, Ильей РЕПИНЫМ, ТЭФФИ и другими — из Бахметевского архива (Нью-Йорк). **Переписка** Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60 — 70-е гг. **Новые поступления** из архивов музея А. С. ПУШКИНА и музея Л. Н. ТОЛСТОГО.

Публицистика и очерки

Статьи известных публицистов, видных философов, экономистов, историков: Л. БАТКИНА, В. КАНТОРА, В. КАРДИНА, С. НИКОЛЬСКОГО, Л. СКВОРЦОВА, Г. ПОМЕРАНЦА, Л. ФРИЗМАНА и др.

Литературная критика

Статьи Д. БАВИЛЬСКОГО, Д. БАКА, М. ГАСПАРОВА, А. ЗВЕРЕВА, Е. ИВАНИЦКОЙ, К. КОБРИНА, В. КУРИЦЫНА, М. ЛИПОВЕЦКОГО, Е. ПЕРЕМЫШЛЕВА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРНОВА, А. ЭТКИНДА.

Для журнала работают:

Юрий ДАВЫДОВ, Сергей ДЫШЕВ, Владимир МАКАНИН, Ирина МУРАВЬЕВА, Виктор ПЕЛЕВИН, Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, Григорий ПЕТРОВ, Валерий ПОПОВ, Людмила УЛИЦКАЯ, Марина УРУСОВА и др.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1997 году
«Октябрь» предполагает опубликовать новые
произведения многих известных
авторов. Среди них:*

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
- Валерий БЫЛИНСКИЙ. **Июльское утро.** Повесть.
- Александр БОРОДЫНЯ. **Религиозные войны.** Роман.
- Юрий БУЙДА. **Рассказы.**
- Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Ковчег.** Роман.
- Игорь ВОЛГИН. **«Родиться в России...».** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.
- Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
- Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский.**
- Владимир КАНОВИЧ. **Парк забытых евреев.** Роман.
- Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
- Руслан КИРЕЕВ. **Виттинские легенды.** Рассказы.
- Михаил ЛЕВИТИН. **Чушь собачья.** Повесть.
- Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**
- Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.** Рассказы.
- Олег ПАВЛОВ. **Дело Матюшина.** Повесть.
Записки из-под сапога. Рассказы.
- Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1938 года.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Генрих САПГИР. **Бабье лето и несколько мужчин.** Рассказы.
- Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. **Быть!** Документальное повествование.
- Борис ХАЗАНОВ. **После нас потоп.** Роман.
- Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
- Асар ЭППЕЛЬ. **Рассказы.**

Следите за нашей дальнейшей рекламой!
